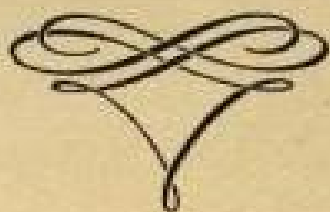


*Старомосковский детектив*



ЕЛЕНА СЕМЕНОВА

**СОВИРАЛИ ЗЛАТО,**

**ДА ЧЕРЕПКАМИ БОГАТЫ**

## Annotation

90-е годы XIX века. Обычные уголовные преступления вытесняются политическими. На смену простым грабителям и злодеям из «бывших людей» приходят идейные преступники из интеллигенции. Властителем дум становится Ницше. Террор становится частью русской жизни, а террористы кумирами. Извращения и разрушение культивируются модными поэтами, писателями и газетами. Безумные «пророки» и ловкие шарлатаны играют на нервах экзальтированной публики. В Москве одновременно происходят два преступления. В пульмановском вагоне пришедшего из столицы поезда обнаружен труп без головы, а в казармах N-го полка зарублен офицер, племянник прославленного генерала Дагомыжского. Следователи Немировский и Вигель вместе с сыщиками Романенко и Овчаровым расследуют запутанные преступления. Очень скоро выясняется, что за генералом охотятся террористы, а его младший сын умирает при странных обстоятельствах. Очередное дело сводит Вигеля, чья молодая жена угасает от тяжёлой болезни, с первой возлюбленной — вдовой богатого мецената Ольгой Тягаевой, чей сын, молодой офицер, оказывается одним из подозреваемых. В романе уделено большое внимание духовному состоянию русского общества за 20 лет до революции.

- 
- [Елена Владимировна Семёнова. Собирали золото, да черепками богаты](#)
    - [Пролог](#)
    - [ЧАСТЬ 1](#)
      - [Глава 1](#)
      - [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [ЧАСТЬ 2](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
  - [Эпилог](#)
-

**Елена Владимировна  
Семёнова. Собирали золото, да  
черепками богаты**

## Пролог

— Человек! Тысячелетия тебя заставляли подавлять своё естество во имя отвратительной лжи, провозглашаемой лицемерами в рясах! Отринем же, отринем, наконец, эту гнусность и провозгласим во весь голос: мы — господа себе и миру, мы — хозяева жизни и природы! Почувствуем себя не рабами, но богами и возьмём то, что положено нам, что отнималось у нас веками! Сбросим путы лжи, дадим волю естеству — жизнь должна приносить наслаждения, так упьёмся же ими, вырвем всё причитающееся нам из лап обокравших нас! Поднимись, человек! Посмотри на мир этот, на ничтожных рабов, лишаящих себя наслаждения во имя лжи! Презри их и пользуйся ими, как своими рабами! Шагай вперёд смело, не глядя, кто упал под твои стопы, ибо ты — хозяин, потому что ты понял это! Ты понял, что ты господин, и нет иных господ над тобою, а потому стал выше прочих. Нет преград тебе! Разрушь их, разорви, преступи, и никто не сравнится с тобой, человек! — пламенный вития хрипло закашлялся и поднёс платок к губам. Во мраке не было видно, как на платок этот хлынула кровь, но дама сидевшая в тёмном углу презрительно шепнула своему спутнику:

— Ах, Бог ты мой, ещё и чахоточный! Интересно, как этот полупокойник собирается отнимать у жизни положенные ему наслаждения?

— Это-то его и бесит, и приводит в исступление, что он уже не успеет их отнять, — усмехнулся в ответ тот, касаясь губами мочки её уха. — Богиня моя, какая же у вас нежная кожа, какие благоухающие волосы...

— Могу себе представить, скольким вашим жертвам вы это говорили!

— Разве для вас это имеет значения?

— Ни малейшего!

— Вот, за это я вас и обожаю.

— Только за это?

— Разумеется, нет, моя богиня. Однако, я не понимаю, какого чёрта мы пришли сюда? Здесь порядочная скука, клянусь рогами вельзевула!

— Разве? А, по-моему, забавно. Этот проповедник меня развлекает... По-моему, ему не дают покоя лавры Ницше... Бедняга, он пытается ему подражать, а получается так жалко, что даже смешно. Но оттого и развлекает...

— А вы жестоки! Что же, согласны вы с этим чахоточным истериком?

— Отчасти... Ах, Бог ты мой, как же мне не согласиться, если я сама уже давным-давно преступила и в жизни ищу одних наслаждений? И вы, мой друг, первый номер в их списке.

— Я польщён!

— Сознайтесь, что и вы ищете в этой жизни одних только наслаждений? Я это почувствовала сразу, как только увидела вас впервые. Мы с вами похожи...

— В таком случае, моя богиня, у меня предложение: оставим эту скучную лекцию о наслаждениях, читаемую человеком, которому они недоступны, и отправимся наслаждаться обществом друг друга...

Тебя я хочу, мое счастье,  
Моя неземная краса!  
Ты — солнце во мраке ненастья,  
Ты — жгучему сердцу роса!

Любовью к тебе окрыленный,  
Я брошусь на битву с судьбой.  
Как колос, грозой опаленный,  
Склонюсь я во прах пред тобой.

За сладкий восторг упоенья  
Я жизнью своей заплачу!  
Хотя бы ценой преступленья —  
Тебя я хочу!<sup>1</sup>

— Вы настоящий дьявол!

— Вы мне льстите, моя прекрасная вакханка! Так мы едем?

— Немедленно! — томно выдохнула дама и бесшумно покинула погружённый во мрак небольшой зал, где собралось порядка трёх десятков человек. Лишь половина собравшихся приходили к новоявленному проповеднику всякую пятницу, когда бывали собрания, остальные являлись от случая к случаю, а то и вовсе единственный раз забредали со скуки и больше не показывались. Завсегдатаи, по желанию, записывались в число новых апостолов, но большинство предпочитало сохранять инкогнито, что было достаточно легко, учитывая мрак, царящий в помещении. Лишь на импровизированной эстраде, где в глубоком кресле восседал в полуоборот к залу проповедник, фигуры и лица которого также почти не было видно, горело несколько свечей, от которых исходил странный, резковатый запах, от которого с непривычки начинала болеть голова. Казалось, что всё это мрачное, душное от набившихся в него людей помещение, было наполнено лишь этим дурманящим запахом и голосом невидимого «учителя». Голос этот невозможно было спутать ни с каким другим. Высокий, металлический, хрипловатый, звенящий — он словно разбивался о стены, рассыпался осколками, впиваясь в слух каждого и ударяя по нервам, играя на них, словно смычок на струнах, заставляя внимать и верить наиболее податливые и не уравновешенные души.

— И, вот, я говорю тебе, человек, нет более преград для тебя! Всё, что лицемеры именуют пороками и преступлениями, суть человеческое естество, подавленное ложью и требующее освобождения!

Проповедник, очевидно, обладал определёнными гипнотическими способностями, и люди, слушавшие его некоторое время, впадали в какое-то странное, граничащее с помешательством состояние.

— Великий человек! — изредка проносился шёпот.

И лишь те, что заходили сюда случайно и были увлечены своим делом, как только что ушедшая пара, оставались невосприимчивы к этому гипнозу. Именно к такой категории принадлежала четвёрка людей, примостившаяся в углу. Они посещали пятницы регулярно, но почти не слушали проповедника. Они приходили не ради него, но ради дела.

— Какой идиот, — поморщилась худая, бедно одетая женщина. — Наслаждения! Наслаждения — удел недоумков, а наш удел — борьба!

— Разве вы не наслаждаетесь борьбой, Агриппина? — послышался характерный грассирующий голос.

— Меня раздражает этот идиот! Он просто ничтожество и хочет добиться славы, проповедуя чушь, которую не мог даже придумать самостоятельно! — в голосе женщины кипело раздражение.

— Вы напрасно сердитесь, Агриппина. Он проповедует то, что полезно нам.

— Да какая же польза в этом бреде?

— Он, как и мы, провозглашает разрушение, упразднение всех границ и основ. Он освобождает своих последователей от тех рамок, которые мешают им всемерно поддержать нас. Он готовит людей, которые не остановятся ни перед чем для достижения своей самой примитивной цели. Армия восставших рабов, озлобленных и желающих брать своё любым



способом! Разве не это нам нужно? Чем больше будет таких, тем легче нам будет перевернуть эту страну, а затем и весь мир, отомстить за наши обиды и унижения и установить свою правду, основанную на силе и решимости освобождённого естества! Так что этот психопат работает на нас. Да и теперь уже мы получаем от него пользу, встречаясь здесь...

— Но было бы лучше, если бы он говорил немного осторожнее, — заговорил третий, судя по голосу, ещё совсем молодой человек. — Если кто-то донесёт, что здесь говорится, то полиция положит конец этим пятницам, а проповедника отправят в жёлтый дом.

— И прекрасно! Это тотчас принесёт ему славу, о которой он так мечтает. Вместо десятков, к нему станут приходить сотни паломников, а тысячи станут читать его размноженные бредни, а прогрессивная общественность поднимет его на свои знамёна, как жертву кровавого царского режима. Всё это лишь на руку нам. Конечно, придётся искать другое место для встреч, но это не так сложно...

— Я хотел сказать вам всем, что в вашей игре я больше участвовать не собираюсь! — внезапно выпалил четвертый. — Я пришёл сюда в последний раз, чтобы сказать вам это!

— Что-о-о??? — протянула женщина. — Да как вы смеете?! Вы...

— Тише, Агриппина, — прервал её Саул. — Говори, Альфонс.

— Мне нечего больше вам сказать. Я не собираюсь помогать вам в преступлении, которое вы задумали. Я не убийца!

— Вот как? Может быть, ты ещё и донесёшь на нас?

— Я не доносчик. Но отныне я не желаю иметь с вами ничего общего. Довольно! Одно дело прятать книги и другие мелочи, а совсем иное — убивать. Здесь я вам не помощник. Прощайте!

— Постой, — голос Саула зазвучал жёстко. — Ты, кажется, забыл об одной малюсенькой малости. А ведь если о ней станет известно, то...

— Я больше не потерплю вашего шантажа. Я сам открою мою тайну всем. Конечно, это будет иметь для меня печальные последствия, но не столь печальные, чтобы проливать из-за этого кровь и участвовать в подлости. Я не пропаду. По крайней мере, из-за меня не погибнут люди, и сам я не окажусь на каторге.

— Трус! Предатель! — прошипела женщина. — Неужели вы думаете, что сможете так легко уйти от нас? Что мы простим вас?

— Я не просил прощения, Агриппина.

— А теперь — лотерея смерти! — торжественно провозгласил проповедник в этот момент. — Для пришедших сюда впервые объясняю правила: сейчас явится некто, в чьих руках будет колода карт, и каждый из присутствующих вытащит по одной, и тот, кому достанется туз пик, умрёт в течение месяца!

— Пиквикский клуб, — пробормотала Агриппина. — Я же говорила, что у этого глупца нет ни единой собственной идеи... Какое ничтожество!

— Зато люди получают лекарство от скуки. Разве вы не знаете, Агриппина, что смерть — лучшее лекарство от этого недуга? Своя или чужая... Альфонс, я надеюсь, вы не струсите и сыграете, по крайней мере, в последний раз?

Альфонс пожал плечами.

Из темноты вынырнула странная фигура в чёрном балахоне с капюшоном, державшая в руке веер карт, и двинулась вдоль наэлектризованных людей, с волнением выхватывающих у неё карту за картой и облегчённо вздыхающих. Наконец, настала время тянуть для примостившейся в углу четвёрки.

— Вы сейчас вытянете этого проклятого туза, — зло бросила Агриппина Альфонсу, бросая на пол крестовую

даму.

Альфонс усмехнулся, вытянул карту и передёрнул плечами.

— Ты скоро умрёшь, — прошелестел голос из-под балахона, и невозможно было определить, мужской он или женский.

— Какая глупость! — раздражённо фыркнул Альфонс, бросил карту и направился к выходу.

— Ну, вот, товарищи, — негромко произнёс Саул, — теперь нам осталось привести приговор в исполнение.

— Ты хочешь сказать?..

— Да, Тадеуш, оставлять его в живых нельзя. Во-первых, может донести на нас, а, во-вторых, непедагогично для других... Нужно только придумать план... А пока идёмте, не стоит задерживаться здесь дольше.

Сеанс закончился, и люди стали расходиться. Некоторые недоумённо пожимали плечами, другие, напротив, восхищались услышанным, и какая-то экзальтированная женщина бросилась на колени перед эстрадой и, раздирая платье, истерически возопила:

— Слава учителю! Долой все запреты! Давайте разрушать и наслаждаться! Наслаждаться!

Её подняли и вывели под руки. Тадеуш звонко рассмеялся, задержавшись в дверях:

— Если бы эту неврастеничку не остановили, она бы, пожалуй, стала бегать по эстраде голышом...

— И наслаждаться... — добавил Саул.

— Чем? Вряд ли этот бедолага мог бы оправдать её доверие!

— Прекратите говорить пошлости! — сердито бросила Агриппина. — Всё-таки здесь отвратительно! Отправить бы всю эту истеричную публику в Сибирь, чтобы они наслаждались друг другом там и развеивали бы свою скуку!

— Потерпите, Агриппина, отправим. И их, и всех прочих, всех, кто будет нам мешать... Скучать мы не дадим никому! Расходимся, на всякий случай, в разных направлениях. До встречи!

# ЧАСТЬ 1

## Глава 1

Ася отложила в сторону свежий номер «Весов», выписываемый ею наравне со «Скорпионом» и другими литературными журналами и альманахами, и с усилием приподнялась с оттоманки, на которой лежала, укрывшись верблюжьим одеялом. Голова закружилась, и в глазах замелькали разноцветные точки, но Ася сделала над собой усилие и улыбнулась вошедшему с озабоченным видом мужу.

— Вот, милый, доктор Жигамонт, — кивнула она на сидящего рядом доктора, — говорит, что я не могу сегодня ехать в театр... Право же, я уверена, что он преувеличивает, я вполне могла бы одеться и поехать...

— Ни в коем случае не нужно нарушать предписаний врача. Тем более такого, как Георгий Павлович. Вот, поправишься, сходим во все театры, на все спектакли, — Пётр Андреевич ласково улыбнулся и обнял жену за плечи. — Решено, я тоже останусь сегодня вечером дома.

— Нет! — Ася покачала головой и подняла указательный палец. — Ты просто обязан ехать. Ведь у Владимира премьера, это так важно для него! И мы обещались быть. Довольно и такого инкомодите<sup>2</sup>, что меня не будет...

— Но, ангел мой...

— Никаких «но». Если ты не поедешь, то кто же мне расскажет об этом спектакле? Ведь мне же интересно!

— Володя и расскажет... И Надя. И газеты напишут...

— Газеты пишут ерунду, а Надя с Володей пристрастны. А мне нужны беспристрастные свидетельские показания! — Ася рассмеялась и чмокнула мужа в щёку. — И потом, Петруша, никто не умеет рассказывать об увиденном лучше тебя! Тебя

послушаешь — и словно сам всё видел. Поэтому твой святой долг сейчас бывать везде, рассказывать мне обо всём, чтобы я была в курсе всех дел. Поезжай, пожалуйста, хотя бы ради меня!

— Ради тебя я бы поехал куда угодно, — ответил Вигель. — Но всё же это нехорошо, что ты остаёшься одна. Николай Степанович наверняка задержится в клубе за бильярдом...

— Отчего же одна? — пожала плечами Ася. — Со мной останется доктор. Мы пречудесно проведём время. Обсудим все культурные события и благотворительные дела. Не правда ли, Георгий Павлыч?

— Буду счастлив провести этот вечер в вашем обществе, Анастасия Григорьевна, благо он у меня совершенно свободен, — кивнул доктор Жигамонт.

— Иди, Петруша, а то опоздаешь. А я тебя буду ждать и ни в коем случае не усну, пока ты не вернёшься и не расскажешь мне всего.

— Слушаюсь, мой генерал!

— Постой, — Ася пристально посмотрела на мужа. — Наклонись, я поправлю тебе галстук. Вот, теперь просто замечательно! Передавай мои извинения и наилучшие пожелания Олицким.

— Незакосненно исполню, — улыбнулся Вигель и, поцеловав руку жены, покинул её комнату.

Едва Пётр Андреевич удалился, Ася вновь бессильно опустилась на оттоманку и прикрыла глаза. Наделённая от природы характером бойца, она изо всех сил боролась с поразившим её внезапно тяжёлым недугом, но противник, жестокий и безжалостный, отвоёвывал всё новые и новые трофеи, и Ася чувствовала, что этот бой ей уже не выиграть. Судьба подарила ей почти десять лет абсолютного счастья, не замутнённого ничем, счастья рядом с обожаемым мужем и сыном Николенькой, родившимся через год после их брака. Видимо, на долю каждого человека положена

определённая норма счастья, и свою норму Ася исчерпала... Несмотря на обнадеживающие слова докторов и близких, она всё яснее понимала своё положение и ловила себя на мысли, что себя ей ничуть не жаль, но бесконечно жаль мужа, сына, старого крёстного, для которых её уход станет тяжёлым ударом. Ася была почти рада, что Николеньки теперь не было с ней. После перенесённой сильной простуды и воспаления лёгких мальчик по совету Георгия Павловича был отправлен в Крым. Там он вместе с Анной Степановной гостил теперь на даче у её старой подруги и писал родителям длинные письма, описывая красоты Коктебеля, прогулки в горах, купание в море, бескрайность которого поразила детское воображение. Ася скучала по сыну, но и радовалась, что его нет рядом. Она не хотела, чтобы Николенька видел её такой, больной, усталой, угасающей. Асе хотелось остаться в памяти дорогих людей резвой, весёлой и полной жизни, какой она была совсем недавно. Она даже теперь старалась быть такой, преодолевая боль и не показывая слабости. Каждое утро она поднималась с постели, одевалась и, если хватало сил, совершала небольшие прогулки, а, если их не хватало и на это, то проводила весь день в кресле или на оттоманке, читая книги и журналы. Ложиться в постель Ася себе не позволяла. Это казалось ей чем-то сродни капитуляции перед недугом.

— Анастасия Григорьевна, вы меня слышите? — вывел её из забытья вкрадчивый голос доктора Жигамонта.

Она совсем забыла о нём... А ведь он же остался с нею по её просьбе. Милый, добрый доктор. Он почти не изменился за десять лет их знакомства: такой же сухопарый, изящный, с тонкими чертами интеллигентного лица и вдумчивыми глазами, смотрящими из-под очков.



— Да-да, слышу, — Ася открыла глаза и обернулась к Георгию Павловичу. — Доктор, это правда, что вы не заняты этим вечером? Мне бы не хотелось и вам доставлять неудобства.

— Я абсолютно свободен, — отозвался Жигамонт. — Так что можете всецело мной располагать.

— Знаете, Георгий Павлович, я на днях взглянула на небо и поняла, что оно стало каким-то другим...

— Неудивительно, осень приближается.

— Нет, я о другом. Я теперь по земле словно и не хожу — наступаю на неё, а не чувствую, словно летаю... Я в детстве летать мечтала... Как Катерина у Островского: «Почему люди не летают, как птицы?» Я сейчас, словно птица... Только подбитая... Земля от меня всё дальше, а небо всё ближе... А ещё я, кажется, поняла, что такое счастье... Счастье — это когда небо не высоко над тобой, а в тебе. Вся эта синяя бескрайность — в твоей душе... Доктор, вы читали новых поэтов?

— Разумеется, я ведь, как и вы, исправно выписываю все журналы...

— И что вы скажете о них? Вам нравятся они?

— Обо всём сказать не могу. Мне кажется, подчас слишком много поэмы, желания выделится. Это свойственно сейчас людям, и проникло в поэзию. Мне это не нравится. А люблю чистую поэзию, как весенний воздух, как пение птиц, как июньский рассвет...

Когда сквозная паутина  
Разносит нити ясных дней  
И под окном у селянина  
Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова  
Дыханья близкого зимы,  
А голос лета прожитого

Яснее понимаем мы.

— Ваш любимый Фет... В последнее время я тоже очень его полюбила, а прежде мне казался он несколько скучным... Я любила Некрасова... Поза — да. Но не только. Я не могу понять, отчего новая поэзия стала, во многом, приземлённой, стремящейся к земле, а не к небу, к физиологии, а не к душе. Ведь одно противоречит другому! Поэзия — вся — небо! Стремление к горней высоте, к Богу, обожествление возлюбленных предметов... А теперь... Я на днях прочла стихи Брюсова. Послушайте, ведь это же ужасное что-то...

Юноша бледный со взором горящим,  
Ныне даю я тебе три завета:  
Первый прими: не живи настоящим,  
Только грядущее — область поэта.  
Помни второй: никому не сочувствуй,  
Сам же себя полюби беспредельно.  
Третий храни: поклоняйся искусству,  
Только ему, безраздумно, бесцельно.

— И дьявола, и Бога равно прославлю я... Не поручусь за точность цитаты, но — смысл.

— В этих стихах неба нет, Бога нет... А без этого поэзия не поэзия. И откуда такая тоска о смерти вдруг взялась у нынешних поэтов? Такое ощущение, что все взялись жить с отвращением к жизни...

— Это поэзия скучающих людей, — пожал плечами доктор Жигамонт. — Хотя я решительно не понимаю, как можно скучать, когда Россия даёт такой простор для деятельности. Намедни я был у одной купчихи с Солянки по поводу чрезмерного количества желчи,

беспокоившего эту почтенную даму. Во время моего визита является к её дому странник. Детина под два метра, волосы немыты, нечёсаны, босой, грязный, кузовок за плечами. Пустили его в людскую, сел он там и давай Бог сочинять о том, как он пеший во Святую Землю ходил. Весь дом собрался слушать, включая мою купчиху. Мелет Емеля — хоть святых выноси! Слушают! Выпить да откусать поднесли «божьему человеку». Он на радостях из кузова им щепку достаёт. Щепка сия, говорит, от Гроба Господня. Хотя невооружённым глазом видать, что щепку эту он от ближайшего забора отколупнул. Благодарят! Спрашиваю я у купчихи, когда «странник» этот ушёл: «Мавра Ильинична, ну, добро вы ему гривенник дали, но к чему же слушать всю эту околесицу? Ведь он же далее Москвы никуда не ходил!» «Знаю, — говорит, — батюшка, что не ходил и что врёт. Да ведь зато как врёт! Заслушаешься! Вот мне и развлечение, а то же ведь скукота одна. Пушай себе врёт. Как говорится, не нравится — не слушай, а врать не мешай». Но при этом возмущается на чём свет стоит, что рядом с купеческими домами такое соседство, как Хитровка, которую отцы города никак не могут разогнать. А куда, спрашивается, разгонять? Эти же самые купцы и купчихи могли бы от своих барышей приют учредить для хитровских детей. Ведь это же форменный ужас, как они живут там. Торгуют младенцами, малолеток заставляют попрошайничать и воровать «тятеньке с маменькой» на водку, девочки с десяти лет уже становятся добычей пьяных развратников! Ах, что говорить! — доктор Жигамонт в сердцах махнул рукой. — А какие болезни там процветают, каких ран и увечий незаживающих можно насмотреться на телах этих бывших людей, каждый из которых ведь тоже рождён был, как образ и подобие Божие, но уже почти невозвратно утратил его.

— Иногда мне кажется, что ваши хитрованцы утратили этот образ не более многих вполне благополучных с виду людей... Внешнее уродство первых словно зеркало для душевного уродства вторых, — заметила Ася.

— Возможно. Между прочим, часть моей клиентуры из высшего света отказалась от моих услуг, узнав, что я оказываю помощь нищим и убогим с Хитровки. Пользоваться услугами врача, который замарал свои руки такими пациентами, считается у них не комильфо! — Георгий Павлович покрутил в руках свою тяжёлую трость. — Может быть, в самом деле, ничего нельзя поделаться со всем этим... В Лондоне тоже есть кварталы сродни нашей Хитровке. Достаточно прочесть Диккенса...

— Со временем такие ужасные места канут в лету, — уверенно ответила Ася. — Прогресс нельзя остановить. И ужасные явления вроде Хитровки не могут существовать вечно.

— Дай-то Бог, — вздохнул доктор Жигамонт. — Однако, оставим эту мрачную тему. Пётр Андреевич оставил вас на моё попечение, а я утомляю вас столь безрадостными картинами. Хотите, я лучше прочту вам что-нибудь?

— Вы меня несколько не утомили, доктор. Но против чтения я не возражаю. Я на днях получила новые рассказы Чехова. Может быть, прочтёте что-нибудь из них?

— Аvek плезир<sup>3</sup>, — улыбнулся Георгий Павлович. — Тем более, что я ещё не имел удовольствия ознакомиться с новыми произведениями моего коллеги.

— Ох-ох-ох, батюшки святы, кто ж это его, родимого, этак жестоко-то, а? — качал головой пожилой, выдавший виды врач, склонившись над телом

убитого. — Даже на Хитровке этакой страсти встречать не приходилось, там народ простой — ножичком пырнут или шею свернут, а тут вона как...

— Что скажешь, медицина? — спросил Василь Васильич Романенко, облокотившись о дверной косяк и оглядывая небольшое пространство пульмановского вагона.

— А что тебе сказать, Вася? Судя по амбре, убиенный имярек в дороге изрядно хороводился с зелёным змием. Один или в компании — это ты сам думай. Но, судя по тому, что нападения он явно не ожидал, то пил он совместно со своим убийцей. Оный дождался, покуда жертва сомлела, и нанёс блестящий удар в самое сердце острым предметом. Сразу могу тебе сказать — не ножом. Может быть, кинжал какой... Крови почти не вытекло. Ну, а уж после того этот мясник отрубил бедолаге голову. Заметьте себе, именно отрубил. Одним ударом. И не топором, насколько можно судить. Искусная работа. Кстати, вы её не нашли?

— Кого?

— Голову.

— Ты что, медицина, думаешь, я за полчаса весь путь от Москвы до Петербурга обследую на предмет исчезнувшей головы? — буркнул Романенко. — Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту... Собачья жизнь... Все теперь — люди как люди — отдыхают, кто как может. А я должен на эту жуть любоваться...

— Стареешь, Васильич, — заметил Овчаров, ослабившись жёлтыми, неровными зубами. — И что ты, в толк не возьму, хмурый, как сыч? Ты ж теперь начальство! Самому начальнику полиции докладываешь, а прямо что туча грозовая.

— К матери бы под вятери это начальство... Я начальствовать не привык, я своими ногами, руками, глазами и ушами привык работать, а не команды раздавать: сходи туда, сделай это, проследи за тем...

Ещё теперь с этим трупом морока... Как, спрашивается, его личность устанавливать?

— Да, Вася, сложно, — согласился доктор, закрывая свой чемоданчик. — Без документов и головы никак не установишь. Я свою работу закончил. Могу быть свободен?

— Иди уже, — махнул рукой Василь Васильич, потирая поясницу. — Эх, спину ломит ещё... К дождю, что ли... Что скажешь, Никитич?

— На небе ни облачка.

— Тьфу ты, я не про то. Что о деле нашем скажешь?

— Глухое дело, Васильич. Ни документов, ни головы... При убитом нет ни денег, ни вещей. Можно было бы предположить ограбление, но зачем тогда голова?

— Чтобы мы не узнали личность убитого. А зачем это может быть нужно?

— Зачем?

— Ну, к примеру, для того, чтобы при случае иметь возможность воспользоваться документами убитого и выдать себя за него. Или же, если близкие убитого могут легко направить следствие по следу убийцы... Ты всё осмотрел здесь?

— Обижаешь, Василь Васильич! Я, между прочим, даже землю на оконной раме нашёл, из чего можно сделать вывод, что убийца выпрыгнул в окно.

— Или залез в него... — Романенко крикнул и опустился на колени.

— Васильич, я же всё осмотрел! Охота тебе самому по полу елозить! Ты ж начальство всё-таки...

— Иди ты к чёрту, — раздражённо бросил Романенко. — Всё, говоришь, осмотрел?

— Всё... — неуверенно ответил Илья Никитич.

— А что в том углу? На полу? Позади тела?

Овчаров тотчас прильнул к полу и поднял завалившуюся в углу запонку.

— Надо же, запонка...

— Эх ты, пустельга, — Василь Васильич, кряхтя, поднялся на ноги. — Осмотрел он всё... Доверь вам!

— Виноват, Василь Васильич...

— «Виноват!», — передразнил Романенко. — Между прочим, друг ты мой Илья, это запонка убийцы.

— Почему ты решил? Может быть, она принадлежала убитому или кому-то из прежних пассажиров...

— Невозможно.

— Почему?

— Здесь регулярно убираются. А полотёры, в отличие от сыщиков, мало-мальски ценных вещей по углам лежать не оставляют, а кладут к себе в карман. А у нашего покойничка запонки на месте.

— Да, в самом деле... — уныло пробормотал Илья Никитич, в очередной раз подумав, что ему никогда не стать таким блестящим сыщиком, как его начальник.

Когда труп вынесли, Романенко прошёл в соседнее купе и, удобно расположившись на мягком сиденье, велел:

— Подать мне сюда свидетелей!

— Да нет почти свидетелей, Василь Васильич, — вздохнул Овчаров.

Василь Васильич подпёр голову ладонью и смерил его усталым взглядом бирюзовых глаз:

— Проводника веди сюда... Хоть что-то же он должен знать!

Через несколько мгновений бледный и дрожащий проводник предстал пред очи Романенко.

— Рассказывайте! — повелительно кивнул ему Василь Васильич.

— Что рассказывать?

— Всё рассказывайте, дражайший, всё, что знаете. Кто ехал в том купе?

— Господин ехал... Ничего себе господин, солидный-с...

— Как выглядел?

— Затрудняюсь описать... Так много пассажиров мелькает, не всматриваюсь я в них-с... Лет сорок, с залысиной-с...

— Ничего в его поведении странного не было?

— Да нет-с... Обычный господин. Сказывали, из командировки возвращаются, домой-с.

— Так, это уже кое-что. Стало быть, ежели не соврал, так он москвич, а в столицу по делам ездил. Жаль.

— Почему жаль? — не понял Овчаров.

— Потому что в противном случае дело это можно было бы адресовать столичной полиции. Нам и своей уголовщины хватает. О цели своей командировки он не говорил? О доме? О семье?

— Никак нет-с...

— И имени, конечно, не называл?

— А к чему бы им имя своё было называть?

— Действительно... Вещи при нём были?

— Да... Саквояж... Небольшой-с.

— Утянули, стало быть, поклажу. Любопытно, что там было... А к какому на вид сословию принадлежал убитый?

— Затрудняюсь сказать... Может быть, коммерсант. Знаете-с, они так бережно несли свой саквояж, что я даже подумал, что у них в нём деньги-с. А ещё... Я только теперь подумал, когда вы спросили-с... Кое-что странное в них было.

— Что же?

— Сказали-с, что возвращаются из командировки. Но люди, которые возвращаются из командировки, сделав дело, бывают как-то раскрепощены, свободны... А этот господин был так сосредоточен, что скорее можно было подумать, что дело ему только предстоит.



— Однако же, он заказал ужин...

— То-то и оно что нет-с!

— Как так? Там ведь явно ужинали, и весьма плотно...

— Вот, в этом и загадка-с! Они велели не беспокоить и не заходить к ним до самой Москвы и ничего не заказывали!

— Интересно, — Романенко пригладил рукой свои тёмные с изредка пробивающейся сединой волосы. — И вы, конечно, не заходили и не тревожили?

— Разумеется...

— И никто не присоединялся к нему в дороге?

— Ручаться не могу-с. Не видел-с.

— Плохо, что не видели... Ладно, можете быть свободны... Пока.

— Благодарю-с. Ей-Богу, зуб на зуб не попадает от этой истории... Как я нынче вошёл, как увидел...

— Ступайте, дражайший, ступайте. Водочки выпейте.

— Всенепременно-с...

Когда проводник ушёл, Василь Васильич помолчал несколько минут, а затем произнёс:

— Итак, Никитич, что у нас с тобой получается по первому абцугу? Господин X, человек, судя по одежде, не слишком богатый, зачем-то приезжает в столицу, а затем отправляется обратно в Москву. Причём отправляется не как-нибудь, а в пульмановском вагоне, не пожалев денег, в полном одиночестве, наказав не беспокоить себя на протяжении всего пути. Думается, проводник прав, что некое дело ему лишь предстояло. Но не в Москве, а в самом поезде. Поэтому и требовалось, чтобы не было никого постороннего.

— Встреча с кем-либо? — предположил Овчаров.

— Не иначе. Допустим, что некто должен был тайно подсесть в поезд. Скорее всего, не в самой столице, а на одной из остановок. Какие у них могли быть дела?

— Может быть, убитый должен был передать нечто кому-то?

— Возможно... Однако же, и петрушка у нас с тобой получается: некто должен был передать что-то кому-то... Поди туда, не знаю, куда... Чёрт знает что! Но продолжим... Можно предположить, что должна была произойти некая негоция. Либо наш убитый должен был продать что-то, либо купить. Тогда логично допустить, что его подельник пожелал присвоить себе и деньги, и товар, и для этого вначале напоил, а затем убил свою жертву. И обезглавил её, чтобы запутать следствие.

— По-моему, вполне логично, — осторожно заметил Илья Никитич.

— Логично, да... Одно плохо — это наша ничем не подкреплённая фантазия. Хорошо бы у покойника были родные или близкие друзья, тогда есть шанс установить его личность. Кто-нибудь же должен забить тревогу об исчезновении человека...

— Дадим объявления в газеты, может, кто и наклюнется?

— Может, может... Правда, опознавать будет сложновато. Добро ещё если на теле есть характерные приметы. Да и то... Ну, кто может их знать? Разве что жена, мать...

— Кольца обручального на убитом не было.

— Тем хуже. Впрочем, его могли украсть...

— Тогда почему не украли запонки? Часы?

— Да, непонятно... Жаль, что на часах нет инициалов — это бы могло упростить дело хоть немного. А хочешь, Илья Никитич, я тебе погадаю? — Романенко прищурился. — Дай сюда руку... А, впрочем, можешь не давать, я тебе и так предскажу твоё ближайшее будущее. Ждёт тебя, соколик, дальняя дорога по казённой надобности.

— Неужто в столицу хочешь меня снарядить, Васильич? — любопытно спросил Овчаров.

— А что ж делать? Справки там навести надо? Надо! Сам я ехать не могу? Не могу! Я ж — начальство! Мне за нашими барбосами надзирать надо и подчищать за ними. Кого ж мне посылать, как не тебя, правую мою руку? Завтра утром отправишься.

— Спасибо, Василь Васильич! — обрадовался Илья Никитич.

— Чему радуешься-то, пустельга?

— Так доверю!

— Ты, главное, доверие это оправдай! Накопай ты в этой серой столице хоть что-нибудь, опроси вокзальных служащих, потолкуй с нашим братом, в гостиницы сунься, трясги их там всех — авось, что и выскочит!

— Сделаю, Василь Васильич!

Где-то вдали раздалось первое ворчание надвигающейся грозы. Романенко прислушался и покачал головой:

— Эх ты, горой тебя раздуй... Ни облачка! Говорил же я тебе — дождь будет... Раз у меня спину заломило — стало быть, верная примета...

Менее всего в этот вечер Петру Андреевичу Вигелю хотелось находиться в театре, пытаться сосредоточиться на разыгрываемом на сцене представлении. Но так хотела Ася, а возражать ей он не смел. Её болезнь стала громом среди ясного неба, и, глядя на похудевшее, бледное лицо жены, Пётр Андреевич каждый раз задавливал в себе парализующую мысль о том, как он, как все они будут жить, если из их дома исчезнет это солнце, ни для кого не жалеющее своих лучей и улыбающееся всем и всему даже сейчас... Анна Степановна настаивала, чтобы Ася поехала в Крым вместе с нею и Николашей, но она отказалась наотрез, объяснив, что дорога будет ей слишком утомительна, что в Крыму нет доктора Жигамонта, которому она доверяет... Но Вигель понял,

что истинная причина этого решения жены кроется в другом: она просто не хочет расстаться с ним, она хочет быть с ним в свои, может быть, последние дни. Его долгом было бы самому везти её в Крым, на воды и куда угодно, но служба не отпускала, и Пётр Андреевич терзался ощущением вины перед Асей...

— Пётр, ты идёшь? — окликнул его Володя Олицкий. Он вместе с Надей уже давно обосновался в ложе, ожидая начала представления и от волнения теребя в руке два металлических шарика. Володя подавал надежды уже в ранней юности, но кто бы мог предположить, что к тридцати годам он станет столичной знаменитостью, будет солировать по России и Европе, что музыку его высоко оценят знаменитые композиторы Римский-Корсаков и ректор Московской консерватории Танеев, у которого Володе посчастливилось учиться... Хотя нынешний спектакль был драматическим, но, по дружбе с актёрами, Володя с удовольствием написал для него музыку и несколько романсов, один из которых посвятил Анастасии Вигель... И удивительно было видеть теперь, как этот молодой, но уже вполне маститый композитор волнуется, как новичок, ожидая, как примут спектакль и его музыку.

— Да-да, я скоро, — кивнул Пётр Андреевич. — Звонка ведь ещё не было?

— Ты не пропусти его только. Ты же знаешь, как для меня важно твоё мнение... И мнение Аси тоже... Это очень, очень жаль, что её сегодня нет. Но, как говорится, если гора не идёт к Магомеду... Я днями сам навещу Асю и сыграю ей все романсы и темы этого представления, если только не освистают...

— Неужели ты всерьёз думаешь, что могут освистать?

— Почему бы и нет? Всякое бывает... — пожал плечами Володя и снова скрылся в ложе, а Пётр

Андреевич продолжил бродить по фойе, погрузившись в невесёлые размышления. Мимо сновали нарядно разодетые дамы и господа, слышался весёлый смех и беззаботная болтовня. Каждый раз, видя в ресторациях, театрах и иных местах эту всевесёлую публику, Вигель испытывал странное чувство, которое сам до конца не мог себе объяснить. Впервые оно посетило его несколько лет назад, в страшный день, когда сотни людей были раздавлены в ужасающей давке на Ходынском поле<sup>4</sup>. Пётр Андреевич ясно помнил, как в одной из рестораций, куда ему случилось зайти, ело, пило и веселилось собравшееся общество, а где-то рядом звенели колокольчики подвод, вёзших страшную поклажу — изуродованные тела людей, явившихся за царскими гостинцами, раздавались стоны и вопли раненых и обезумевших от увиденного и пережитого кошмара, стучали о землю лопаты в руках могильщиков, роющих братскую могилу для погибших... Не менее поразило Вигеля и то, что сам Государь и его свита в тот же день присутствовали на приёме французского посольства, точно никакой трагедии не произошло... Таково было начало нового царствования, и Пётр Андреевич чувствовал, что продолжение его будет не менее горьким. Вспоминалось, что именно схожая трагедия, гибель многих людей, собравшихся посмотреть торжественный фейерверк, стала прологом к царствованию обезглавленного короля Людовика Шестнадцатого. Смерть государя Александра Третьего поразила всех своей внезапностью. Царь казался богатырём. На своих могучих плечах он удержал крышу вагона при крушении царского поезда. Сам Бог велел ему царствовать не одно десятилетие, как его отец и дед, но судьба распорядилась иначе. Гроб с телом покойного Государя привезли в Москву, а следом въехал Государь новый, имевший обидно малое

сходство с отцом и не умеющий внушить того верноподданнического чувства, которое одним своим видом внушал тот. Новый Государь производил впечатление человека, вдруг, невольно оказавшегося на чужом месте, слишком высоком для себя, на плечи которого внезапно свалилась страшная ноша, которая придавила его, и которую ему не по силам нести. Впечатление, оставленное прощанием с Императором Александром, видом его сына, трагедией Ходынки и продолжавшимся на фоне её весельем, камнем легло на душу Вигеля, породив в ней дурное предчувствие.

— Всё будет в наилучшем виде, драгоценная Ольга Романовна! Не извольте беспокоиться! Наш театр по гроб жизни будет благодарен вашему мужу и вам...

— Владислав Юрьевич, мой муж всегда считал помощь искусству делом святым, и я разделяю это мнение, а потому вы всегда можете рассчитывать на мою помощь...

Вигель вздрогнул, как от удара током, и даже не осмелился сразу обернуться, услышав этот негромкий, звенящий, как ручеёк, голос, которого он не слышал уже целых двадцать лет... Он узнал бы его из тысяч, сколько бы времени не прошло. Это был её голос. Пётр Андреевич обернулся и увидел в центре фойе Ольгу Романовну... Нет, это была уже не та бедная и забитая нелёгкой сиротской долей барышня, но строгая, занимающая высокое положение дама. Она была одета неброско, но очень дорого: простое по крою тёмное платье, оттеняющее бледность кожи, накидка из дорогого, переливающегося разными цветами меха, бриллиантовые серьги, ожерелье, перстень белого золота и небольшая заколка в высокой, очень идущей ей причёске. Очень просто и очень дорого — безупречный вкус налицо. Внешне Ольга Романовна изменилась мало: та же стройная, даже худощавая фигура, то же бледное лицо с мелкими чертами и почти

неестественно крупными глазами, та же тихая печаль на нём. Ни следа важности, надменности, присущей состоятельным дамам. Оторвав взгляд от Ольги, Вигель, наконец, обратил внимание на стоявших рядом с нею людей. Это были полный, среднего роста господин с окладистой бородой и лысым, как колесо, черепом, в котором Пётр Андреевич угадал директора театра Авгурского, корнет, неуловимо напоминавший саму Ольгу Романовну, вероятно, её сын, и барышня в белом платье, с непокорными, рыжеватыми волосами и бойким, подвижным лицом.

Вероятно, Вигель столь пристально смотрел на Ольгу, что бойкая барышня заметила это, и, тронув её за рукав, что-то шепнула. Ольга Романовна отвела взгляд от Авгурского и увидела Петра Андреевича. Вигель понял, что она узнала его, и что уйти теперь было бы не совсем удобно. Подойдя ближе, он почтительно склонил голову:

— Здравствуйте, Ольга Романовна.

— Здравствуйте, Пётр Андреевич, — прозвучало в ответ. — Не ожидала вас здесь встретить...

— И я не ожидал. Вы прекрасно выглядите, Ольга Романовна.

— Благодарю. Позвольте вам представить: Владислав Юрьевич Авгурский, директор театра.

— Моё почтение, — кивнул Авгурский.

— Мой сын Пётр, корнет Х...ого полка. Моя дочь Лидинька. Господа, это мой старый друг Пётр Андреевич Вигель.

— Друг? А почему он никогда у нас не бывал? — спросила Лидинька.

— Так сложилась, — неопределённо ответила ей мать.

В этот момент раздался первый звонок.

— О, мне надо бежать! Тысяча извинений! — засуетился Авгурский и исчез.

— Я полагаю, мы увидимся в антракте, Пётр Андреевич? — спросила Ольга.

— Да-да, разумеется... — кивнул Вигель.

В зале они сидели далеко друг от друга, в разных ложах, и Пётр Андреевич время от времени переводил взгляд со сцены в темноту, где виднелась фигура Ольги. Он мог бы дать голову на отсечение, что и она смотрит в этот миг не на сцену... Спектакль шёл, а Вигель никак не мог сосредоточиться на нём. А ведь необходимо было смотреть внимательно: Ася просила подробно пересказать... Да и перед Олицкими неудобно. Володя ёрзал на своём месте не в силах сдерживать волнения.

— Бог ты мой, что ты так переживаешь? — шептала ему Надя. — Ведь это даже не новый симфонический концерт!

— Тебе этого не понять, — резонно отвечал Олицкий.

Во время антракта Пётр Андреевич вышел из театра и, остановившись на ступеньках, глубоко вдохнул душный в преддверье надвигающейся грозы воздух. Очень хотелось закурить. Впервые за долгие годы. «Вредную привычку» Ася заставила бросить его ещё во время своей беременности, объясняя, что ей становится дурно от малейшего запаха табака. Позади послышался шорох платья. Вигель обернулся и увидел стоявшую на ступенях Ольгу, зябко кутающую плечи в меховую накидку.

— Какой холодный ветер... — негромко сказала она.

— Осень приближается, Ольга Романовна.

— Да... Осень... Как, однако, странно всё...

— Что странно?

— Мы не виделись с вами двадцать лет, и вдруг эта встреча...

— Мой друг написал музыку к этому спектаклю и очень просил прийти.



— Так князь Олицкий ваш друг?

— Да, а вы с ним знакомы?

— Немного. Я ведь часто бываю в этом театре, знаю все спектакли, актёров, художников...

— Я заметил, что директор едва ли не заискивает перед вами.

— Он не заискивает, просто старается быть любезным. Ведь, если бы не Сергей Сергеевич, то этого театра не было бы. После выставок театр стал его любимым детищем. Он сам нашёл архитекторов, сам утверждал план, следил буквально за каждой мелочью — ни на что не поспешил. Прежде Владислав Юрьевич вынужден был ставить свои спектакли, где придётся, а Сергей Сергеевич, однажды увидев его постановку, пришёл в восторг и заявил, что такой талантливый художник должен иметь свой театр. Он так любил всё прекрасное, так по-детски радовался каждому новому таланту, так старался поддержать все проявления подлинного искусства...

— Да, ваш муж был одним из наиболее известных меценатов в Москве... Я читал некрологи о нём в газетах. Примите соболезнования.

— Спасибо, — Ольга Романовна опустила глаза.

— Теперь вы продолжаете его дело? — спросил Вигель.

— Да. Сергей Сергеевич был влюблён в искусство, во всё талантливое и за годы совместной жизни привил и мне эту страсть. Последние годы он был болен, и я много занималась делами. Но... теперь всё иначе! Сергей Сергеевич меня многому научил, но, пока он был жив, я чувствовала, что есть кому поправить меня, дать совет, поддержать, а теперь, когда его не стало, то я не чувствую прежней уверенности — всё приходится разбирать самой.

— Вам очень не хватает вашего мужа?

— Да, Пётр Андреевич, мне не хватает его. Он был мне как отец... Первое время после его смерти я не находила себе места, а потом окунулась в дела, которые остались после него, и стало легче, потому что во всех этих начинаниях живёт его частичка, и я знаю, что продолжаю в каком-то смысле не только его дело, но и саму его жизнь в памяти людей. И всё-таки многое изменилось. Прежде в нашем доме всегда было так много народа: художники, актёры, поэты, музыканты... Сергей Сергеевич, даже прикованный к постели, никому не отказывал в приёме. Он очень любил общество, а ко всем этим талантам относился, как к родным детям... Его все очень любили. А я... У меня не хватает сердца, чтобы поддерживать эту атмосферу. Дома стало пусто, заходят лишь самые близкие друзья... И не у кого ни совета, ни поддержки спросить.

— Но ведь у вас есть сёстры, взрослый сын, — заметил Пётр Андреевич.

— У сестёр своя жизнь. Обе они, слава Богу, вышли замуж по любви, у обеих семьи. В Москве их нет. А сын... Сергей Сергеевич очень надеялся, что он продолжит его дело, но Петруша с малых лет избрал другое поприще. Он просто бредил военной службой, мы не посмели противиться этому желанию. Если человек так остро осознаёт призвание к чему-то, то нельзя мешать — можно исковеркать судьбу. Петя очень способный мальчик, он на хорошем счету в полку... Только всё время торопится! Вот, и теперь, забежал ненадолго и уехал в полк... У его друга сегодня день рождения, так они будут праздновать, а я и наглядеться на него не успеваю.

— Он очень похож на вас.

— Да, похож... — согласилась Ольга и почему-то отвела глаза. — Скажите мне, Пётр Андреевич, вы не держите на меня зала? За то, давнишнее? Вы простили меня?

— Простил, Ольга Романовна. Я не имел права упрекать вас ни в чём, так что и вы простите.

— Как же вы живёте теперь?

Первые тяжёлые капли дождя ударились о пыльную мостовую, и ветер взметнул столп пыли, заколыхал деревья. Пётр Андреевич вглядывался в лицо Ольги. Совсем не изменилась... Вот, также смотрела она на него двадцать лет назад своими распахнутыми глазами, замёрзшая, кутающаяся в старый салоп, также негромко журчал её голос, та же печаль таилась в уголках губ, во взгляде...

— Живу, Ольга Романовна, как все люди живут. Служба, семья — в общем-то, и рассказывать особенно не о чем.

— А я в газетах читала о вас. И о Немировском... Он служит ещё?

— Да...

— Я помню его. Подумала тогда ещё глупо: разве могут быть у следователя со стажем такие солнечные глаза...

— Да разве вы встречались? — удивился Вигель.

— Один раз. Вы тогда ранены были, а я не знала, у кого спросить о вас. Дольше часа на морозе простояла, ждала, пока ваш начальник выйдет, чтобы узнать, как вы... Я должна была знать, иначе бы просто места себе не нашла.

— Он не говорил мне о том, что вы приходили...

Из дверей театра выбежал одетый в средневековое платье человек в каком-то немыслимом гриме:

— Ольга Романовна, вот вы где! А мы уже вас ищем! Антракт-то заканчивается. Просим в зал, просим в зал!

— Конечно, Серёжа, я уже иду, — кивнула Ольга.

— Кто это? — любопытно спросил Вигель.

— Это? Актёр Кудрявцев. Он у Авгурского во всех спектаклях занят. Огромный талант. Лидинька от него

без ума... Сейчас как раз его выход. Идёмте, Пётр Андреевич. Вас ведь тоже ждут...

После спектакля Ольга Романовна тотчас уехала, отказавшись от участия в банкете под предлогом разыгравшейся мигрени. Вигель видел лишь, как она покидала свою ложу в сопровождении дочери и толстяка Авгурского. Представление прошло «на ура», зрители провожали актёров бурными овациями, и на сцену время от времени летели букеты. Володя, наконец, успокоился и довольно потёр подбородок.

— Поздравляю с очередным успехом, — сказал ему Пётр Андреевич.

— Ах, дружище, успех — коварная штука. Чем его больше, тем страшнее становится неудача! — ответил Олицкий.

— Ты когда-нибудь бываешь доволен?

— Не обращай на него внимания, — подала голос Надя, оправляя платье. — Это болезнь творческих людей — постоянное ощущение несовершенности своих творений, самоедство и страх провала.

— Любое произведение несовершенно, потому что нет предела совершенству, — философски заметил Вигель.

— Ты останешься на банкет? — спросил Володя.

— Нет, не могу. Ты же знаешь, Ася нездорова, я должен возвращаться.

— Да, конечно. Передавай ей нижайший поклон от нас и наши самые сердечные пожелания и скажи, что на днях мы навестим её.

— Она будет рада вас видеть.

Раскланявшись с Олицкими, Пётр Андреевич покинул театр. Гроза разбушевалась вовсю, но промокшие ямщики, не обращая внимания на непогоду, сидели на козлах, резонно предполагая, что в такую погоду желающих идти пешком даже до ближайшего переулка окажется немного. Вигель нанял одну из

пролёток с поднятым верхом и велел извозчику ехать медленно, чем немало удивил его.

От театра до Страстного бульвара, где несколько лет назад он обосновался с семьёй, расстояние было невелико, а Вигель ясно чувствовал, что нужно привести мысли и чувства в порядок, прежде чем явиться к ожидающей его жене. Всего бы лучше теперь было поехать в какой-нибудь трактир, выпить рюмку кизлярской, посидеть и обдумать всё спокойно, но час был поздний, а Ася никогда не смыкала глаз, не дождавшись возвращения мужа. Лошадь медленно трусила по мокрой мостовой, дождь хлестал по фордеку, а Пётр Андреевич смотрел в одну точку и видел перед собой лицо Ольги. Нет, не нужно было поддаваться на уговоры Аси и ехать в театр. Остался бы он в этот вечер дома, и не случилось бы этой встречи, разом всколыхнувшей память о далёких прекрасных днях, о любви, которую Вигель так и не смог изгнать из своего сердца. Он сумел лишь временно забыть о ней, но, стоило напомнить, и будто бы не было этих двадцати лет... А она? Ольга? Теперь богатая вдова, меценатка, поэты посвящают ей стихи, а музыканты романсы... Покровительница муз! Она искренне оплакивает покойного мужа, от которого родила двоих детей... Но её глаза, её взгляд не мог обмануть Вигеля. Она тоже ничего не забыла... Она читала о нём в газетах, как и он — о её муже... И зачем теперь нужна была эта встреча? Там, в доме на углу Страстного бульвара его ждёт любящая женщина, жена, родившая ему сына, а теперь, может быть, умирающая, а он явится к ней с растравленной душой, с сердцем, наполненным разбуженными чувствами к другой женщине, с головой, наполненной мыслями о другой — и как смотреть ей в глаза? Лишь бы она не догадалась ни о чём. Нанести, пусть и невольно, малейшую обиду

этому безмерно дорогому для него существу Пётр Андреевич не мог и не простил бы себе этого.

— Приехали, барин.

Приехали... Вот, она — редакция «Московских ведомостей». А совсем рядом — дом философа Льва Тихомирова, бывшего народника, перешедшего в стан убеждённых монархистов и охранителей и ставшего одной из самых одиозных фигур наряду с Победоносцевым для прогрессистов. Вигель не раз читал его статьи, как читал их и Николай Степанович Немировский, оценивавший их, как «редкий здравый голос среди хора помешанных». Пару раз на улице встречал Пётр Андреевич и самого Тихомирова, сухопарого, бледного пожилого человека в огромных роговых очках, неизменно хмурого и погружённого в свои мысли. Пётр Андреевич учтиво снимал шляпу, получал в ответ столь же учтивый кивок, но заговорить с философом ни разу не решился. Повода не было, а отвлекать человека досужими разговорами казалось Вигелю, по меньшей мере, бестактным и глупым...

Расплатившись с извозчиком, Пётр Андреевич зашагал по лужам к своему дому. Кроме него и его семьи в нём жили Немировский с сестрой и старуха-кухарка Соня. Именно она, заспанная и сердитая, открыла ему дверь:

— И что же это ты, голубчик, по ночам да в такую грозу ходишь? Небось, и вымок весь...

— Николай Степанович пришёл уже?

— А то как же. Николай-то Степанович старой закалки человек, он всё вовремя делает. Ныне спит уже, должно.

— А Анастасия Григорьевна?

— И она почивает уже. Ох ты, Господи... Первый раз на моём веку не дождалась тебя, сомлела, голубушка. Доктор уж настоял, чтобы легла, капель ей каких-то дал... И за что ж беда такая?..

— Иди и ты спать, Соня. Прости, что разбудил. А уж я сам тут справлюсь.

— Чаю горяченького испей. Простудишься, не дай Господи. Самоварчик-то горячий ещё.

— Спасибо, Соня.

Старуха скрылась в своей комнатушке, а Пётр Андреевич прошёл на кухню. Первый раз не дождалась его Ася... А он почти и рад этому: уж слишком тяжело было бы теперь играть перед ней, рассказывать в красках о спектакле и умалчивать о том, что огнём обжигало душу... Вот, завтра с утра — другое дело. Утро вечера мудренее...

Офицерская столовая Х...ого полка гудела, как пчелиный улей, когда Петя Тягаев переступил её порог. Тотчас к нему с приветственным криком бросился виновник торжества и лучший друг ещё со времен кадетского корпуса Адя Обресков, невысокий, кажущийся в силу сложения моложе своих лет юнец с едва пробивавшимся над верхней губой пухом. Адя, несмотря на всю негероичность фигуры, был способным офицером, преданным другом, а, в иных случаях, мог и выкинуть какой-нибудь фортель в гусарском духе, стараясь походить на старших товарищей. В этих проказах не раз сопутствовал ему и Петя. Не так давно молодые офицеры просадили изрядную сумму в «Яре», стремясь таким образом поддержать престиж полка. Сумма была столь велика, что история могла бы окончиться скандалом, если бы покойный отец Пети, строго отчитав сына, не расплатился за его кутёж. Это стало для корнета Тягаева хорошим уроком и впредь он гораздо строже стал относиться к себе и ко всякого рода проказам и стал считаться одним из самых примерных офицеров в полку. Петя не стремился обогнать товарищей в сомнительных удальствах, имея изначально перед собой главную цель — сделать

военную карьеру. С детства он зачитывался книгами о героях, о подвигах, о войнах всех времён и народов. В его комнате соседствовали портреты великих полководцев, среди которых на самых почётных местах — Суворов и Скобелев. Как жалел Петя, что родился поздно и не успел поучаствовать в славных делах «белого генерала» на Балканах! Приходилось уповать только на то, что, как говорил полковник Дукатов, обнадёживая своих подопечных, «и на ваш век войны хватит».

В детстве Петя Тягаев отличался слабым здоровьем, но перед глазами мальчика был пример великого Суворова, сумевшего в юных годах одолеть телесную немощь, благодаря силе духа, целеустремлённости и постоянному закаливанию своего тела. И Петя старался походить изо всех сил на своего кумира. Он сумел побороть недуги, стать выносливым, сильным и ловким, и, с благословения родителей, поступил в кадетский корпус. Плох тот солдат, который не мечтал бы стать генералом. Петя Тягаев отличался честолюбием и финал своей карьеры видел именно в чине генерала. Никак не меньше. Единственным иным финалом могла быть геройская гибель на поле брани. О, сколько раз рисовалась в юношеском воображении картина: поле боя, и он, подобно Андрею Болконскому, идущий вперёд со знаменем в руках, он, увлекающий за собой других... И, вот, отступает неприятель, и гремит слава русского оружия, а он, герой, падает сражённый, но победивший и покрывший себя воинской славой! Или же иная картина: поле боя, и он, генерал Тягаев «манием руки»двигающий победоносные полки на врага... Дух захватывало от этих мечтаний! Редко кому Петя рассказывал о них. Единственным человеком, от которого секретов не существовало, был Адя. Напрочь лишённый честолюбия, он искренне верил в талант и счастливую звезду своего друга. Когда-то в кадетском



корпусе они поклялись всегда быть преданными друг другу, следовать во всём рыцарскому кодексу, первое место в котором занимало слово «Честь»... А ещё были заповеди воина, составленные Марком Аврелием. Петя выучил их наизусть и взял себе девиз: *делай, что должен, и будь, что будет.*

— Ну, наконец-то ты пришёл! — радостно кричал Адя, веселясь, словно ласковый щенок. — Я тебя жаждался! Мы уже начали немного без тебя...

То, что «начали», было заметно. Адя уже явно был навеселе, ворот мундира его был расстегнут, и Петя отметил это про себя с чувством неудовольствия от такого пренебрежительного отношения к форме.

— Садись, брат, садись! Выпьем шампанского, пока оно ещё осталось!

— Что Разгромов? Здесь ли? — осведомился Пётр, усаживаясь за стол, и обводя глазами собрание.

— Ещё не появлялся, но ждём, — ответил Адя, наполняя бокал друга вином. — Зато *племянник* — здесь. Мрачный, как чёрт знает что! Такое ощущение, что готов испепелить весь мир единым взглядом!

Племянником в полку именовали подпоручика Михаила Дагомыжского, родного племянника генерала Дагомыжского, начальствовавшего над оным полком. Петя знал поручика ещё по кадетскому корпусу, в котором тот исполнял роль его «дядьки». Такова была традиция: старшие кадеты брали шефство над младшими, именуемыми «зверями». У каждого «дядьки» был свой «зверь», которым он имел право командовать. Петя Тягаев был «зверем» Дагомыжского. Ничего оскорбительного в этом положении не было, если бы не нрав самого Михаила, взбалмошного и несдержанного, которого Петя объективно считал плохим офицером и ставил ниже себя, а потому малейшее помыкание и неуважение воспринимал с едва сдерживаемым раздражением. В полку Михаил

Дагомыжский ни с кем близко не сошёлся, держался особняком. Поговаривали о том, что он страстный игрок, что живёт с тайной женой, но никаких объективных свидетельств тому не было. Сослуживцы подпоручика недолюбливали за скрытность, а он не искал их расположения... И в этот вечер Михаил сидел в стороне ото всех, мрачный, злой и, кажется, уже успевший сильно захмелеть.

— Разгромов! Разгромов! — пронеслось внезапно по клубу.

Петя взглянул в окно и увидел выходящего из трамвая Разгромова.

— Опять проигрался... — констатировал Адя. — Дивный человек!

Отставной поручик Разгромов, несмотря на то, что уже не служил в полку, оставался кумиром для многих молодых офицеров. Перед его магнетизмом не смог устоять даже Петя Тягаев, хоть и стыдился он этой своей слабости... Впрочем, мало нашлось бы людей, как мужчин, так и женщин, которые смогли бы остаться равнодушными к этому человеку.

Виктор Разгромов происходил из аристократической семьи, обладал превосходными манерами, вкусом и более чем привлекательной внешностью. Высокая, подтянутая фигура, мужественное, красивое, гордое лицо с тёмными, таящими какую-то загадку глазами и губами, с которых не сходила лёгкая, ироническая усмешка, с высоким бледным лбом и чёрными, как смоль волосами — таков был Разгромов. Многие называли его «демоном», хотя отставной поручик вовсе не был зол или мрачен. Напротив: он, казалось, был открыт всем, всегда весел и остроумен, всегда готов ссудить деньгами, если только они у него были — душа любого общества. Разгромов мог поддержать любой разговор, знал бесчисленное количество забавных анекдотов и занимательных историй, превосходно

читал стихи и пел цыганские романсы. Он был вальяжен и немного небрежен, что, впрочем, шло к его аристократической внешности. За Разгровым тянулась слава игрока, неисправимого Дон Жуана и дуэлянта. Он отличался сумасшедшей храбростью, граничащей с безрассудством. Ему ничего не стоило сыграть «для потехи» в русскую рулетку, укротить самого бешеного коня, от которого шарахались даже опытные жокеи. Разгромов не дорожил ни своей, ни чужой жизнью, хотя при этом отличался завидным жизнелюбием. Он любил повторять слова Пугачёва о том, что лучше год прожить орлом, чем век — вороном. Доподлинно известно было, что отец оставил Виктору небольшое состояние, которое тот благополучно спустил. Каждые выходные Разгромов играл на скачках. Случалось выигрывать крупные суммы, но они недолго задерживались у него, расходясь по бумажникам кредиторов, карманам друзей, не имевших привычки возвращать долгов, ресторациям, певичкам, портным... После выигрыша Разгромов облачался в дорогой костюм, нанимал самый дорогой экипаж и разъезжал по самым дорогим заведениям Москвы, швыряя деньги направо и налево и сльвя чуть ли не миллионщиком. Потом деньги заканчивались, и Разгромов привычно закладывал свои золотые часы, пускал всё своё обаяние, чтобы квартирная хозяйка отсрочила срок платежа и передвигался по городу пешком или на трамвае, сохраняя при этом вид абсолютного хозяина жизни и миллионщика. О любовных похождениях Разгровова ходили легенды. Поговаривали, что влюблённая в него цыганская певица во время исполнения романса отравилась прямо на его глазах. Ряд скандалов заставили весёлого поручика оставить военную службу, но он продолжал частенько навещать товарищей и бывать в офицерском собрании, куда его пускали без малейших возражений, и где он иной раз

просиживал целые вечера. Даже уйдя из полка, Разгромов продолжал оставаться его своеобразным достоянием, гордостью...

Облачённый в белый костюм, с тростью на перевес, Разгромов переступил порог собрания с таким видом, словно прибыл сюда не на трамвае, а в собственном экипаже с дюжиной лакеев.

— Добрый вечер, господа! — громко сказал он густым, хорошо поставленным голосом.

Его тотчас окружили молодые офицеры, посыпались шуточки и остроты. Подойдя к имениннику, Разгромов протянул ему небольшой футляр:

— Поздравляю, корнет! Примите этот скромный подарок!

В футляре оказался кавказский кинжал старинной работы, и Петя легко догадался, что отставной поручик приобрёл его у старьёвщиков на Сухаревке, сбив цену, как минимум, вдвое. В умении торговаться, как и во владении саблей и пистолетом, Разгромову также не было равных. Корнет Тягаев однажды оказался на Сухаревке в его компании и не мог не восхититься этим умением. Даже торговцы разводили руками от такого напора:

— Грех вам, барин, нас обирать!

— Оберешь вас, как же! Вы-то эту вещицу у жулья с Хитровки почём взять согласились?

— Господь с вами, барин! Какая-токая Хитровка?

— А хочешь, борода, я тебе доподлинно скажу, у кого эта вещица на прошлой неделе украдена была?

Знал ли Разгромов, на самом деле, о происхождении той или иной вещи? Скорее всего, нет. Но говорил он так убедительно, что торговцы предпочитали с ним не связываться и сбавляли цену.

Кинжал, подаренный Аде, стоил явно недёшево, и Петя в очередной раз подивился, как уживается в одном человеке столько противоречивых качеств: и

удивительное умение торговаться, и отчаянное мотовство и безграничная щедрость.

Устроившись на своём излюбленном месте, которое никто никогда не занимал, Разгромов взял гитару и затащил один из романсов собственного сочинения на стихи Константина Бальмонта, исполнять которые был он непревзойдённым мастером:

— Заводь спит. Молчит вода зеркальная.  
Только там, где дремлют камыши,  
Чья-то песня слышится, печальная,  
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,  
Он с своим прошедшим говорит,  
А на небе вечер догорающий  
И горит и не горит.

Отчего так грустны эти жалобы?  
Отчего так бьется эта грудь?  
В этот миг душа его желала бы  
Невозвратное вернуть.

Все, чем жил с тревогой, с наслаждением,  
Все, на что надеялась любовь,  
Проскользнуло быстрым сновидением,  
Никогда не вспыхнет вновь.

Все, на чем печать непоправимого,  
Белый лебедь в этой песне слил,  
Точно он у озера родимого  
О прощении молил.

И когда блеснули звезды дальние,  
И когда туман вставал в глуши,  
Лебедь пел все тише, все печальнее,

И шептались камыши.

Не живой он пел, а умирающий,  
Оттого он пел в предсмертный час,  
Что пред смертью, вечной, примиряющей,  
Видел правду в первый раз.

Внезапно кто-то с грохотом отодвинул стул. Это поднялся со своего места подпоручик Дагомыжский.

— Что с вами, подпоручик? — спросил Разгромов, продолжая перебирать струны.

— Мне не нравится ваша песня! От неё хочется пустить пулю в лоб!

— В свой или в чей-нибудь? — по губам Разгромова скользнула усмешка.

— Или в ваш!

— Вот оно что... Что ж, я бы предоставил вам такое удовольствие, если бы вы были теперь трезвы, а от пьяных ссор увольте. Это, друг вы мой, моветон!

— Оставьте ваш тон, господин наглец! — вспыхнул Дагомыжский.

— Господин подпоручик, по-моему, вам лучше уйти, — сказал Адя взволнованным голосом.

— Не вам указывать мне на дверь! Вы... вы... Щенок! Какого чёрта вы бегаете за этим франтом, который оказался не достоин даже носить чин офицера?! Это же позор, корнет! Имейте самоуважение! Вам доставляет удовольствие слушать идиотские истории о его любовных похождениях, потому что вам их не хватает самому?!

Дагомыжский был смертельно пьян, но последний укол попал точно в цель. Адя, стесняясь своей слишком юной внешности, всегда робел в женском обществе, и дамы не воспринимали его всерьёз. Побледнев, он вскрикнул, срываясь на фальцет:

— Немедленно возьмите свои слова назад, или я требую сатисфакции!

— Да пойдите вы к чёрту, корнет! — Дагомыжский занёс было руку, но в тот же момент получил мощный удар, от которого рухнул на пол и с изумлением уставился на стоявшего перед ним корнета Тягаева.

— Уходите, господин подпоручик, — сказал Петя ровным голосом. — Ваша выходка позорит полк, и я вынужден буду рапортовать о ней завтра командиру.

— Что-о?.. — глухо зарычал поручик, вращая налившимися кровью глазами. — Это ещё всякое зверьё будет мне приказывать?!

Вскочив, Дагомыжский выхватил саблю, но несколько офицеров схватили разбушевавшегося подпоручика за руки, и Тягаев по приказу старшего офицера забрал у него оружие:

— Вашу саблю возвратят вам с утра, когда вы придёте в себя.

Дагомыжский выругался и, растолкав собравшихся, покинул собрание, исчезнув в безлунной ночи, тишину которой разрывали гулкие раскаты грома.

Офицеры ещё некоторое время обсуждали досадный инцидент и беспардонное поведение Михаила, а затем вновь разошлись к столам продолжать прерванный банкет. Лишь Адя продолжал волноваться:

— Мерзавец! Если он племянник генерала, так думает, что ему всё позволено?

— Брось, — махнул рукой Петя. — Генерал сам недолюбливает его.

— Генерал недолюбливает всех. Но, однако же, я не могу этого оставить так! Я завтра же вызову его на дуэль! Будешь моим секундантом?

— Нет, не буду.

— Но почему?

— Потому что глупо вызывать на дуэль негодяя, который наговорил чёрт знает что в пьяной горячке.

Могу поклясться, что завтра утром он насилу сможет вспомнить, что здесь происходило.

— Вы, корнет, рассуждаете серьёзно не по летам, — заметил Разгромов, на протяжении всего происшествия сохранявший свою обычную невозмутимость. — Клянусь рогами вельзевула, что вы очень скоро получите чин поручика, а, не пройдёт и нескольких лет, как станете капитаном. Примите моё уважение: вы выглядели крайне достойно в этой неприятной сцене, и удар был отмененный.

— Благодарю, я лишь выполнил свой долг. Счастье, что полковник Дукатов не был свидетелем этой сцены. Он был бы взбешён...

— Вам всё равно придётся докладывать ему о случившемся.

— Увы... — вздохнул Петя и усмехнулся, припомнив любимую поговорку полковника на мотив модной песенки: — Мама, мама, что мы будем делать?

— Пить шампанское и веселиться! — отозвался Разгромов.

— Я всё-таки настаиваю на сатисфакции... — сказал Адя.

— Бросьте, юноша! Я вас понимаю. Я сам в ваши годы изрубил бы этого наглеца прямо здесь, но это неумно, поверьте. Дагомыжский хороший стрелок и фехтовальщик, а вам, простите, ещё надо совершенствоваться в этом. Зачем же спешить подставлять свой лоб холодному свинцу, когда жизнь позаботится предоставить вам для этого множество куда более достойных поводов!

— И это говорите вы, с вашей славой дуэлянта?

— Я — другое дело. Во-первых, я не даю промаха никогда, и сабля — продолжение моей руки. Во-вторых, мне скучно, и дуэль — один из хороших способов хоть немного пощекотать нервы, хотя и он уже мало помогает. Ну, а вам-то скучать рано! Ваша жизнь только



начинается, вы ещё столько не испытали в ней! Не торопитесь на тот свет, пока не узнаете этот, — Разгромов вынул дорогой портсигар с не менее дорогими сигарами. — Угощайтесь, господа!

Петя отказался, а Адя с ребяческим любопытством схватил одну из сигар, закурил, закашлялся:

— Прошу простить, господа, — и отошёл от стола.

Тягаев отпил немного вина и сказал:

— Я давно хотел спросить вас, Разгромов. Вы не жалеете о том, что оставили службу?

— Какое это имеет значение? У меня, Тягаев, принцип: никогда не жалеть о том, чего уже не представляется возможным изменить.

— А Дукатов жалеет, что вам пришлось уйти из полка. Он очень ценил вас и до сих пор на занятиях приводит в пример.

— Что и говорить, наш полковник славный человек, хоть и производит впечатление крепостника из какого-нибудь медвежьего угла. Нет, Тягаев, я ни о чём не жалею. Чиноплюбие мне не свойственно, да и дисциплина — не моя стезя. Муштра, отдание чести... Не каждому человеку подходит такая жизнь. Я не терплю системы, догмы. Я вольный казак, Тягаев! Родись я двумя столетиями прежде, так, пожалуй, со Стёпкой Разиным или Емелькой Пугачёвым разгулялся бы во всю Ивановскую!

— Так вы бунтарь?

— Ещё какой!

— Так ведь бунтари и теперь есть... — заметил Петя.

— Какие это бунтари! Социалисты? Народники? Террористы? Бог с вами, Тягаев! Учёные люди, группирующиеся в партии, служащие своей догме... Та же дисциплина, та же иерархичность, та же догма, то же навязывание чужой воли! Они ратуют за свободу, но не для всех! А для своих! Мы с вами, Тягаев, в число таких не входим. Да только и «своим» свободы не

будет, потому что над каждым из них будет догма, начальство, партийный устав — и ни единой собственной, не проверенной на верность идее мысли! Вот, их свобода! Конечно, кроме этих господ есть ещё застрельщики, бомбисты, рядовой состав, так сказать. Из студентов-недоучек, обиженных на жизнь, которой и попробовать не пожелали. Этих я презираю. Их бы в Обуховскую больницу всех свезти или драть, как в старые времена, чтобы дурь из головы вышла. Они свою волю подчиняют этим мерзавцам-доктринёрам, смотрящим на них, как на стадо, которому рано или поздно суждено пойти на заклание ради утоления аппетита хозяина. Ничтожные, глупые людишки! А их хозяев я, моя бы воля, перевешал на фонарях... Они власти хотят, своей абсолютной деспотии, а я воли хочу и больше ничего!

— А вы анархист, Разгромов.

— Открещиваться не буду, так и есть. Но анархизм — естественная черта русского человека. Для русского человека нет авторитетов. Не в нигилистическом смысле, нет, а в его вековом, православном. Знаете ли, Тягаев, что однажды изрёк наш знаменитый славянофил Хомяков? «Христос для меня не авторитет, а Истина!» Вот, Тягаев, в чём дело! Авторитет — это не для русского человека. Для русского человека — Правда. Правда единственная, не правда лагеря, а Правда божеская! Любовь! Наш русский человек перед своими героями не преклоняется рабски, а любит их! И Царя русский человек не уважал, а любил, как отца, как некое воплощение Правды на земле. Поэтому я и говорю, что русский человек — анархист, по существу своему. Потому что он Правды ищет, а не хозяина, и любит лишь того, в ком Правда эта ему покажется. Я за того, кого люблю, лютую смерть приму, но не пытайтесь заставить меня целовать ему сапоги — не стану, хоть на куски рвите!

— Вы всё-таки большой оригинал, Разгромов. Не думал я от вас услышать проповедь анархизма и божеской правды. Откровенно говоря, мне всегда казалось, что вы в Бога не веруете.

Разгромов задумался:

— А чёрт знает... Я и сам не разберу, верую или нет. А, вот, вы, Тягаев, образец служивого человека. Быть вам генералом, если только не убьют прежде на войне!

— Так ведь нет войны.

— Вас это огорчает?

— Разумеется, да! Я избрал воинскую службу, чтобы воевать, а перспектива провести всю жизнь в этой казарме меня вовсе не прельщает.

— Не беспокойтесь, корнет... Верьте слову, новый век принесёт нам столько войн и крови, что мы все ещё взмолимся о мирных днях.

— А что станете делать вы, если начнётся война?

— Естественно, отправлюсь на неё. Война — хороший способ разогнать застоявшуюся кровь, размять затёкшие мускулы, развеять из головы дурман нашей мирной жизни... Кстати, куда запропастился ваш приятель Обресков? Ему надоело наше общество?

— В самом деле, пойду поищу его, — Петя поднялся и направился к дверям собрания, слыша краем уха, как Разгромов произнёс, обращаясь к офицерам:

— Прежде здесь было веселее, господа!..

Гомон голосов и гитарные аккорды остались позади, а Петя очутился на улице, где всё ещё свирепствовала гроза, и ничего невозможно было разглядеть в кромешном мраке этой непогожей ночи.

## Глава 2

Полицейская пролётка быстро мчалась по ещё не высохшим после бывшей накануне грозы улицам, на которых в этот ранний час уже начиналась повседневная жизнь москвичей. Семенили чиновники в свои конторы, спешили за покупками к Китайской стене дородные хозяйки, мелькали торговцы, зазывающие купить свой товар... Некоторые поглядывали вслед пролётке:

— Никак рестовывать кого покатили!

Николай Степанович Немировский скользил взглядом по улицам и вертел в руках свою неизменную тавлинку. На его морщинистом лице застыло выражение озабоченности, в которой Вигель угадывал что-то большее, чем мысли о новом деле. Годы службы состарили Николая Степановича. Он как-то высох, черты лица заострились, морщины углубились, а некогда стальной шлем густых, спадавших чубом на лоб волос, сделался теперь белоснежным. Однако, всё так же молодо поблёскивали лучистые глаза старого следователя, и его движения не приобрели старческой медлительности, но остались лёгкими, быстрыми и чёткими.

— Нет, пора уходить на покой... — наконец, вымолвил Немировский. — Все порядочные люди, дожив до почтенных лет, в такой час посиживают себе дома, пьют чай со свежими чуевскими булками, читают книги, а у ног их лежат верные собаки с умными глазами, и соловьи посвистывают, а тут чуть свет приходится срываться к чёрту на кулички, потому что очередному уж наверняка благородному человеку пришла блажь отправить на тот свет своего ближнего!

— Вы не в духе сегодня, Николай Степанович, — заметил Вигель, успевший привыкнуть к таким речам своего наставника. — Вы ещё десять лет назад хотели уйти на покой.

— И глупо сделал, что не ушёл... — Немировский вдруг внимательно взглянул на Петра Андреевича. — Ты рассказал бы мне, Кот Иванович, давно ли ты встретил её?

— Кого? — зачем-то спросил Вигель.

Немировский достал из внутреннего кармана сложный вчетверо рисунок, который Пётр Андреевич набросал, вернувшись вечером из театра:

— Ты хотя бы не раскладывал подобные улики по кухонным столам...

— Это... старый рисунок... Наверное, выпал случайно... — Вигель покраснел, чувствуя, что глупо и напрасно соврал.

— Ты, Пётр Андреич, кому на грош пятаков дать пытаешься? Вряд ли двадцать лет назад это прелестное создание носило такие накидки и такие камни!

— Простите, Николай Степанович, сам не знаю, что говорю, — Пётр Андреевич провёл рукой по лбу. — Я встретил её вчера в театре. Случайно. Я не хотел идти на этот спектакль, но Ася настояла... А Ольга была на премьере с дочерью и сыном... Оказалось, что этот театр был создан на деньги её мужа, и после его смерти она оказывает ему поддержку... Вот и всё!

— Всё, — Немировский усмехнулся. — Только не говори мне, что, встретив её, ты не вспомнил прежнего, не пожалел о том, что потерял, тем более зная о её вдовстве...

— Какое это имеет значение? Я никогда не забывал Ольгу — это правда. И я никогда не скрывал этого. Но правда и то, что я больше не увижусь с ней.

— Не зарекайся. В Божьем мире ничего нельзя знать наперёд. И того, что суждено, нашей волей не

переменить...

— О чём это вы, Николай Степанович?

— Неважно. Я лишь об одном хотел сказать... Ася должна быть спокойна. Мы с тобой оба знаем, что вероятность того, что она поправится, крайне мала. Так вот её последние дни не должны быть омрачены ничем!

Пётр Андреевич почувствовал, как тяжело было Немировскому произнести эти слова, и ответил тихо:

— Неужели вы могли подумать, Николай Степанович, что я посмею хоть чем-то обидеть или огорчить Асю? Поверьте, что для меня сейчас нет более дорогого существа. И я бы первый не простил себе, если бы причинил ей боль.

— Рад слышать, — кивнул Немировский. — И ещё, будь добр, не пытайся врать мне. Лучше сам приди и расскажи всё, как есть, а я уж постараюсь понять.

— Простите, Николай Степанович.

— Простить — ничто, было бы за что! — старый следователь тепло улыбнулся. — Рисунок свой забери. Я его забрал, чтобы Ася или болтушка Соня не увидели.

— Лучше порвите его.

— Нет уж, уволь. Хочешь порвать — рви сам.

Вигель взял рисунок и, не глядя на него, разорвал и выбросил на мостовую...

Пролётка остановилась у казарм Х...ого кавалерийского полка, и Пётр Андреевич сразу увидел бодрую, чуть-чуть раздавшуюся фигуру Романенко, который тотчас поспешил навстречу прибывшим.

— Доброго здоровья, Николай Степанович! Как поживаете?

— Спасибо, Василь Васильич, Бог грехам терпит, — Немировский легко сошёл на мостовую. Следом за ним из пролётки выбрался и Вигель.

— Ох, и ночка сегодня выдалась! — говорил Романенко. — Не дай, не приведи! Началась трупом без головы в пульмановском вагоне, а закончилась

зарубленным на территории собственного полка собственной же саблей офицером! Куда катимся...

— Что ещё за обезглавленный? — спросил Вигель.

— Да какая разница? Это дело не тебе вести, — махнул рукой Романенко. — Я Никитича в столицу снарядил для следствия. Глухое очень дело, вдругорядь расскажу.

— Правильно, что вдругорядь, — одобрил Немировский. — Ты лучше, Вася, расскажи нам всё, что по нашему делу на сей момент известно.

— Дело, Николай Степанович, дрянное, скажу я вам, — Романенко поморщился. — По мне так наш пассажир и то лучше. Здесь же всё — благородные люди! Большое начальство замешано! Вы генерала Дагомыжского знаете?

— Кто же не знает генерала Дагомыжского? Герой Плевны всё-таки...

— Так вот это его племянник, будучи мертвецки пьян, схлопотал мастерский удар шашкой по черепу — так и раскроили его бедолаге!

— Не чума, так скарлатина! — вспомнилась Вигелю любимая поговорка доктора Жигамонта. — Только генерала нам и не хватало...

— Так и что ж с того, что генерал? — пожал плечами Николай Степанович. — У меня тоже чин — не дворовая собака. Действительный статский всё-таки. Так что с генералом я сам поговорю. А ты, Пётр Андреич, в таком случае, возьмишь на себя господ офицеров. Продолжай, Василь Васильич.

— По первому абцугу, картина следующая: накануне корнет Обресков отмечал день рождения в офицерском собрании. Присутствовали, в основном, его друзья, младшие офицеры полка. Само собой разумеется, что выпито было немало, и некоторые из присутствующих чрезмерно разгорячились. Подпоручик Дагомыжский позволил себе дерзость в отношении бывшего офицера

полка отставного поручика Разгромова и корнета Обрескова. Корнет Тягаев решительными действиями сумел пресечь этот инцидент и с помощью нескольких офицеров обезоружить буяна, после чего последний покинул собрание. Алиби ни у кого из присутствующих нет, так как никто не следил, кто и когда покидал собрание. Тяпнувши были, сами понимаете. Корнет Обресков порывался вызвать обидчика на дуэль, но Разгромов и Тягаев остановили его.

— Так, может, этот корнет и отомстил своему припертеню<sup>5</sup>? — предположил Немировский.

— Вряд ли, — покачал головой Василь Васильич. — Вы бы его видели! Тщедушный юнец, а вчера ещё и навеселе... Он просто физически не смог бы нанести Дагомыжскому такого прекрасного удара. Убитый подпоручик был высок ростом, и даже неспециалисту легко определить, что корнет Обресков никак не мог бы так раскроить ему череп. Разгромов и Тягаев — другое дело. Они вполне могли нанести такой удар. К тому же оба они были достаточно трезвы и отличаются отменной ловкостью и силой. Покидал ли Разгромов собрание, никто с уверенностью сказать не может, а Тягаев точно выходил довольно надолго. Вроде бы искал своего друга Обрескова, который умудрился прикорнуть в каком-то углу... А там — кто знает. Сабля-то убитого была у него. Правда, за ней не было должного присмотра, и каждый мог взять... Да и, как говорят, отношения у корнета с Дагомыжским ещё со времён кадетского корпуса были более чем натянутыми. Так что надо этого корнета в разделку брать.

— Кто нашёл тело?

— Здешний писарь. В собрании его не было. Утром шёл в штаб, увидел тело, перепугался смертельно, бросился к полковому командиру, тот доложил



генералу, а уж он велел вызвать полицию. Место преступления мы осмотрели. Но это бесполезно. Если и были следы, то их смыло ливнем.

— Исчерпывающий отчёт, — констатировал Николай Степанович. — Итак, братцы-хлопцы, распределим обязанности. Ты, Василь Васильич, думается мне, сутки уже глаз не смыкаешь? Можешь отдохнуть. На данное время ты своё дело сделал...

— Премного благодарен, Николай Степанович, — обрадовался Романенко. — Истинный Бог, спать хочется смертельно. А мне ещё по начальству докладывать... Если что, так я в вашем распоряжении.

Простившись с Василь Васильичем, Вигель обратился к Немировскому:

— Николай Степанович, я должен сказать, что немного знаю одного из участников этой истории.

— Вот как? Кого же?

— Корнета Петра Тягаева...

— Её сын? — слёту угадал Немировский.

— Да. Мы вчера познакомились. Корнет как раз спешил на день рождения своего друга.

— Значит, судьба... — задумчиво произнёс Николай Степанович. — Вынужден тебя огорчить: твоего корнета, скорее всего, придётся заключить под арест. Слишком много улик против него.

— Я понимаю...

— Вот что, прежде чем разговаривать с господами офицерами, зайди к полковому командиру, чтобы получить их общие характеристики. Потолкуй с ним, а потом принимайся за них.

— А вы?

— А я отправлюсь к генералу Дагомыжскому и побеседую с ним и остальными родственниками убитого подпоручика.

Полковник Дукатов внешностью своей походил на крепкого крестьянина-кулака, хотя происходил из дворянского рода. Он был приземист, коренаст, сбит, его крупные, жилистые руки выдавали недюжинную силу — Владимир Георгиевич с лёгкостью гнул подковы и медные пятаки. Широкое лицо Дукатова, обрамлённое густой русой бородой, было сурово, а глаза смотрели с хитрецей, характерной для русского крестьянина. В полку Владимира Георгиевича любили. Он хоть и «спускал частенько собак», и припекал подчинённых не подобающими в дамском обществе словами, но всё это сглаживалось отеческой заботой, всегдашней весёлостью и бравадой. Бывало на кавалерийских учениях, глядя на некоторых плохо держащихся в седле офицеров, полковник кричал:

— Эх вы, блохи неподкованные! Мухи осенние! И вас мне прикажете в бой вести?!

Дукатов ругался не со злом, а потому его ругань только вызывала улыбки: «Опять наш батько разбушевался!» При этом нарушать приказаний Владимира Георгиевича никто не смел. Нарушителей полковник не миловал, справедливо считая дисциплину первым условием боеспособности армии. При этом Дукатов никогда не давал своих подчинённых в обиду, всегда заступаясь за них перед старшим начальством. У Владимира Георгиевича был развит некий собственнический инстинкт в отношении «своих людей». Сам он имел право «спускать собак», ругаться и, при необходимости, взыскивать с них, но никто больше не смел дурно обойтись с «его людьми», такое обхождение он воспринимал, как личное оскорбление, и стеной вставал за своих подчинённых. И крепка была эта стена! Генеральский гнев разбивался о неё, а Дукатов оставался невозмутим, словно ничего не происходило. Казалось, разорвись перед ним снаряд, он бы и тогда остался спокоен. Генерал выплёскивал свой

гнев на полковника, и на этом история оканчивалась: на подчинённых этого запала уже не хватало. Случалось Владимиру Георгиевичу и самому манкировать начальственными указаниями, но с такой простотой и наивностью умел он объяснить причину подобных проступков, что начальство разводило руками и оставляло такие факты без последствий. Дукатов любил хорошую шутку, шутил сам и никогда не обижался, когда шутили над ним. А подчинённые вслед за командиром-острословом частенько придумывали о нём разные анекдоты, хотя при этом искренне любили его.

— От Дукатова выдачи нет, — говорили в полку.

В полку проходила большая часть жизни Владимира Георгиевича, хотя был он женат на чрезвычайно скромной и тихой женщине, родившей ему троих детей и появлявшейся с мужем лишь на крупных полковых праздниках, на которые все офицеры обязаны были являться с жёнами.

Несмотря на хмурый вид, полковник сразу расположил к себе Вигеля сходством с покойным Императором. Между тем, Дукатов смотрел на следователя с нескрываемым неудовольствием.

— Я надеюсь, вы не собираетесь арестовывать всех моих офицеров? — без обиняков спросил он, покрутив толстый ус.

— Всех не собираюсь, — отозвался Пётр Андреевич. — Но вы же понимаете, что мы обязаны найти убийцу, а значит...

— Господин Вигель, я не знаю, что вы там себе думаете, но никто из моих офицеров не мог совершить подобной гнусности! Я знаю их всех, как родных детей и даже лучше, и могу головой поручиться за каждого из них! Напасть на безоружного сзади! Здесь вам, чёрт возьми, не Хитровка! Вызвать на поединок — дело иное. Такое у нас бывало, хотя это и запрещено законом. Но дуэль — самый естественный способ разрешения

конфликта для благородных людей! Если благородному человек нанесено оскорбление, то не идти же ему с этим в суд! Это низко и достойно разве что какого-нибудь ничтожного жидишки-маклёра, но не русского офицера! А потому дуэли будут всегда, пока есть такое понятие, как «честь», но убийства офицера офицером в спину быть не может! Больше мне нечего вам сказать!

— Господин полковник, я лишь исполняю свой долг, а мой долг подозревать всех, кто имел возможность и причину для совершения преступления, невзирая на мои личные чувства.

— Хорош долг! Вы, должно быть, господин Вигель, в каждом смертном подозреваете преступника, — Дукатов хрустнул пальцами. — Прошу извинить меня за резкость, но, если вы рассчитываете выцыганить из меня сведения, подкрепляющие ваши подозрения, то напрасно тратите время.

— Я понимаю ваше раздражение, — отозвался Пётр Андреевич. — Поверьте, мне бы меньше всего хотелось, чтобы к этому преступлению были причастны ваши офицеры, но у нас пока нет иных подозреваемых, если вы можете дать нам хоть какую-то нить в другом направлении, то мы будем вам только признательны. Кто, кроме ваших офицеров, мог находиться ночью на территории полка? Кто мог завладеть оружием убитого?

— Не спрашивайте, господин Вигель, — мрачно отозвался полковник. — Я уже и сам сломал голову, ища логическое объяснение этому... Караульные божатся, что никого из посторонних не видели. Чертовщина какая-то!

— Я хотел бы попросить вас дать характеристику офицеров, оказавшихся замешанными в эту историю. Например, что вы можете сказать об убитом подпоручике?

— О Мишке? Пожалуй, он единственный, о ком я не могу сказать ничего хорошего. Скрытный, крайне неровный, мрачный... Ни с кем из офицеров близок не был. Этаким вещь в себе. Да ещё с гонором! Нет, воинские дисциплины он знал порядочно, но, как человек... О покойниках, конечно, плохо не говорят, но дрянь-человек он был.

— Стало быть, в полку его не любили?

— Только не надо делать выводов, что поэтому его и зарубили, как свинью!

— Я не делаю выводов, а лишь уточняю факты. А о троих участниках инцидента в собрании что вы можете сказать?

— Корнеты Обресков и Тягаев друзья ещё с кадетского корпуса. Орест и Пилад. Правда, они очень разные. Обресков — славный малый, но толка из него не выйдет. Нет в нём настоящей офицерской закваски. Думаю, карьеры он не сделает и, скорее всего, найдёт себе иное поприще. Он немного ребячлив ещё, горяч, но добр, мягок, даже слишком. И уж чересчур норовит угнаться за старшими товарищами в их гусарстве. Мальчишка он ещё, вот что. А, вот, корнет Тягаев — совсем другое дело. Редко у кого в таких годах можно встретить такую выдержку, глубину ума. Строг к себе и к другим, сдержан, исполнительен, инициативен, всегда готов помочь товарищам, честен, скромн, старателен, наделён сильной волей, целеустремлённостью. Отличный наездник и фехтовальщик. Я возлагаю на него большие надежды. Он очень устойчив, никогда не позволяет подбить себя на какие-то глупости. Твёрдость, достойная старшего офицера... Вот, в ком подлинное офицерское ядро! Хотя наследственность вроде совсем и не располагает к тому.

— А Разгромов?

— Виктор — потеря для нашего полка. Этаким скосырь<sup>6</sup>! Настоящий сорвиголова, храбрец отчаянный. Многих я удалцов повидал, но такого встречать не приходилось. Только дисциплины — никакой. Ему не в кавалерии, а в партизанском отряде цены бы не было. Сметлив, инициативен, ловок, как сам чёрт. Самых буйных лошадей смирял, с какими и цыгане сладить не могли. Только, если вы думаете, что он убить мог, то ошибаетесь. Я это не потому говорю, что он мой бывший офицер, а зная характер его. Разгромов — игрок. За это и был уволен из полка. И играть он любит по-крупному, на самые большие ставки. Лучше всего — на жизнь. Он фаталист, его любимая забава — испытывать судьбу, играть со смертью. Говорил я ему: «Не искушай Господа Бога Твоего!» — да впустую. Поймите, для него главный интерес — рисковать своей жизнью. И, если бы ему пришла в голову блажь свести счёты с Михаилом, так он вызвал бы его на дуэль, да ещё дал бы фору, чтобы сравнять шансы. Однажды Виктор вызвал таким образом одного офицера. Дрались на саблях. Так он, зная, что противник менее искусен, чем он, дрался левой рукой.

— И чем же закончился поединок?

— Вы ещё спрашиваете? Разумеется, Разгромов победил! Правда, противник его остался жив — Виктор лишь ранил его, а с раненым бой продолжать отказался. И такой человек, по-вашему, мог ночью подкрасться сзади к пьяному грубияну и размозжить ему голову? Побойтесь Бога!

— Благодарю вас, господин полковник, за столь подробную характеристику ваших офицеров. Честь имею! — Вигель поднялся и склонил голову, прощаясь.

— До свидания, господин Вигель. И всё-таки послушайте моего слова: в нашем полку убийцы нет.

Ищите в другом месте. И распутайте вы эту чертовщину, очень вас прошу!

Гостиная генерала Дагомыжского была выдержана в стиле ампир. В двух стенных проёмах красовались огромные в полный рост портреты хозяев: самого генерала в парадном мундире со всеми наградными знаками и его молодой супруги, женщины классической красоты, с которой, вероятно, любой скульптор мечтал бы изваять образ древнегреческой богини Венеры или же Афродиты. В ожидании Дагомыжского Николай Степанович внимательно рассматривал гостиную. В мягком кресле он заметил забытую кем-то книгу, поднял её и поморщился:

— Ницше...

— Это Аня читает, — послышался негромкий, глуховатый голос.

Немировский обернулся и увидел немолодую женщину, худощавую, с усталым, но довольно приятным лицом, одетую в тёмное простое платье. Следовательно учтиво поклонился:

— Действительный статский советник Немировский.

— Генерал сейчас спустится к вам... Только... Вы, когда поговорите с ним, не уезжайте сразу. Обождите немного в вашем экипаже, мне несколько слов вам сказать нужно — здесь вам никто больше не скажет...

— А вы?..

— Лариса Дмитриевна Воржак. Я что-то вроде экономки в этом доме. Генерал — мой деверь. Моя покойная сестра была его женой, — странная женщина прислушалась. — Он идёт. Не говорите ему, что видели меня и не уезжайте, не поговорив.

— Обещаю вам, сударыня...

Лариса Дмитриевна исчезла за драпировкой, которой, как оказалось, был завешан один из дверных проёмов гостиной. Николай Степанович озадаченно

склонил голову набок. Очень любопытно было бы знать, действительно имеет эта особа что сообщить, или же она просто экзальтированная старая дева, что-то выдумавшая себе и теперь ищущая благодарного слушателя? Впечатления неврастенички она не производит, хотя... кто их теперь разберёт? Размышления следователя прервал вошедший в гостиную генерал...

Константин Алексеевич Дагомыжский, несмотря на лета (а ему уже перевалило за шестьдесят), отличался богатырский фигурой. Высокий и подтянутый, он внушительно смотрелся, как верхом, объезжая полки, так и стоя на земле. Рассказывали, что в дни Балканской кампании турки разбегались в рассыпную от одного вида этого рыцаря, тогда ещё носившего чин капитана, несущегося на их ряды на взмыленном коне с занесённой, сияющей саблей, с победным криком «Ура!»... Какое-то время Константин Алексеевич исполнял обязанности адъютанта ближайшего сподвижника Скобелева Фёдора Эдуардовича Келлера<sup>7</sup> и нередко видел самого «белого генерала», который лично вручал ему георгиевское оружие за проявленную в бою под Шейновым отчаянную смелость. Вместе же с Фёдором Эдуардовичем Дагомыжский в ту кампанию прошёл огонь и воду. Он успел отличиться и в ходе дерзкой вылазки-рекогносцировки накануне большой битвы при Фундине, и в схватках в долине Моравы, где турки потерпели сокрушительное поражение. Имя Алексея Константиновича знали и боснийские мусульмане, чьи нападения не раз отражала его могучая рука, и сербы и болгары, плечом к плечу с которыми он сражался за свободу их земли... Всем видом своим генерал Дагомыжский внушал людям смесь почтения и трепета. Правда, Немировский слышал, что подчинённые не очень любят генерала за



его чрезмерную жестокость... Лицо Константина Алексеевича с благородными чертами, седыми волосами, чуть отпущенными сзади и редящими у лба, и аккуратно подстриженной бородой, выражало суровость, а в этот час даже некоторое раздражение.

— Господин Немировский, — начал он глубоким красивым баритоном, — прошу извинить, что заставил вас ждать. Я должен был срочно окончить одно чрезвычайно срочное дело. Присаживайтесь! — широкий жест могучей руки в сторону одного из кресел. — Я представляю, какие вопросы вы теперь будете задавать, а потому для экономии нашего общего времени давайте я просто расскажу вам о моём головотяпе-племяннике, а вы уж уточните, что вам понадобится.

— Сделайте милость, — кивнул Николай Степанович, располагаясь в кресле и открывая свою тавлинку.

— Табачком угощаться изволите?

— Не желаете?

— Нет, я табаку не курю и не нюхаю. Предпочитаю порох! — генерал прошёл по комнате. — Итак, слушайте же. Михаил — сын моего покойного старшего брата. Он рано остался сиротой и с той поры жил у моего старика-отца, пока тот не скончался. Никакими талантами мой племянник не отличался и, вообще, надо сказать, был пустым человеком. Я устроил его в полк, рассчитывая, что там он, по крайней мере, научится дисциплине, порядку... Но я напрасно надеялся. Знали бы вы, господин Немировский, сколько неприятностей я имел из-за этого пащенка! И хоть бы какая благодарность! Ничуть! Он, подлец, прости Господи, ещё и позволял утверждать, что я ограбил его!

— На чём же основано было такое утверждение?

— На том, что наследство отца было поделено поровну между моим братом и мной, а после смерти брата его часть должна была перейти его сыну. Но я,

зная совершеннейшую безалаберность моего племянника, уговорил отца переменить завещание с тем, чтобы означенная часть могла быть получена Михаилом только после его женитьбы на какой-либо достойной особе нашего круга, а до той поры я являюсь распорядителем этих денег. Да будет вам известно, что ни копейки из них я не истратил, а моему неблагодарному племяннику выдавал ежемесячно приличные деньги на его нужды, и это он считал грабежом! Но ведь разве можно отдавать взбалмошному юнцу такую сумму? Ведь он одним махом прокутил бы её, а потом одалживался всю жизнь! В конце концов, он мог бы давно жениться, и весь капитал перешёл бы его семье... Правда, отец, зная свободные нравы нынешней молодёжи, мудро поставил условие, что невеста должна быть нашего круга, если же она была бы какой-нибудь, прости Господи, камелией, то Михаил потерял бы право на наследство. А мой племянник, должен вам сказать, именно к такого рода женщинам испытывал страсть. Вы, уверен, поймёте меня, господин Немировский... Подумайте, как распустились наши молодые люди! Они ищут порока, страсти, их влечёт всё падшее, всё, что содержит в себе червоточину. Это же уже болезнь какая-то! Вы согласны со мной?

— Несомненно, генерал, — кивнул следователь. — Скажите, у вашего племянника были враги?

— Рад бы сказать, да нечего. Главный враг его был он сам. Я, господин Немировский, в его жизнь носа не совал — что за охота! Жил он в казарме, изредка бывал у нас, скандалил...

— Значит, никаких предположений, кто мог бы убить его, у вас нет?

— Ни малейших. Хотя могу предположить, что, при его характере, людей, имевших желание сделать это, должно было быть немало. Надеюсь, что наши офицеры

не имеют к этому отношения. Иначе господа борзописцы оставят от нас мокрое место. Они любят такие историйки! Сволочи... Я, господин Немировский, не читаю газет и журналов. Из принципу! Плевать я хотел на гнусную возню этих щелкопёров... Однако же, все теперь читают, и скандала бы мне не хотелось. Поэтому прошу, насколько это в ваших силах, позаботиться о том, чтобы сведения по этому делу как можно меньше просачивались в газеты.

— Всё зависящее от меня я сделаю, но обнадёжить вас не могу. Слишком громкое дело. Думаю, уже вечерние газеты будут пестреть соответствующими заголовками...

— Сволочи, — буркнул генерал. — У вас есть ещё вопросы ко мне?

— К вам нет. Но я рассчитывал поговорить и с членами вашей семьи. Может быть, они смогут сообщить что-то...

— Господь с вами! Михаил, по счастью, был нечастым гостем в нашем доме. Никто вам здесь большего не скажет. Да и говорить некому толком... Жены нет дома. Моего старшего сына Серёжи — также. А мой младший сын, Леонид, болен нервами. Эта история и так очень тяжело на него подействовала, и я категорически против, чтобы вы допрашивали его.

— В таком случае мне придётся навеститься к вам вновь, — сказал Немировский, поднимаясь.

— Как вам будет угодно, — холодно отозвался Дагомыжский.

Покинув дом генерала, Николай Степанович сел в пролётку и велел извозчику слегка повременить. Минут через десять он заметил знакомую худощавую фигуру, осторожно вышедшую из дома и направившуюся в его сторону.

— Спасибо, что дождались меня, господин Немировский, — сказала Лариса Дмитриевна, подойдя.

— Можете называть меня по имени и отчеству. Где мы будем разговаривать?

— Давайте просто прогуляемся по Арбату, и я вам расскажу всё.

— Как вам будет угодно, Лариса Дмитриевна.

Они неспешно пошли по Арбату в сторону Арбатской площади. Лариса Дмитриевна была взволнованна и время от времени озиралась по сторонам.

— Вы чего-то боитесь? — спросил Немировский.

— Если он узнает, что я с вами разговаривала, то очень рассердится.

— Генерал?

— Да, — Лариса Дмитриевна вздохнула. — Но я не могу вам не рассказать... Потому что боюсь, за него боюсь. У меня очень мало времени, поэтому слушайте: недели три тому назад Константин Алексеевич получил анонимное письмо, в котором некто предупреждал его о том, что на него готовится покушение, что он приговорён к смерти... Генерал был вне себя. Он был уверен, что это выходки Миши. Миша, в самом деле, как-то угрожал ему, но это было сгоряча... Миша никогда бы не пошёл на преступление. Он был взбалмошный, скрытный... Но, я уверена, что он не способен на преступление. Ведь я вырастила всех их троих: и Мишу, и Серёжу, и Лёничку... Я знаю их, как облупленных. Когда Константин Алексеевич остыл, то решил, что это просто чья-то глупая шутка...

— Но вы так не считаете?

— Не знаю, Николай Степанович... Никаких фактов у меня нет, а только моё чувство...

— А что же, у кого-то есть причины так ненавидеть генерала?

— Несколько лет назад он командовал гарнизоном в Н...ой губернии. В одном из уездов там вспыхнуло восстание, и Константину Алексеевичу было приказано

подавить его. Несколько мятежников было тогда убито, а другие сосланы на каторгу...

— Стало быть, политика, — вздохнул Немировский. — Почему генерал предпочёл скрыть факт угрозы?

— Он боится, что в это дело замешан Лёничка, — тихо ответила Лариса Дмитриевна и опустила глаза.

— Каким образом?

— Полгода назад он нашёл в его комнате революционные прокламации и какое-то химическое вещество, которое добавляют в начинку бомб... Константин Алексеевич очень хорошо знает химию и без труда понял, что это.

— А что же Лёничка?

— Клялся и божился, что вещи эти оказались у него по чистой случайности. Сказал, что товарищи по университету дали. Он как раз поступил тогда на первый курс... Что за товарищи, не сказал. Будто бы знакомые знакомых... Генерал так кричал на него, что стены тряслись. Всем домашним он запретил кому-либо говорить о случившемся. Константин Алексеевич мечтает стать генералом от Инфантерии и очень боится испортить свою репутацию.

— Зачем же вы нарушили этот запрет?

— Потому что боюсь за него, я уже сказала, — отозвалась Лариса Дмитриевна. — В нашем доме, может, одной только мне и есть ещё дело, как он и что с ним. Остальные живут своей жизнью. А у меня своей жизни нет, приходится жить чужими... А Константина Алексеевича я знаю с юности. Он тогда был другим: весёлым, добрым, щедрым... Он мою сестру Ирину очень любил, боготворил её. На него смотреть было больно, когда её не стало. Думаю, он и теперь её любит, хоть и вторично женат. Аню он не любит. Она для него, как дорогие драпировки в его гостиной, как дамасский клинок, как арабский конь в его конюшне — всегда

можно гордо показать. Это не любовь, а самолюбие. Молодая красивая жена тешит это самолюбие, как другие прихоти. Только я одна и знаю, что темно и тоскливо у него на душе, несмотря на этот внешний блеск. Этот блеск не только других слепит, но и его ослепил. А я его жалею. Поэтому и рассказываю это всё вам. Вдруг та угроза — не шутка. Ведь столько совпадений...

— Да, совпадений многовато, — согласился Немировский. — А вы мне можете сказать, какие отношения были у Михаила с остальными членами семьи? Были ли у него враги?

— Отношения? Да никаких отношений... Он только с Лёничкой иногда поболтать любил. У них что-то общее было. Мрачность какая-то болезненная, «лермонтизм». Лёничка бредит Лермонтовым, знаете ли... Когда он узнал о гибели Миши, у него был нервный припадок. Мы даже удивились, хотя Лёня очень нервный мальчик, и припадки бывали у него и раньше. Насчёт врагов ничего не могу сказать. Я вам только могу сказать, что у Миши была какая-то зазноба... Кто она, откуда — я не знаю. Но как-то он обмолвился вскользь... Одно точно: она была не из нашего круга, иначе он, вероятно, женился бы на ней, чтобы, наконец, получить дедово наследство. Простите, Николай Степанович, но я должна возвращаться, иначе меня могут хватиться, а я не хочу, чтобы он узнал...

— Спасибо, Лариса Дмитриевна, за помощь, — поблагодарил Немировский, и Воржак поспешила назад, слегка прихрамывая и кутаясь в тёплый платок.

Николай Степанович неспешно направился следом, заложив руку за спину. Что ж, здесь никакой загадки. Скромная, неприметная хромоножка, в которой никто не заметил ни красоты души, ни миловидного лица, полюбила мужа сестры и посвятила ему всю жизнь... Принесла себя в жертву... Всё же интересно было бы

познакомиться с остальными обитателями этого дома. Кажется, скелетов в шкафах в нём хватает. И, если задуматься, то смерть Михаила была выгодна всему семейству: теперь ему не придётся отдавать положенную долю наследства. «Лермонтизм», Ницше, прокламации, революция... Нет, всё-таки до чего приятнее иметь дело с простыми уголовниками. И не дай Господи — с уголовниками из интеллигенции. Никогда не разобрать, какое очередное безумие их одолевает...

Немировский уже почти дошёл до своей пролётки, стоявшей немного в стороне от дома Дагомыжских так, чтобы её нельзя было заметить в окно, и остановился, прищурившись. Из дверей дома выпорхнула высокая, красивая женщина, в которой следователь тотчас узнал хозяйку дома, которую только что видел на портрете, и которая, по словам её мужа, была в отсутствии. Тюрнюр, высокая шляпа с вуалькой — дама была одета по последней моде и очень дорого. Остановив проезжавшего мимо извозчика, Дагомыжская велела вести себя куда-то, но адреса Николай Степанович не расслышал. Он поспешил к своей пролётке и приказал ехать за только что отъехавшим экипажем

— Следить будем, ваше высокородие? — осведомился румяный детина-извозчик с широким деревенским лицом.

— Будем, братец, будем.

Эта перспектива отчего-то очень обрадовала возницу, и он припустил коней рысью, держась при этом на почтительном расстоянии от объекта слежки. Ехать пришлось на Сивцев Вражек, где генеральша отпустила извозчика и вошла в подъезд одного из домов. Немировский направился следом.

— Ваше высокородие, а, может, не надо вам одному ходить туда? Ну, как там разбойники какие? Ну, как вертеп? — окликнул его возница.

— А что ж делать, братец? Сиди, жди меня. А, коли что, так свисти, зови городского!

— Слушаюсь!

Николай Степанович поднялся на второй этаж и оказался перед приоткрытой дверью, из-за которой доносился монотонный голос, говоривший слова такие странные, что следователь сразу понял, что попал по адресу, и вошёл внутрь. В помещении было темно и людно, вдобавок пахло чем-то приторным и душным. На импровизированной сцене горела свеча, в глубоком кресле сидел человек, похожий на тень и говорил неживым, хрипловатым голосом:

— Вам говорят, любите ближнего своего. Ложь! Ибо в этом мире у нас нет ближних. В этом мире ближние себе лишь мы сами, и наши желания должны стать главным для нас. Человек может достичь всего, если не скован лживыми ограничениями, измышленными лицемерами, если в нём нет страха преступить! Именно страх и трусость перед тем, что кажется нам невозможным, перед тем, что трусы и лицемеры называют преступлением, лишает нас своей воли, лишает наслаждений, которые мы могли бы получить, становится барьером к достижению наших целей! Человек, сбрось оковы и будь свободен!

Немировский утёр пот со лба и покинул тёмную квартиру. Выйдя на улицу, он сел в пролётку и коротко велел вопросительно взглянувшему на него вознице:

— Ждать.

— Слушаюсь, ваше высокородие. А что — там?

— Там... — Николай Степанович криво усмехнулся. — Вертеп! Настоящий вертеп!

— Разбойники?

— Хуже, братец, интеллигенция! И проповедник!

— Вон оно как...

— Послушаешь этакую гадину и подумаешь, что напрасно, напрасно отменили у нас порку! Взять бы всю



эту публику, да и всыпать горячих, чтобы мозги на место встали. За глупость в каторгу не пошлешь, а выпороть — было бы полезнейшее дело, — Немировский сцепил пальцы и пожевал губами. — Нет, всё, кончился мой век. Пора на покой... Форменная ахиня с маслом: я, действительный статский советник, точно какая-то полицейская ищейка выслеживаю полунормальную бабёнку и вынужден слушать какого-то сумасшедшего проповедника. Кстати, нужно непременно установить, кто он, и запретить эти оргии...

— У нас на Цветном в минувшем году тоже проповедник был, да я не понял, что он баил, — сказал возница.

— Развелось нечисти... Доморощенные мессии... Торгуют счастьем и истиной на вес, как несвежими овощами у Китайской стены... Нет, закрою я эту лавочку.

— Другая появится, ваше высококородие.

— Правда твоя, братец, появится... И зачем тогда всё, спрашивается?

— Да вы не огорчайтесь, ваше высококородие!

Дверь подъезда отворилась, и на улице показалась генеральша Дагомыжская и высокий брюнет с офицерской выправкой, но в штатском платье, поддерживающий её под локоток и что-то шептавший на ухо, возбуждая громкий смех своей спутницы.

— Ба! Погляньте, ваше высококородие, она уже, подлюка, кавалера нашла!

— Тише ты, труба иерихонская.

Брюнет остановил извозчика и помог даме сесть.

— Прикажете за ними ехать? — спросил возница Немировского.

— Прикажу. Только без меня.

— Как так?

— Просто. Поедешь за ними. Меня интересует кавалер. Узнай, где он живёт и, если удастся, как его

имя. А я уж тебе беленькую дам за работу, — сказал Николай Степанович, спрыгивая на мостовую. — Уразумел, что ли?

— Так точно, ваше высокородие! Не извольте беспокоиться! — кивнул возница и стегнул лошадей. — Но! Балуйся!

Солнце прокралось сквозь неплотно задёрнутые занавески и ударило в глаза. Анна Платоновна легко спрыгнула с кровати и с удовольствием прошла по мягкому ворсистому ковру до висевшего в углу зеркала, перед которым остановилась, созерцая свою красоту, прикрытую лишь тонкой сорочкой: ах, какие перламутровые плечи, ах, какие стройные, сильные ноги, ах, какая талия, которой, кажется, никогда не понадобится корсет! А эти крупные, броские, и в то же время абсолютно гармоничные и аккуратные черты лица, а глаза, а губы, а кожа, чистая, гладкая, а густые тёмные волосы... Нет, мимо такой женщины ни один мужчина не может пройти спокойно! С такой красотой всё можно! А ведь к красоте ещё и ум приложен! Ах, да при таких дарованиях не за генералом, а за самим Императором замужем быть! Ах, как жаль, что Витор не Император... И даже не стремится к карьерному росту... Они были бы великолепной коронованной четой! Куда там нынешней!

А ведь ничего этого могло и не быть... Анна Платоновна была единственной дочерью вечного титулярного советника, который был на седьмом небе от счастья, дослужившись к глубокой старости до коллежского асессора, человека бедного, лишённого каких-либо способностей, имеющего к тому же слабость к вину, но при этом глубоко религиозного... Эта отцовская религиозность ещё в раннем детстве оттолкнула Анну Платоновну от веры. Пьяная вера с похмельными слезами покаяния и вечной присказкой о

том, что «Бог терпел», что «Бог и цветы полевые одевает», что «Бог даст»... Так почему же не давал?! Именно в Боге Анна Платоновна увидела врага, врага, который поощряет слабости, леность и непрактичность отца и таких же, как он, неудачников, и отвергла его со всей решимостью своего характера. Отца она стыдилась, в Бога не верила, а бедная, но честная жизнь представлялась ей унижительной, но главное — скучной. Бедность — это значит не ходить в театры и на выставки, не покупать книг, не выписывать журналов, не иметь приличного гардероба, не бывать в свете — так жить нельзя и даже преступно по отношению к себе, к своей единственной жизни! Бедность — выйти замуж за ничтожество вроде отца, который будет пить и молиться доброму боженьке, рожать от него детей, чтобы они выросли такими же — уничтожить свою жизнь! Даже теперь подобная картина вызывала у Анны Платоновны судорожное передёргивание плечами.

Рассчитывать на чью-то помощь смысла не было, полагаться приходилось только на себя: на природные внешние данные и острый ум. Вероятно, ум этот передался по наследству от рано умершей матери-немки, на могиле которой Анна Платоновна поклялась прожить жить иначе, чем она, рассчитаться и за неё, и за себя. Пусть ничтожества, слабые и глупые люди прозябают в нищете, ожидая манны небесной, а Анна Платоновна знала, что только своей волей можно добиться желаемого, а воля эта была железной.

Способ решения материальных проблем был выбран тривиальный — деньги предполагалось получить в наборе с мужем. По счастью, происхождением покойные родители Анну Платоновну не обидели: не княжна, конечно, но дворянка со всех сторон. Оставалось только найти подходящую «жертву». Целый год Анна Платоновна жила в долг, беря деньги у всех ухажёров, которым, конечно, не приходило в голову требовать их

возвращения у благородной красавицы. Анна Платоновна прекрасно играла свою роль: она кокетничала со всеми, но ни с кем не доводила дела до серьёзных отношений, она жила в долг, но нанимала приличную квартиру, устраивала вечера для друзей и одевалась у лучших портных, она производила впечатление образованностью и начитанностью, она рассказывала о своей благородной, но бедной семье, в которой отец оказывался уже не пьяницей-ничтожеством, но добродетельнейшим человеком, потерпевшим на службе за правду и сошедшим до срока в могилу, оставив единственную дочь сиротой, лишённой наследства. Через год такой активной жизни на обеде у одного из добрых знакомых Анна Платоновна была представлена генералу Дагомыжскому. Несмотря на то, что генерал слыл человеком суровым, особенно, после смерти жены, она решила, во что бы то ни стало, стать новой генеральшей. Трудности Анну Платоновну не пугали никогда, а лишь будили в ней азарт.

И почему так легко оказывается молодой красотке убедить старика в своей к нему неземной страсти? Вероятно, это тешит их самолюбие. Анна Платоновна была прекрасным психологом и очень хорошо знала слабые места нужных людей, играя на них виртуозно и легко. Самолюбие генерала было велико. Ему доставляло удовольствие общество красивой молодой женщины, ему льстили завистливые взгляды, обращённые на них, когда они появлялись вместе, ему нравилось бывать где-либо в обществе такого прелестного создания, демонстрировать его, как некое ценное своё приобретение, подобно тому как коллекционер хвастает перед друзьями добытой старинной скульптурой или картиной. На этой слабости и сыграла Анна Платоновна и вскоре добилась необходимого результата: генерал был побеждён и предложил ей руку и сердце.

Став генеральшей Дагомыжской, Анна Платоновна вздохнула полной грудью. Теперь можно было жить по-настоящему, весело и беззаботно! У неё был огромный, прекрасно обставленный дом с прислугой, собственный выезд, она одевалась у Шумской, заказывала платья в Париже, а шляпки в Англии, она не пропускала ни одного сколько-нибудь значимого светского мероприятия... Муж смотрел на её веселье снисходительно, как смотрят на проказы балованного, но любимого ребёнка, и Анна Платоновна чувствовала к нему за это некоторую благодарность.

Но прошло немного времени, и молодой генеральше стало скучно. Светская жизнь надоела ей, её пытливый ум не находил в ней интереса, потому что любого человека она уже видела насквозь, знала точно, что и как скажет он в той или иной ситуации. Светские люди стали казаться ей жалкими и пустыми, выдумывающими себя, а собственный муж — непоправимо скучным и отставшим от жизни. Тогда Анна Платоновна затворилась дома и принялась том за томом читать все книги и журналы, какие ей попадались под руку. Генерал большую часть времени проводил на службе, часто уезжал верхом или затворялся в своей библиотеке, читая по выбору историю Карамзина или романы Вальтера Скотта. Из всего читаемого Анну Платоновну захватила философия, даже излюбленная поэзия побледнела перед ней. И среди ряда философов огненными буквами блеснуло одно имя — Ницше. Читая его, Анна Платоновна то и дело натыкалась на мысли, так или иначе являвшиеся уже в ней, но не находившие верного словесного выражение. Нет, она не стала последовательницей немецкого философа, прочтя его труды, она стала ею, ещё не зная их, а теперь лишь обнаружила законченную форму всего того мировоззрения, которое сложилось в ней. Философия так увлекла Анну Платоновну, что она стала посещать

различные философские кружки, собрания, лекции, выискивая места, где можно услышать что-то новое или хотя бы любопытное. В ходе этих поисков попала она и в квартиру на Сивцевом Вражке. Доморощенное «ницшианство» новоявленного проповедника, разумеется, не было для неё новым, но казалось забавным и до некоторой степени развлекало.

Сухой философии невозможно подчинить себе все инстинкты молодой, красивой женщины. Ещё только ища подходящего мужа, Анна Платоновна решила до свадьбы соблюдать себя, чтобы не отпугнуть потенциального супруга, а уж после неё непременно завести любовника. А, может, и не одного... Ведь это же так естественно!

У генерала было двое сыновей и племянник. С племянником отношения не заладились сразу: впрочем, он, кажется, не ладил ни с кем. Зато старший пасынок, Серёжа, был очень привлекателен и мил... Анна Платоновна не раз жалела, что вышла замуж за его отца, а не за него. Иногда ей казалось, что она почти влюблена в Серёжу. Но он не обращал внимания на мачеху, да и Анна Платоновна была слишком умна и расчётлива, чтобы рисковать, крутя роман с сыном собственного мужа. Хуже всего было то, что младшенький Лёничка, этот вечный мальчишка, нервный и болезненный, кажется, всерьёз влюбился в красавицу-мачеху, ревновал её и даже пытался следить. Анна Платоновна рассчитывала, что его бывшая гувернантка, молодая, привлекательная француженка, всё ещё живущая в доме генерала сможет отвлечь юношу за соответствующую плату, но вскоре обнаружила, что на эту особу имеет виды вовсе не Лёничка, и это открытие почти оскорбило Анну Платоновну.

Недостатка в ухажёрах, между тем, не было. Генеральша без зазрения совести предавалась

радостям любви, считая, что берёт положенное себе. И кто придумал глупости о судьбе, роке, Божиим промыслении? Чушь! И она, Анна Платоновна, доказала это, изменив свою судьбу своею волей! Доказала она, и подтвердил Ницше! И попробуйте поспорить все, кто боится сделать шаг к своей цели!

Сколько было «случаев» в весёлой жизни Дагомыжской, но никто не мог бы потягаться с Виктором. Это был уже не «случай», а судьба. Анна Платоновна наслаждалась каждым мгновением, проведённым с ним, и думала, что только с этим человеком она и могла бы быть счастлива. Её женское счастье — в нём одном, и никто другой не нужен, когда он есть! Красив, как греческий бог, отважен, остроумен, силён, дерзок... Такой же игрок и прожигатель жизни, как она сама. О, они созданы друг для друга. Они оба — словно сошли с Олимпа... Если бы судьба сложилась иначе, и Виктор был бы богат, то она, не задумываясь, бросила бы всё и пошла за ним на край света... И им никогда бы не было скучно на этом свете, потому что они всегда готовы играть в любую игру, на любые ставки...

— Как я люблю смотреть, как ты расчёсываешь волосы, — произнёс Виктор.

Анна Платоновна отложила щётку и повернулась к нему. Демон, настоящий демон! Он лежал в постели, полуобнажённый, небрежно куря трубку с длинным черешневым чубуком и усмехаясь глазами и краешком губ. Анна Платоновна прыгнула в кровать и уткнулась лицом в его грудь, покрывая её поцелуями:

— Как же мне хорошо с тобой... Я раньше не подозревала, что может быть так хорошо!словно в другом мире! Если бы можно было не расставаться!

— Богиня, ты не права.

— В чём?

— Если бы мы не расставались, то из нашей жизни исчезло бы развлечение этих встреч, сопряжённых с опасностью, мы бы привыкли друг к другу и начали бы скучать.

— Как же ты прав всегда! — Анна Платоновна взяла у Виктора трубку и выпустила несколько колец дыма, неотрывно следя, как они таяли в воздухе.

— Я знаю.

— Я чувствую себя Евой, впервые познавшей Адама... Кажется, я поняла, почему они нарушили запрет и вкусили райское яблочко.

— И почему же?

— Им было скучно в раю. Виктор, жизнь, в которой не надо ничего преодолевать, где всё даётся в руки само, оупляет... Ах, как это скучно! Нет, если бы и был рай, то я не хотела бы попасть туда. Ведь можно же умереть со скуки! И, чтобы от неё избавиться, Адаму и Еве, как нам с тобой, осталось одно: познать друг друга, как мы познаём теперь...

— Ты ведьма, моя прекрасная вакханка! — рассмеялся Виктор.

— Все женщины немного ведьмы, это наша природа, — Анна Платоновна снова поднялась с постели, прошла по ковру, приятно щекотавшему нежные босые ступни. — Как же не хочется уходить от тебя... Ехать опять домой, к моему вечно хмурому старику...

— Он ни о чём не догадывается?

— Нет, конечно. Кто ему скажет? Ведь мы осторожны. Меня больше беспокоит Лёничка. Этот несносный мальчишка смотрит на меня так, словно я падшая женщина! Если это противное существо что-то узнает, то будет грандиозный скандал, и меня выгонят из дома. Ты приютишь меня тогда?

— С удовольствием, если будет где. Я уже три месяца не плачу за этот угол.



— Я могла бы заплатить...

— Нет, ты же знаешь, моя богиня, гусары денег не берут. Тем более, я не хочу брать денег мужа, которого делаю рогоносцем.

— Всё-таки ты никак не избавишься от предрассудков! Все люди находятся в их плену... Но этот маленький несносный глупец мне надоел! Какими голодными глазами он смотрит на меня! На месте Константина я выпорола бы его! — Анна Платоновна шаловливо улыбнулась. — Когда я вижу его взгляд, мне так и хочется подразнить его и расстегнуть несколько верхних пуговиц платья!

— Ты ужасная женщина, моя вакханка! — расхохотался Виктор.

— Да, ты прав! Но меня раздражает этот мальчишка, как прыщ, который вдруг вскакивает на неудобном месте!

— Ему нужно найти женщину.

— Сомневаюсь, что он сообразит, что нужно с нею делать! Ах, к чёрту... Самое неприятное — это полиция в нашем доме. Не хватало ещё, чтобы они что-нибудь пронюхали...

— Да, полиция нам не нужна... Между прочим, они арестовали моего приятеля корнета Тягаева. Идиоты! Неужели они, в самом деле, считают его убийцей?

— А откуда ты знаешь, что он не убивал?

— Я — знаю, — многозначительно сказал Виктор.

— А почему они не арестовали тебя?

— Против меня у них пока нет улик. Хотя ещё не вечер!

— Какие ужасные вещи ты говоришь! У нас тоже был следователь... И мой муж оказал нам с тобой услугу, сказав ему, что меня нет дома.

— У вас был следователь? Интересный блондин лет сорока с синими глазами?

— Нет! — Анна Платоновна белозубо улыбнулась. — С интересным блондином я бы, может, и поговорила. Приходил какой-то старик. Белый, как лунь. По-моему, старше моего мужа. Но не дряхлый...

— Ты видела его?

— Конечно. Я стояла за ширмой, когда он разговаривали с генералом.

— Подслушивала?

— Подслушивать собственного мужа всегда полезно. Но давай не будем говорить обо всех этих неприятных людях! Лучше почитай мне стихи!

— Дышали твои ароматные плечи,  
Упругие груди неровно вздымались,  
Твои сладострастные тихие речи  
Мне чем-то далеким и смутным казались.

Над нами повиснули складки алькова,  
За окнами полночь шептала невнятно,  
И было мне это так чуждо, так ново,  
И так несказанно, и так непонятно.

И грезилось мне, что, прильнув к изголовью,  
Как в сказке, лежу я под райскою сенью,  
И призрачной был я исполнен любовью,  
И ты мне казалась воздушною тенью.

Забыв о борьбе, о тоске, о проклятьях,  
Как нектар, тревогу я пил неземную,—  
Как будто лежал я не в грешных объятьях,  
Как будто лелеял я душу родную.<sup>8</sup>

Виктор внезапно остановился и пристально посмотрел на Анну Платоновну.

— Ты что? — спросила она.

— Иди ко мне!

На лице Анны Платоновны расцвела улыбка ожидаемого удовольствия, и, задёрнув плотнее занавески, она бросилась в объятия своего любовника:

— Ты мой царь! Мой бог! Я тебя обожаю!

— Что вы здесь делаете, Любовицкий? — не сумев сдержать досады, спросил Вигель, увидев в коридоре следственной части фигуру бывшего писаря. Ныне известный в обеих столицах журналист Замоскворецкий, он несколько раздобрел, хотя остался скрючен и жёлт, как прежде. Трудно было поверить, что этот человек, ещё двадцать лет назад представлявшийся всем полупокойником, до сей поры жив и процветает. На нём был клетчатый костюм, мягкая шляпа, очки в дорогой оправе — в общем, ни дать — ни взять, столичный борзописец.

— Вас жду-с, Пётр Андреевич. Что же вы так нелюбезно со мной? Хоть бы здоровья пожелали-с для начала!

— Приветствую вас, господин Замоскворецкий!

— А здоровья так и не пожелали-с, — Любовицкий ухмыльнулся, и Вигель заметил, что бывший писарь справил себе довольно порядочные зубы... — Понимаю-с, вы меня в гробу в белых тапочках видели-с. Что же, я зла не держу, а потому здравствуйте и вы, и ваш дорогой наставник. Кстати, неужто он всё ещё служит? Отчего бы? Ведь он у нас как Екклесиаст проповедовал, что время собирать камни, а время разбрасывать, время работать, и время отдыхать. Что ж не торопится на отдых?

— Вам-то какое дело? Простите, Любовицкий, но я очень спешу.

— Знаю-с, Пётр Андреевич, всё знаю-с! Как же! Такое дело-с! Будет о чём пошуметь нашему брату,

будет, чем народишко взбулгачить! Офицера убили — не каждый день такая удача случается!

— И откуда вы всё знаете?

— Да от вашего же брата, Пётр Андреевич! Это вы неразговорчивы, а городовые, становые, да и приставы те же — ой, как много есть любителей поговорить, если правильно подойти!

— Ко мне-то вы зачем? Мои принципы на этот счёт вы знаете.

— Знаю-с, не первый год знакомы-с. Эх, Пётр Андреевич, времена-то как изменились! Поглядите только-с! Наш век наступает, наше время! И, вот, я, безродный, нищий, больной писарь теперь известнейший журналист, в приличных домах меня принимают. В прошлом месяце у Гиппиус Зинаиды Николаевны и супруга её Мережковского бывал-с в Петербурге-с... Интересные, доложу вам, люди... Вообще, Пётр Андреевич, нынче много людей интересных стало-с! Все теперь поэты-с, художники-с, проповедники-с! Артисты! И, заметьте, теперь им нет никакой необходимости с голоду пухнуть, потому что меценаты всякую тварь с искоркой таланта готовы себе на шею посадить! Давеча приятеля встретил-с. Художник-с. Талантишко есть, но ленив, шельма! Рисовал какие-то странные картины, в которых разве что чёрт разобратся мог, а теперь «примамонтился»<sup>9</sup>, костюм с гаврилкой нацепил и дев танцующих малюет!

— Вы к чему мне рассказываете это? — с раздражением спросил Вигель.

— Да не торопитесь вы, Пётр Андреевич! Наш век — век журнально-газетный, а потому с нашим братом дружить надо-с. Сколько интересных людей-с! И все-то столы вертят, с духами сообщаются! Причём сообщаются физически, равно как с живыми: такие стоны и крики при этом сообщении раздаются, что не

рискну вам описывать, дабы вашу нравственность не оскорбить! Я у Брюсова нечто схожее наблюдал. Каждый теперь человек интересным норовит быть, не таким, как все. А, в результате, все становятся очень одинаковы. Просто сборище помешанных, бесящихся со скуки людей.

— Так вы их презираете?

— А как же иначе? Все эти поклонники святого искусства, которое они объявили новым богом, это флюс, настоящий флюс на физиономии общества-с! Послушайте, Пётр Андреевич, Шекспир был прав: «так сладок мёд, что, наконец, и горек, избыток вкуса убивает вкус». У нас вкус убивается! Они уже не знают, чем себя взбулгачить, как ещё извратиться и развратиться. Кокаинисты, сектанты, хлысты... Столы вертят повсеместно! Я слышал, даже в царском семействе столы-то крутят. Кстати, что вы скажете о Царе? Прежде, подумайте, что был Царь? Бог на земле-с! Фигура недосягаемая-с! Но которую можно было увидеть как Николая Павлыча, гуляющим по улице! А что теперь? Увидеть-то Царя сложнѣхонько, потому что Царь народа боится, а народ ему не верит, а зато сплетней, сплетней! И, вот, Царь становится простым смертным, не божеством, а обычным интеллигентом, даже мещанином, только в короне!

— Не вы ли этому способствуете?

— Мы-с, Пётр Андреевич, мы-с. Мы уничтожаем-с старые мифы и создаём новые — на день, пока не станут скучны-с! А потом можно придумать что-то новое-с! И так до тех пор, пока нарыв не прорвѣтся, и гной не затопит нас всех, виноватых и правых — не разбирая.

— Скажите, Любовицкий, если вы считаете, что это приведѣт к такому исходу, зачем же вы это делаете?

— Исход зависит не от меня-с. Изменить его не в моей власти! Поэтому остаѣтся только одно: пока не

настал он, получить всё, что ещё можно получить от нашей гнусной жизни — а после нас хоть потоп!

— И вам не жаль тех, кого потопит?

— Мне никого не жаль. Мне только, как учёному, любопытно-с наблюдать процесс разложения, фиксировать его этапы. Это ещё не последний этап. Они будут разлагаться ещё лет двадцать, упиваясь своим собственным разложением и воспринимая, вообразите-с, это разложение, как новую истину, за которой они все гонятся. Теперь ведь пророки-с кругом, всякий своё слово несёт, причём несёт глупость чудовищную-с! Слыхали-с вы проповедника с Сивцева Вражка? Нет-с? Послушайте-с! Замечательный субъект! К нему публика собирается: аристократия, интеллигенция, мещане, рабочие — каждой твари по паре. Между прочим, генеральшу Дагомыжскую там видел как-то...

— Вот как? И кто же таков этот ваш проповедник?

— Пётр Андреевич, я просто так информацией не делюсь. Прокомментируете мне дело по его окончании — расскажу вам про проповедника-с. Только мне-с! Чтобы больше ни у кого-с такого материала не было-с!

— Идите к чёрту, Любовицкий!

— Да неужто вам жалко-с? Теперь ведь скрыть ничего нельзя — всё на публику-с несут. А вам по окончании дела жаль пару слов сказать?

— Хорошо, я дам вам комментарий. Что там за проповедник?

— Ничтожнейший тип. Чахоточный. Прозывается Симоном Волховым. Но это не настоящее его имя. А зовут его Лазарь Давидович Канторович. Папаша его был спекулянт в Малороссии... Вы сходите, послушайте его. И присмотритесь к публике, которая его навещает-с. Примечательные субъекты-с! Революционеры, психопаты всех мастей... Присмотритесь.

— Что ж, благодарю за сведения.

— Не забудьте про обещанный комментарий.

Вигель поморщился, как от зубной боли. Он вдруг понял, что такие люди, как Любовицкий, не только раздражают его, но даже — пугают. Пугают своей не насыщаемой жаждой разрушения мира, в котором они играют не ту роль, которую бы хотели. Не они ли старательно и безумно создают год за годом питательную среду для возвращения преступников, террористов, самоубийц, различного рода сумасшедших, в той или иной мере опасных для общества? И какой цинизм! Ему нравится наблюдать извращения людей, которых он презирает! Это его развлечение. Пожалуй, случись вдруг революция, он бы тоже смотрел на неё с любопытством сквозь стёкла своих очков, фиксируя её пороки, упиваясь, пока бы она не поглотила его. Что за жажда отравленных источников у этих людей? Непонятно и отвратительно. После общения с ними отчего-то возникает сильнейшее желание вымыться в бане...

С такими мыслями Вигель возвратился домой. У Аси были с визитом Володя и Надя Олицкие, и из гостиной доносились звуки рояля и красивый голос Володи, выводивший свои недавно написанные романсы. Вторгаться в это весёлое общество с мрачным грузом на душе Пётр Андреевич не стал, решив вначале переодеться и доложить о ходе следствия Николаю Степановичу.

Войдя в кабинет Немировского, Вигель сразу ощутил терпкий запах ландышевых капель. Старый следователь, облачённый в тёмно-коричневый шлафрок, стоял у окна, заложив за спину сцепленные руки.

— Что с вами, Николай Степанович? — спросил Вигель. — Опять сердце?

— Да, шалит немного. Ерунда, — Немировский махнул рукой и обернулся. — А ты что мрачен, как

филин поутру?

— Да есть от чего... Корнет отправлен под арест, а, значит, нужно будет разговаривать с его... родственниками...

— С его матерью, ты хотел сказать, — поправил Николай Степанович. — Да, от судьбы не уйдёшь. Значит, так уж суждено вам было встретиться. Асю не тревожь подробностями этого дела. Ей-богу, дело это дурно пахнет, и мне совсем не по нутру. Адюльтеры! Революционеры! Пророки, чёрт бы их подрал! Этот заносчивый генерал получает письма с угрозами, находит химические вещества для изготовления бомбы у своего слабоумного сына, но ни слова об этом не говорит полиции! Чтобы честь не пострадала! Говорит мне, что его жены нет дома, а эта мадам через четверть часа выпархивает на улицу, садится в экипаж и едет к какому-то мерзавцу-проповеднику, где встречается с любовником и уезжает с ним на его квартиру! А знаешь, Кот Иваныч, кто этот любовник? Бывший офицер её мужа! Отставной поручик Разгромов! Фрол, извозчик наш, по моему приказу, проследил за этой парой и выяснил у дворника, что барыня бывает у господина поручика регулярно, а сам господин поручик уже три месяца не платит за квартиру... Что за нравы! Любой из этой весёлой компании легко мог убить своего ближнего для своей надобности, имея к тому серьёзнейшие оправдания, которые любезно предоставляет им их проповедник, которого я имел несчастье сегодня услышать!

— Простите, это, случаем, не на Сивцевом Вражке было? — спросил Вигель.

— Там, — кивнул Немировский. — А ты откуда знаешь?

— Я сегодня Любовицкого видел. Так он мне о нём рассказывал. Он там бывает, видел генеральшу... А ещё говорит, что там революционеры собираются и самая



разношёрстная публика. Советовал обратить внимание...

— Незакосненно обратим. Я сначала, когда эту ахинею с маслом послушал, так думал, не откладывая в долгий ящик, закрыть эту лавочку, а потом, знаешь, передумал. Надобно прежде человечка там поставить, последить, кто туда ходит. А уж потом... — Немировский откинул назад свою белоснежную голову и прищурился. — А зачем приходил этот, чёрт бы его взял, г-н Замоскворецкий? Небось, о новом деле разноухивать?

— Мне показалось, что он о нём осведомлён не многим хуже нас с вами. Впрочем, за проповедника я пообещал ему дать комментарий по окончании дела, — признался Вигель.

— И напрасно... Незачем поощрять всю эту бульварную писанину! Совестно в руки взять эти грязные листы... Ты только почитай, что там пишется! Всё самое низменное и гнилое, что есть в обществе, выплёскивается на эти полосы, словно их авторы вместо чернил пользуются сточными водами. И весь дух от этой, с позволения сказать, прессы, отдаёт канализацией... Самое отвратительное, что этот дух начинает проникать повсюду... Трупный яд...

— Вы сейчас почти повторили Любовицкого.

— Вот, негодяй из негодяев. Он-то всё понимает лучше кого бы то ни было и сознательно поощряет... Это всё Ницше, Ницше... Да, Пётр Андреевич, это Ницше...

— Что именно?

— Всё: адюльтеры, проповедники, разврат, самоубийства и убийства... Лев Толстой прав: страшно то время, у которого такие пророки, страшно, когда злой сумасшедший завладевает умами и душами стольких людей! Молодых, заметь себе, людей! Барышни, которые раньше прятали под подушками

«Кларисс», «Ричардсонов», поэтов, наконец, теперь прячут — Ницше. Вот, и в доме генерала — он. Жена читает... Читает, потом едет к «пророку», развивающему эти, с позволения сказать, идеи, а оттуда — к любовнику, бросившему службу и прожигающему жизнь во всевозможных утехах! — Немировский развёл руками. — Не понимаю! Я сегодня вернулся домой и спросил у Аси, читала ли она Ницше. Оказалось, читала и пришла в ужас. Я у неё взял книжку и перед твоим приходом пролистнул... Я почти полвека борюсь с преступностью, я за это время многое видел и слышал, всякого насмотрелся, но это... Ведь это — страшно, Пётр Андреевич! Это не просто сумасшествие, это бесовщина какая-то! А если бесовщина начинает владеть умами, то полиция бессильна... Ты только послушай, что он пишет! Я отметил кое-что специально! — Николай Степанович надел очки и прочёл: — Христианство — «побасенка о чудотворцах и спасителях», «ложь, проистекающая из дурных инстинктов больных и глубоко порочных натур», священник — «паразит опаснейшего свойства, настоящий ядовитый паук жизни»! Этот мерзавец превозносит цинизм и бесстыдство, которое считает самым высоким, чего может достичь человек! Ему подавай человека-дикаря с «ликующей нижней частью живота»! Прежде над таким бредом посмеялись бы, а теперь его слушают, как откровение! «Нет ничего великого в том, в чём отсутствует великое преступление»! «В каждом из нас сидит варвар и дикий зверь»! И он требует дать свободу этому зверю! Дать свободу демону! Стать орудием его! Каково? Нет, помани моё слово, это всё плохо кончится...

— Как всё кончится, знает только Бог, — вздохнул Вигель, — хотя вы правы...

— Ладно, как говорит Василь Васильич, к матери под вятери всю эту, с позволения сказать, философию...

Сжечь в камине да и только... Давай о деле. Итак, каковы наши версии?

— Месть, как исход вчерашней пьяной стычки. Тут под подозрением Тягаев и Разгромов... Если, как вы выяснили, последний любовник генеральши, то это ещё одна версия. Убитый мог прознать об этом и пригрозить донести дяде. Тогда Разгромов — главный подозреваемый.

— С этим героем, определённно, нужно поработать досконально. Слишком уж много на нём сходится. Я тебе подарю ещё две версии. Первая — денежная. От деда Михаил имел долю наследства, воспользоваться которой мог, лишь вступив в брак с девицей своего круга, а до того времени все его расходы контролировал генерал.

— Какое унижение для молодого человека!

— Вот именно. Михаил считал, что дядя грабит его. Я бы не хотел дурно думать о генерале, но ведь есть ещё его сыновья... Может быть, им не захотелось потерять часть наследства...

— А разве подпоручик собирался жениться?

— Как будто бы нет. Но зазноба у него была. Но, вероятно, из иного круга, потому что он никому не представлял её.

— Значит, эту зазнобу нужно найти.

— Правильно. Но этим займётся Василь Васильич. Если она какая-нибудь камелия или что-то вроде этого, то он отыщет. Обитатели трущоб — это его профиль. Я уж указания отправил ему. А ещё пусть поставит своих агентов на Сивцев Вражек... Ты, Пётр Андреич, продолжай заниматься господами офицерами. Особенно Разгромовым. Не нравится он мне. А я уж попытаюсь ещё раз побеседовать с членами генеральской фамилии... А теперь всё. Время собирать камни, время разбрасывать камни... Идём в гостиную. Олицкие нынче ужинают у нас, и очень бессовестно с

нашей стороны столь долго заставляя ожидать себя их и Асю, — Немировский улыбнулся, и Вигель в который раз удивился, как разительно меняет улыбка лицо его наставника: словно лучи солнца разбегались по нему от светящихся глаз, струились и обогревали того, к кому был обращён этот взгляд.

За ужином, согласно уговору, не говорилось ни о работе, ни о различных неприятных явлениях русской жизни. Володя Олицкий рассказывал о недавней поездке в имение, о маслобойне, которую наладила там его хозяйственная тётка, о сельской школе, в которой ребятишек учили не только грамоте, но и ремёслам, игре на музыкальных инструментах, о том, какие талантливые дети встречаются среди учеников и что одного мальчонку он, Володя, даже хочет взять себе в ученики, а другого, имеющего талант к живописи, представить московским художникам, а там, может, и самому Мамонтову, который ни одному таланту не позволит пропасть.

— Искусство — великая вещь! — с жаром говорил Олицкий. — Я просто уверен, что именно искусству надлежит преодолеть пропасть между простым народом и интеллигенцией. В этом его — миссия! Зарастить эту пропасть и тогда дать плод... Ах, какой может быть плод тогда! Ведь русский народ безмерно талантлив, нужно только, чтобы эти таланты имели выход!

— Искусством у нас иногда пользуются для продвижения политических идей, — заметил Вигель. — Горький, к примеру, видит цель искусства в другом.

— Горький прекрасный писатель, но он ошибается! Искусство не должно служить политическим доктринам и социальным концепциям! Тем более — разрушению! Искусство — это никогда не разрушение, но обратный процесс... Искусство должно быть чистым. Только

искусство ради самого искусства, красота ради самой красоты могут что-то изменить!

— Я не согласна с тобой, Володя, — подала голос Ася, казавшаяся необычайно бодрой и весёлой в этот вечер. — Искусство только ради искусства — это мало. Красота ради самой красоты никогда не будет полной, цельной.

— Ради чего же?

— Ради Бога, Володя... Всё, что делает человек на земле, должно быть ради Бога, в первую очередь. Искусство — прежде всего, потому что в нём заключена огромная сила. Творец земной должен иметь перед собой пример Творца небесного, и ему приносить свои творения. Сравни древние русские иконы и творения отдельных художников, даже талантливых, но не имеющих в себе Бога. На них бывает интересно посмотреть, они радуют глаз, но не трогают душу, а на Троицу можно часами смотреть, и она всегда будет нова. Нет, Володя, красота должна быть ради Бога. Тогда она спасёт мир...

— На врубелевского «Демона»<sup>10</sup> тоже можно часами смотреть, — возразил Володя.

— Правда. И чем дольше смотришь, тем страшнее и чернее на душе. У этого художника должен быть в душе ад... Он похож на гоголевского персонажа, который написал портрет старика-демона, и демон завладел им. Только в повести художник смог победить его, а, вот, удастся ли это в жизни...

— По-моему, ты впадаешь в чрезмерную религиозность. Тебе бы поговорить с Родионом или Машей. Вы бы нашли общий язык!

— С Машей мы переписываемся с тех пор, как она обосновалась в Дивеево... Жаль, что я всё откладывала навестить её.

— Не беда, ещё успеешь, — бодро сказал Володя. — А искусство должно быть ради искусства! Ведь искусство, Асенька, божественно уже само по себе.

— Не будем спорить, — слабо отозвалась Ася, и в её голосе Пётр Андреевич уловил скрываемую усталость. Кажется, и Надя, всегда молчаливая, но тонко чувствующая людей, заметила это и сказала мужу:

— Володя, мы засиделись. Детей опять уложит спать няня, а я хочу сделать это сама.

— В самом деле, — засобирался Олицкий. — Час поздний, мы пойдём.

— Спасибо, что навестили. Мы всегда рады вас видеть, — улыбнулась Ася, поднимаясь, чтобы проститься с гостями.

— Ты очень устала? — озабоченно спросил Вигель жену, когда Олицкие ушли.

— Нет, что ты... Вечер был такой замечательный! Совсем, как раньше... — ответила Ася едва слышно от слабости. — Жаль только, что ты поздно пришёл, я соскучилась по тебе... Я очень по тебе соскучилась...

— Я тоже, — отозвался Пётр Андреевич. — Тебе пора спать. Ты выглядишь очень усталой.

— Поможешь мне подняться в спальную?

— Конечно, счастье моё, — Вигель легко, словно пушинку, поднял Асю, с болью подумав, какой хрупкой и невесомой стала она за время болезни, и, крепко прижав к себе, целуя в светло-русую головку, понёс её в комнату, удивляясь, как мог он вчера думать о другой женщине, когда рядом с ним живёт этот любящий его, нежный ангел...

## Глава 3

Это утро Василь Васильич Романенко начал с того, что подкрался на цыпочках к стряпавшей на кухне Глафире, сдобной, румяной бабёнке, которая уже несколько лет вела хозяйство в его холостяцком лежбище в Могильцах, и игриво шлёпнул её пониже спины, получив в ответ удар полотенцем, от которого еле-еле успел заслониться рукой.

— Что же это ты с утра пораньше озоруешь-то? — насупилась Глафира, но при этом глаза её смотрели ласково и тоскующе.

Вдовица, она по смерти мужа, замёрзшего на Святках по пьяному делу, подалась из родной деревни в город, ища наняться в кухарки в какой-нибудь дом. Тут-то и заприметил её Василь Васильич. Сговорились легко, и теперь Романенко уже с трудом понимал, как обходился прежде без Глафиры. Недавно в город перебрался и Глафирин племянник, Тимоха, определившийся работать на фабрику Гилле, что в Измайлове, за Преображенской заставой. Иногда он наведывался к тётке, и она подкармливала его и надеялась, что хозяин подсобит ему устроиться в Москве.

— Что раскричалась-то? — усмехнулся Романенко, обнимая Глафиру. — Будто бы чужие...

— А то как же? Подкрался, словно тать!

— Уж и пошутить нельзя!

— Пусти, сейчас завтрак пригорит — ерепениться будешь!

— Век бы тебя, сладкая моя, не отпускал, — отозвался Василь Васильич, размыкая руки. — Что ты сердитая сегодня такая, Глафира? Уж столько времени мы с тобой вместе...

— То-то, что вместе. А живём во грехе. Куда ж годится?

Романенко поморщился:

— Ты эти разговоры оставь. Я тебя под венец не звал и не зову. И обманывать тебя не хочу.

— Конечно, бобылём жить завсегда хорошо, когда есть, кому накормить, обстирать, приласкать...

— Так я и без тебя жил, и почему-то не помер! — рассмеялся Романенко, наливая себе полную кружку молока. — Скажи лучше, как там Тимоха твой? Что-то не видал его давно.

— Да что ему станется... Правда от Гилле уходить думает. К Суворову, за Тверскую заставу... Никак места себе не найдёт. Худющий, что жердь! Ты бы, Вася, подыскал ему, может, работёнку какую. Парень он сообразительный. А на фабриках испортят ведь его стрикулисты беспачпортные! И пьянство там, и всякие бунтари, будь они неладны... Заморочат мальчонку, споят, совратят... — Глафира всхлипнула.

— Только не реветь! — Романенко предостерегающе поднял палец, не переставая жевать бутерброд с колбасой. — Куда я твоего племяша пристроить могу? Разве что в агенты — за всяким сбродом следить!

— Тоже несладко...

— Несладко! Я с этого начинал! Таким же как он зелёным деревенским парнишкой по всем трущобам лазил, высматривал, что да как.

— Представляю, чего ты там нагяделся...

— Жизни, мать, жизни. В общем, ежели охота есть, так пушай заходит твой Тимоха — потолкуем с ним. А теперь некогда мне. Служба!

— Служба... Куда опять несёт-то тебя? — вздохнула Глафира.

— Только попрошу без рукоприкладства — в бордель! — ответил Романенко и исчез из кухни, по привычке одеваясь на ходу.



— стыда у тебя, охальника, нет! — крикнула Глафира вслед.

Василь Васильич не солгал относительно места, в которое направлялся. Ещё накануне вечером он получил задание выяснить личность возлюбленной убитого Михаила Дагомыжского. Конечно, обхаживать все известного рода заведения Первопрестольной было «не царским делом», и Романенко мог бы просто поручить его своим подчинённым, но, прежде чем сделать это, он решил наведаться всего лишь в одно место, хозяйка которого каким-то непостижимым образом всегда обладала сведениями о личной жизни клиентов своего заведения и даже тех, кто в число таковых не входил. При этом всезнающая дама крайне не любила делиться своими сведениями, но для Василь Васильича делала исключение.

В столь ранний час заведение Олимпиады Ялович спало мёртвым сном, и Романенко пришлось довольно долго стучать в дверь не только привешенным к ней изящным молоточком и кулаком, но и кованным каблуком начищенного до блеска сапога. Наконец, в окнах стали появляться помятые лица заспанных девиц в неглиже, дверь открылась, и угрюмый карлик в восточном халате и турецком красном колпаке с кисточкой знаком попросил сыщика следовать за ним.

Липа принимала гостей в «будуаре» раздражающе розового цвета. Эта сухопарая особа лет пятидесяти с одутловатым лицом и опухшими после сна глазами, не причёсанная, сидела в кресле и натягивала чулок на свою худую ногу. Зло поглядев исподлобья на вошедшего гостя, она спросила хрипловато:

— Ну, почто прихондорил-то? Весь дом перебудил... В такой час приличные люди к нам не ходят!

— Попридержи язык, Липа, — отозвался Романенко, усаживаясь на стул. — Сейчас я тебе задам несколько вопросов, если ты мне на них ответишь, я уйду...

— А если нет?

— А если нет, то придут мои люди и перехватывают всех твоих «котов» и «марух» до кучи.

— Какие «коты»?! — взвилась Липа. — Белены ты объелся?! У меня порядочное заведение! Здесь всякой ширмошни не отирается! У меня благородные господа только бывают!

— Вот, о благородных господах мы сейчас и поговорим, — многообещающе произнёс Василь Васильич, по-кошачьи щуря бирюзовые глаза. — Офицеры Х...ого полка бывали ли у тебя?

— А бес их разберёт, какого они там полка... Должно быть бывали, ежели офицеры... Их благородия моих девушек жалуют, — в голосе Липы прозвучала гордость.

— А, вот, это поличие тебе знакомо будет? — Василь Васильич показал извлечённую их кармана фотокарточку поручика Дагомыжского.

Липа взяла со стола лорнет, прищурилась:

— Это Мишка, что ль? Которого давеча порешили?

— Ай-да-ну! И откуда ты, Липа, всё знаешь? Словно у тебя везде агентура своя!

— Да на кой мне своя-то, мил-мой? Мне и твоей за глаза хватает!

— Ах, вот что... — Романенко покривился. — Вот, шельмы! Стало быть, субъект сей тебе знаком?

— Бывал, как же. Но давно и всего несколько раз. Очень испорченный вкус у него! Моих девушек лучше ни в одном заведении не сыскать, а для него слишком уж хорошо и чисто показалось! Конечно, выловить нечто из грязи и тащить к себе — это интереснее, чем у нас, где всё культурно и благопристойно!

— Да уж, что может быть пристойнее бардака!

— А ты не смейся! Если на то пошло, так теперь иные благородные девицы и дамы куда распушеннее моих девушек! Только мои от нужды таким ремеслом занимаются, а эти от сытости!

— Про дам мы поговорим в другой раз. Ты, что ли, знаешь, кого этот поручик выловил из грязи?

— Врать не буду, мил-мой, подробностей не ведаю. А, ежели тебе так надо, то поезжай на Цветной бульвар. Там заведение есть... «Мечта» называется. Публика там самая разная отирается. Да ты и сам знаешь, какая на Цветном публика: ширмошня, деловые, обратники, шулера, картёжники, просто любители острых ощущений... Последних там иногда режут... В общем, ничего примечательного, но есть в этой «Мечте» цыганский хор, и один знакомый «кот» мне рассказывал, что в одну из певичек влюбился офицер, увёз её, квартиру нанял и стал с нею жить.

— Так, может, это другой какой офицер?

— Нет, мой «кот» его у нас видел, не спутал бы.

— А ты говорила, что не бывает в твоём заведении «котов»?

— Не бывает. Бывают мои старые-добрые друзья! А этот «кот» — мой личный «кот»... Он ко мне ходит, — Липа чуть улыбнулась и зевнула. — Всё, я всё сказала. Езжай, мил-мой, на Цветной и дай мне поспать.

— Спокойной ночи, Липа! До свидания!

— Век бы тебя не видеть...

Покинув заведение Ялович, Василь Васильич решил, недолго думая, поехать на Цветной бульвар лично. Поручать работу кому-то, когда душу томит инстинкт идущего по следу охотничьего пса, и лишать себя удовольствия поимки дичи — выше сил сыщика.

Трактир с поэтическим названием «Мечта» был расположен в самом конце бульвара и представлял собой не отличающееся чистотой заведение, в котором в утреннее время было всего несколько типов подозрительной наружности, которые насторожённо взглянули на Романенко, едва он переступил порог. Побледневший буфетчик тотчас исчез из-за стойки. Василь Васильич неторопливо сел в углу и закурил. Он

хорошо знал такие места, знал, что вечерами они неузнаваемо преображаются, наполняясь тёмными личностями, которые пьют вино, делят добычу, играют в карты, обирая доверчивых профанов, приводимых сюда «марухами», а иной раз опаивая их какой-нибудь отравой или даже убивая. Наверняка была здесь и шулерская «мельница», наверняка и теперь отсыпались в укромных углах постоянные посетители «заведения»... Таких мест в Москве было бесчисленное множество. Но не шулера и ширмошники интересовали теперь Романенко, и он терпеливо ждал, когда появится хозяин трактира, за которым, несомненно, побежал буфетчик, узнавший Василь Васильича, которого едва ли не каждый обитатель трущоб давно уже знал в лицо.

Хозяин, чернобородый, невозмутимый толстяк, явился вскоре и с самым любезным видом подошёл к Романенко:

— Не прикажете ли что-нибудь откусать, Василь Васильич?

— Нет, не прикажу. Разговор есть.

— Слушаю, Василь Васильич, — хозяин сел напротив и погладил бороду. — Не могу взять в толк, чем моё скромное заведение привлекло ваше внимание... У нас всё по закону, всё...

— А вот Лазаря петь не надо! Что творится в твоём скромном заведении, я очень хорошо знаю, и к закону это касательства не имеет.

— Помилуйте, Василь Васильич!

— Помилую, помилую, если пособишь одно дельце распутать.

— Всегда к вашим услугам, — ободрился хозяин.

— Цыганский хор в твоём трактире частенько поёт?

— Дважды в неделю. Публика очень любит.

— А этот офицер бывал у тебя? — Романенко положил на стол фотографию убитого поручика.

— Ну, конечно! — кивнул хозяин, едва взглянув на карточку. — Фамилии он не называл. У нас все его звали Мишелем. Бывал неоднократно. И именно в те дни, когда хор пел. Он, бедолага, Катьку полюбил. Бывалоча, сидит и глаз с неё не сводит.

— Катька — это цыганка?

— Точно так. Цыганка. Хороша девка! Семнадцать годов, а красоты небывалой! Он, как с нею знаться стал, так даже карты забросил и всё. Ради неё только и ходил. Словно приворожила она его.

— А теперь что же, поёт она?

— Куда там! Он ведь увёз её. Говорили, будто нанял квартиру, и зажили они вместе. Не знаю... Но Катьки у нас давно не было.

— Вот что, милейший, мне эта Катька позарез нужна. Как её мне сыскать?

— Мудрёное дело... Но, думаю, цыганки, товарки её, должны знать, где она обретается.

— А их мне где искать?

— А вы обождите минуточку. Вечор у нас хор как раз пел. Устали лебёдушки, так у нас и вздохнуть остались до обеда. Вы обождите, а я сам их пойду поспрошаю.

— Иди, поспрошай, любезный.

— Может, всё-таки откушаете?

— Иди! У меня времени в обрез.

— Слушаюсь, — хозяин исчез, и Василь Васильич заметил, что за время их беседы сомнительные типы, бывшие в трактире, успели сбежать.

Чернобородый хозяин возвратился спустя четверть часа и доложил:

— Всё узнал, Василь Васильич. Катька живёт в нанятой квартирке в Протопоповском переулке. Вот, я вам и адресок записал.

Романенко взял клочок бумаги с написанным адресом и покинул трактир, отвергнув очередное предложение хозяина «откушать» чего-нибудь.

До Мещанской улицы Василь Васильич домчался на извозчике, а затем пошёл пешком. Путь к «Балканам», бедному кварталу, расположенном в Протопоповском переулке и населённом, преимущественно, студентами, лежал мимо прекрасного яблоневого сада. Романенко с наслаждением вдохнул аромат спелых плодов и, заметив румяное яблочко, сорвал его и надкусил. Яблоко оказалось сладким и сочным, и Василь Васильич в считанные мгновения съел его и продолжил свой путь в тени сада, прислушиваясь, как трещат перегруженные ветви, шумят листья, падают на землю перезревшие плоды...

Адрес, данный хозяином «Мечты», оказался точным. В крохотной, бедно обставленной квартирке жила юная красавица-цыганка по имени Катя, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что в самом ближайшем будущем она станет матерью. Поняв это и поглядев на испуганное лицо цыганки, Романенко закусил губу. Как прикажете сказать женщине, что её возлюбленный, от которого она ждёт ребёнка, убит? Что с ней будет после этого? И с ней, и с ребёнком? Пополнят ряды обитателей Хитровки? Там много таких...

Прежде чем Василь Васильич успел сказать что-либо, Катя заговорила сама:

— Что же вы молчите? Я знаю, с чем вы пришли... Его нет больше, так? Его убили? — в её глазах блеснули слёзы.

— Откуда тебе это известно?

— Я гадала ему... Я это увидела... Я знала...

— Да, его убили. И я ищу убийцу. Может быть, ты можешь мне помочь?

— Убийцы я не знаю... А он знал... Когда он приходил в последний раз, то думал, что его убьют...

— Он тебе это сказал?

— Нет, что вы. Он наоборот старался быть беззаботным, но я мысли его знала. А ещё... Он сказал

мне как-то: они меня уже своим считают, таким же мерзавцем, а я не такой, я в каторгу пойду, если не убьют прежде... Я ему говорила, чтобы он ушёл из полка, чтобы уехал со мною или без меня... Он обещал. Говорил, что только выбьет деньги, принадлежащие ему, и тогда мы уедем... Вместе... Я знала, что этого не будет... Судьбы не обмануть... — Катя всхлипнула.

Романенко молчал, пытаюсь сообразить, что делать дальше. Внезапно цыганка посмотрела на него своими чёрными очами:

— Вы тоже о нём плохо думаете, я знаю. Думаете, что он обманул меня, соблазнил... А это неправда... Ведь я жена ему.

Василь Васильич вздрогнул:

— Что?

— Миша любил меня и не считал возможным обманывать. Тем более, не хотел, чтобы наш сын был вне закона. Мы обвенчаны с Мишей. Об этом и запись есть в церкви, — внезапно Катя застонала, согнулась, стиснула руками голову, заголосила по-бабьи, глухо, отчаянно: — Как же я теперь одна на свете буду? Как же мне жить-то теперь дальше?

К таким сценам Романенко уже привык, и они не заставляли его забыть цели своего визита, а потому он задал новый вопрос:

— Скажи, Катя, а где ты познакомилась со своим мужем?

— Мы выступали в полковом клубе... Нас пригласил поручик Разгромов. Он тогда с Грушей воловодился. А потом бросил её, — глаза цыганки блеснули. — А она отравилась...

— Вас, что же, пустили в расположение полка? — удивился Василь Васильич.

— Что вы! Но голь на выдумку хитра. В столовой есть кухня, окно которой выходит на улицу. Это окно Разгромов отпирал нам, и мы пробирались в клуб для

удовольствия господ офицеров. Нет, вы не подумайте дурного! Мы же не подлянки какие-нибудь. Мы песни пели, танцевали... Бывало, конечно, господа нас норовили обнять, усадить на колени. А в остальном всё прилично было. А когда Разгромов из полка ушёл, так наши ночные гулянья и прекратились. Больше отважных не нашлось приглашать нас...

— А оконце-то осталось... — задумчиво произнёс Романенко.

— Можно закурить? — спросил Виктор Разгромов, вальяжно усаживаясь на стул перед следователем и скользя насмешливыми глазами по его лицу. Да, впечатления растепеля этот служитель закона ни коим образом не производил. Лицо решительное, с волевым подбородком, и глаза — крупные, редко моргающие, синие, светящиеся умом... А голос глубокий, спокойный:

— Закуривайте, Виктор Александрович.

Разгромов раскурил трубку и вновь обратился глазами к следователю. Ни малейшего напряжения, волнения не чувствовал он, как не чувствовал его, прикладывая холодное дуло пистолета к виску, стоя у барьера или укрощая бешеного коня. За всю свою жизнь Разгромов не знал чувства страха, и подчас ему казалось, что оно просто атрофировано у него, что это некая психическая аномалия. Мальчиком Виктор жил в имении рано овдовевшего отца и был предоставлен самому себе. Он читал множество книг из отцовской библиотеки, охотился, забредая в непроходимую глушь и болота, куда боялись заходить даже бывалые мужики, объезжал коней, учился стрелять и владеть саблей под руководством пожилого ветерана, служившего у отца. Разгромов рано узнал все стороны жизни, и она перестала удивлять его. Даже самые сумасбродные затеи становились вскоре пресными, не веселящими души. Виктору было скучно, но скуку свою он скрывал



за напускной весёлостью, стяжав себе славу острослова и ироника. Разгромов был героем, человеком подвига, но места для подвига не находилось, и героический запал растрачивался всеу. Он готов был отдать жизнь за Родину, но не терпел муштры и приказаний. Он стремился к лёгким деньгам, которые давали возможность пожить с шиком, но никогда не копил их, растрачивая легко и беззаботно. Так и стремился Виктор прожить жизнь: без забот, без необходимости подчиняться приказам, легко и весело, не задумываясь о дне завтрашнем. И до сей поры это отчасти удавалось ему.

— Скажите, Виктор Александрович, в каких отношениях вы состоите с Анной Платоновной Дагомыжской?

Любого вопроса ожидал Разгромов, но не этого, однако ответил спокойно:

— В дружеских. Как и с другими членами семьи генерала.

— У нас иные сведения. Вчера вас видели у проповедника на Сивцевом Вражке, откуда вы вдвоём поехали к вам на квартиру, где пробыли около трёх часов.

— Даже время засекали! — усмехнулся Разгромов. — Да, мы были у меня на квартире. Читали стихи! Это наше общее увлечение.

— У нас есть сведения, что Анна Платоновна бывает у вас аккурат два раза в неделю.

— И что же?

— Вы читаете стихи?

— Господин Вигель, я не знаю, какого мнения вы придерживаетесь на мой счёт, но я бывший офицер и с понятиями чести знаком достаточно неплохо. Неужели вы полагаете, что я для вашего удовольствия буду порочить имя дамы? Я не скажу вам ни слова. Если у вас

есть доказательства, что я убил Михаила, то арестовывайте меня и отдавайте под суд.

— Арестовать вас нам, действительно, придётся.

— На доброе здоровье. По крайней мере, хотя бы какое-то время я смогу отдохнуть и не заботиться о хлебе насущном. Кстати, книги арестантам у вас выдаются? Газеты?

— Разумеется.

— Тогда не имею ничего против того, чтобы погостить у вас.

— Вы напрасно не желаете говорить, Виктор Александрович, — покачал головой Вигель. — Ваше молчание не спасёт вашей дамы, и вам не удастся уберечь её от допросов.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

— В таком случае пишите.

— Что?

— Мои признательные показания. Я сознаюсь в том, что убил поручика Михаила Дагомыжского ударом его же сабли по голове, будучи во хмелю. Всё, довольно ли с вас?

— Здесь не балаган, Разгромов. Вы понимаете, что такие признания могут стоить вам долгих лет каторги?

— На каторге тоже люди живут, — пожал плечами Разгромов. — Хоть какая-то смена обстановки, другая жизнь!

— Записывать ваше признание я не стану. Посидите пока под арестом и подумайте обо всём. И учтите, что даже ваше признательное показание не уберёжёт вашу даму.

— Отчего же?

— Оттого, что, в таком случае, вам придётся взять на себя ещё одно убийство, — флегматично отозвался следователь.

— Что? О чем это вы? — Виктор нахмурился и вынул изо рта трубку.

— А вы не знали? Сегодня ночью в доме генерала Дагомыжского произошло ещё одно убийство. Так-то, господин Разгромов! Может быть, это вы его совершили?..

С раннего утра в доме генерала Дагомыжского работала полиция. Николай Степанович первым делом осмотрел комнату, в которой произошла трагедия. Этой ночью скоростижно скончался младший сын генерала, Лёничка. Приехавший судебный медик констатировал отравление цианистым калием. Остатки яда были обнаружены во флаконе из-под лекарства, стоявшем на ночном столике убитого. Первый беглый опрос домочадцев дал следующую картину: накануне, когда стало известно о смерти Михаила, у Лёнички случился припадок, прибывший доктор осмотрел его и оставил лекарство, велел давать его пациенту через определённое количество времени. Давать лекарство должна была прежняя гувернантка Лёнички, француженка Марго Дежан, проживавшая в доме генерала. Доктор был допрошен и поклялся, что во флаконе, который он оставил, были безобидные капли, и откуда на их месте мог взяться цианид ему непонятно. Не доверять почтенному пожилому врачу не было никаких оснований, и он был отпущен с миром.

Комната Лёнички произвела на Немировского странное впечатление. На книжной полке стояли тома немецких, французских и отечественных философов, среди которых Николай Степанович заметил уже знакомую книгу Ницше. На стенах красовался портрет Чаадаева, а на ночном столе лежал пухлый том Лермонтова с многочисленными закладками и пометками на полях. Комната была мрачной и неудобной. В вещах молодого человека следователь

обнаружил изрядное количество карточек с изображениями полунагих или же вовсе нагих девиц... Таково было жилище семнадцатилетнего юноши, только ступившего на жизненный путь, душа которого, судя по всему, была смертельно отравлена гораздо раньше, нежели тело.

Для допроса членов семьи генерала Немировский обосновался в кабинете самого Константина Алексеевича. Первым делом он решил поговорить с Ларисой Дмитриевной. Экономка, облачённая во всё то же тёмное бедное платье, с заплаканными глазами, опустилась на стул, глубоко вздохнула и выжидающе посмотрела на следователя.

— Лариса Дмитриевна, я, учитывая наш вчерашний разговор, не стану терзать вас вопросами. Просто расскажите мне, что знаете и что думаете о смерти вашего племянника, — сказал Николай Степанович.

— Не знаю, что и думать. Посторонних в доме не было. Этот флакон с лекарством стоял на видном месте: его имел возможность подменить любой... Но я не верю, что кто-то в нашем доме мог совершить такое чудовищное преступление. Да и зачем? Лёничка был болен, озлён на весь мир, глубоко несчастен, но кому он мог мешать? Если бы мне сказали, что он решил уйти сам, я бы поверила. С его характером, его взглядом на жизнь — это было бы неудивительно. Но чтобы кто-то убил его... Нет, я не верю.

— Стало быть, вы предполагаете самоубийство? — уточнил Немировский. — Но самоубийцы всегда оставляют предсмертные записки. Тем более, ваш племянник был, как я понял, не лишён неких идей, и не преминул бы высказать их перед смертью.

— Да, он всегда имел склонность к тому, чтобы писать...

— Так он писал?

— Да.

— Что же? Стихи?

— Стихи тоже, но редко... Он пытался подражать Лермонтову... Нет, он вёл дневник. У него была толстая тетрадь, в которую он всё время что-то записывал. Я не знаю, что, он её никому не показывал.

— А где он хранил эту тетрадь?

— У себя в комнате... Разве вы не нашли?

— Нет, не нашли, — задумчиво отозвался Николай Степанович.

— Может быть, он спрятал её, и вы просто не заметили...

— Возможно. Мы всё осмотрим ещё раз. Кто знает, может, эта тетрадь на что-то прольёт свет. Лариса Дмитриевна, какие отношения были у Лёнички с родными?

— Как вам сказать... Лёня был меланхолик, ипохондрик. Отца он не любил, считая, как принято теперь выражаться, гасильником, мракобесом, ретроградом...

— Стало быть, он разделял прогрессивные идеи?

— Это влияние его друга Стивы Калиновского. Он выходец из Польши, сын богатого коммерсанта... Они учились вместе. Стива на год старше Лёнички.

— Он бывал у вас?

— Несколько раз.

— И что вы можете о нём сказать?

— Очень живой, активный мальчик. Полная противоположность Лёне. Знаете, как у Пушкина: «они сошлись: вода и камень»... Обычно они с Лёничкой куда-то уезжали. У них была своя компания... Я о ней ничего не знаю. Об этом вы лучше спросите мадемуазель Дежан. Она бывала на их вечерах. Одно могу сказать, на них пили слишком много вина. А Лёничке ведь это было нельзя с его припадками...

— Мадемуазель Дежан бывала в столь юном обществе? Зачем?

— Этого хотел Лёня. Да и это было к лучшему... Она всегда могла проследить, чтобы с ним не случилось что-нибудь.

— А какие отношения были между Лёней и мадемуазель Дежан?

— Спросите об этом её, а я не могу отвечать на такие вопросы...

— А как относился Лёня к своей мачехе?

— По-моему, он её ненавидел, — ответила Лариса Дмитриевна. — Это часто бывает... Пасынки редко могут принять женщин, заменивших их мать при их отце.

— А его брат? Они ладили друг с другом?

— Они почти не общались. У них были очень разные интересы. Серёжа жизнелюб, он живёт своей жизнью, и не считает нужным ставить нас в известность о своих делах. Совершенно самостоятельный мальчик. Он всегда таким был. Всегда норовил всё делать по-своему...

Отпустив Ларису Дмитриевну, Немировский понюхал табуку и задумался. Этой ночью в доме генерала находилось пять человек, не считая кухарки и денщика Дагомыжского. Другой прислуги в доме не было. Прачка приходила три раза в неделю. Константин Алексеевич был аскетом и даже жене не позволял нанять горничную, считая это излишней роскошью. Старым слугам травить ядом несчастного юнца было незачем. Оставались члены семьи и некая Марго Дежан. Предположить, что собственного сына убил генерал, было бы нелепо. А остальные? Анна Платоновна, молодая неверная жена старого нелюбимого мужа, женщина, по всему виду, с большими запросами, любящая жить на широкую ногу. Ей на руку сокращение семейства генерала — чем меньше наследников, тем больше её куш в случае его кончины. К тому же пасынок её ненавидел. Эта особа с лёгкостью могла

заменить лекарство цианидом. Но как быть в таком случае с Михаилом? Не могла же она зарубить его саблей... Но это запросто мог сделать её любовник Разгромов. Что если они в сговоре? Решили вместе известить семью Дагомыжских и завладеть всем имуществом... Допустимо, вполне допустимо. Но бездоказательно, поэтому пока лучше не говорить этой особе о том, что её связь с отставным поручиком Разгромовым известна следствию, этот козырь лучше пока попридержать...

Явившаяся на смену Ларисе Дмитриевне Анна Платоновна, уже облачённая в траурное платье из дорогого шёлка, заметно нервничала и даже покусывала кончик мундштука, постоянно выпуская в воздух клубы синеватого дыма.

— Я, решительно, ничего не могу вам теперь сказать, господин Немировский! Это такой удар для нас всех! Для Константина Алексеевича! Ах, такой удар... Я просто не могу собраться с мыслями! Я не понимаю, кому это могло быть нужно! Нет, мне необходимо принять валериановых капель... Господи, какой ужас! Вторая смерть за два дня!

Вероятно, хорошей актрисой считает себя эта дама, а — переигрывает. Куда лучше представления видел Немировский за долгие годы службы. Приняв подчёркнуто суровый вид, он произнёс:

— Я всё-таки прошу собраться вас с вашими мыслями. У вашего пасынка были недоброжелатели?

— Откуда я могу знать об этом? У нас были не столь тёплые отношения, чтобы он делился со мной тем, что творилось в его компании...

— А у него была своя компания?

— Его друг Стива Калиновский куда-то вывозил его время от времени.

— А что вы можете сказать об этом Калиновском?

— Ничего особенного. По-моему, кокаинист... Знаете, это теперь модно... Он и Лёне давал пробовать.

— Откуда вам это известно?

— Я видела Лёню, когда Марго привезла его с очередного... фуршета. Он истерично смеялся, и глаза у него так блестели... Лара решила, что он пьян. Но она старая, ей просто невдомёк, чем развлекаются эти пустые юнцы... А я сразу поняла, что это — кокаин!

— А Марго Дежан всегда сопровождала Леонида на эти мероприятия?

— Ну, конечно. Мальчики любят хвастать своими победами... А у Лёнички никого, кроме Марго не было. Вот, он и брал её.

— Вы хотите сказать, что Марго Дежан была любовницей вашего пасынка?

— Да, конечно, — кивнула Анна Платоновна. — И это естественно... Издавна повелось, что гувернантки или горничные за соответствующую плату обучают мальчиков премудростям любви. Разве это предосудительно?

— То есть Марго Дежан получала за это деньги?

— А для чего бы её держали в доме? Дети выросли, никакой иной работы она не делала... Я сама и платила ей за эти услуги...

— А Леонид знал об этом?

— Разумеется, нет! Он, бедняжечка, думал, что это по любви... Зачем было обижать глупое мальчишеское тщеславие?

— А Марго Дежан устраивало такое положение вещей?

— Не знаю... — Анна Платоновна изобразила на лице задумчивость. — В последнее время она как-то уж очень сблизилась с Лёней. Я даже подумала, уж не хочет ли эта французская дрянь войти в нашу семью... Она очень изворотливая, алчная. Сегодня ночью я



видела, как она заходила в комнату Лёни и вышла оттуда, держа что-то в руке... Я не разобрала, что...

— Во сколько часов это было?

— Часа в два ночи... Я поздно ложусь. Иногда, если не могу уснуть, хожу по дому — это помогает.

— В вашем доме был цианид?

— Откуда мне об этом знать? Спросите нашу кухарку...

Как это ловко она всё изложила относительно гувернантки, словно заранее готовилась... А цианид в доме очень даже мог быть. В некоторые взрывчатые вещества его добавляют. А у Лёнички совсем недавно любящий родитель нашёл некие компоненты для бомбы... Уж не было ли среди них цианида? Спрашивается, если был, то куда генерал дел его, и знали ли другие о том, где он находится? Впрочем, убийца мог раздобыть яд и в другом месте...

Генерал Дагомыжский был предельно сух и краток, и ответы его, на удивление, совпали с ответами Анны Платоновны. Константин Алексеевич так же склонен был обвинять в убийстве сына Марго Дежан. Относительно же цианида, генерал категорически заявил, что в его доме нет иного яда, кроме мышьяка, которым кухарка выводит грызунов.

Наконец, очередь дошла и до самой бывшей гувернантки. Это была женщина лет тридцати пяти — сорока, невысокая, с идеально сложенной фигурой и необычайно тонкой осиной талией, с красивым, но чересчур накрашенным, почти кукольным лицом. Говорила она с сильным прононсом, картавя, неумеренно жестикулируя и сопровождая речь громкими восклицаниями. После недолгого разговора Николай Степанович почувствовал, что от этой крикливой, словно торговка на базаре, особы у него начала болеть голова.

— Мадемуазель Дежан, я просил бы вас говорить тише. Я хорошо слышу.

— Я не намерена с вами разговаривать. Я французская подданная и хочу говорить с французским консулом.

— Боюсь, что вначале вам всё же придётся ответить на мои вопросы. Вы подменили флакон с лекарством цианидом?

— Мон дьё! Что за чудовищное обвинение?!

— Генерал Дагомыжский и его супруга именно вас склонны обвинять в этом преступлении. Они утверждают, что вы были любовницей вашего воспитанника...

— Что?! — глаза француженки округлились. Она вдруг рассмеялась и затараторила что-то по-французски так быстро, что Николай Степанович не успел разобрать сути сказанного. Немного успокоившись, Марго Дежан сказала:

— Я никогда не была любовницей Леонида. Я жалела его и выполняла отдельные просьбы...

— Ездили с ним к его друзьям?

— Да... Ему нравилось, чтобы я была рядом. Красивая женщина рядом — всегда приятно... Но это — всё. Правда, мадам Дагомыжская хотела другого и предлагала мне деньги, но я честная женщина.

— Вы хотите сказать, что вас оклеветали?

— Мон дьё! Конечно!

— Для чего же?

— Он — из мести, а она — из ревности.

— Поясните.

— Он хотел, чтобы я стала его любовницей. Ещё до её появления в доме. Но я — честная женщина. А она, видимо, узнала об этом!

— Простите, но я вынужден буду вас арестовать.

— Меня предупреждали о варварских нравах в вашей стране! Я требую встречи с французским

консулом.

— Она будет вам предоставлена.

Петр Андреевич Вигель жестом указал на стул вошедшему студенту, нервно мявшему рукав своей тужурки и боязливо озирающемуся по сторонам. Это был Сергей Дагомыжский. Вероятно, смерть брата столь мало подействовала на него, что он отправился в институт, где со дня на день должны были начаться занятия, чтобы узнать что-то относительно учёбы. По крайней мере, так объяснил сам Серёжа своё отсутствие дома во всё время следственных действий. При этом посланный в институт полицейский его там не обнаружил, и сыщикам пришлось ждать его возвращения домой, чтобы препроводить для беседы к Петру Андреевичу. Всё это заранее внушило Вигелю недоверчивость и подозрения относительно генеральского отпрыска, которому весьма на руку были обе смерти, поскольку, таким образом, он стал единственным прямым наследником своего родителя.

— Итак, Сергей Константинович, как же так получилось, что в столь горький для вашего семейства день вы решили покинуть его?

— Сомневаюсь, что в этот день моё семейство во мне сильно нуждалось. Да и я предпочитаю переживать все свои страдания и радости вне его.

— Что ж так?

— Нашей семьи уже давно нет. Она была при матушке, а с её смертью каждый стал жить по-своему. Отец занят службой, брат был нездоров и, подозреваю, не в себе.

— И виновата по всёму, конечно, Анна Платоновна?

— Ни в коей мере. Так сложилось ещё до неё. Она тоже не стала частью семьи, а стала жить своей жизнью. Лично я, в отличие от покойного брата, не имею ничего против неё. Я рад, если отец нашёл в ней

утешение. Что касается меня, то, если честно, с Анной Платоновной я ладил даже лучше, чем с родными, потому что она никогда не пыталась что-то мне навязать, поучать. У нас существовало даже нечто вроде дружбы.

Вигелю показалось, что Серёжа говорил искренно, но это не рассеяло его подозрений.

— Где вы были сегодня?

— Я же говорил, в институте...

— Неправда. Мы посылали туда за вами, и там вас не видели.

— Я пробыл там всего четверть часа, а потом ушёл.

— Куда?

— У меня были дела. Подробнее рассказать не могу.

— Напрасно. Тогда, может быть, вы расскажете, где были в ночь убийства вашего кузена? Дома вас также не было.

— Мне нечего на это сказать, — былая уверенность напрочь исчезла из голоса Серёжи, и он поник головой.

— Очень хорошо! В таком случае, благоволите послушать, как следствию представляется ваша роль во всём этом деле. Желая стать единоличным наследником вашего отца, вы решили убить своего брата и кузена...

— Вы с ума сошли!

— Благоволите дослушать. Позавчера вы, узнав каким-то образом о том, что в столовой известного вам полка есть весьма удобное для проникновения туда окошко, проникли туда и, дождавшись нужного момента, проследовали за Михаилом и убили его собственной его саблей.

— Любопытно, как же я проделал это всё и остался незамеченным?

— Хороший вопрос. Но решаемый. Вы могли позаимствовать мундир своего кузена, и в таком виде на вас могли просто не обратить внимания в разгар

празднества. С Леонидом было ещё проще. Всего-то и надо было, что подменить одну склянку другой. А где, если не секрет, вы взяли цианид?

— Вы сошли с ума... — Серёжа побледнел. — Господин следователь, всё, что вы сейчас сказали, чистое безумие. Я никого не убивал!

— Тогда потрудитесь объяснить, где вы были в интересующие нас часы. Предоставьте мне хоть какое-нибудь алиби.

Серёжа ещё ниже пригнул голову, затем вдруг резко вскинул её, тряхнув отпущенными почти до плеч волосами, и, прямо взглянув на следователя, сказал:

— Хорошо, Пётр Андреевич, я предоставлю вам алиби, и оно будет лучшим из всех возможных.

— Отчего же лучшим?

— Потому что моё алиби — вы.

Вигель недоуменно посмотрел на Серёжу. Тот легко поднялся, театрально поклонился и изменённым голосом зачастил:

— «Ольга Романовна, вот вы где! А мы уже вас ищем! Антракт-то заканчивается. Просим в зал, просим в зал!» — «Конечно, Серёжа, я уже иду» — «Кто это?» — «Это? Актёр Кудрявцев. Он у Авгурского во всех спектаклях занят. Огромный талант. Лидинька от него без ума... Сейчас как раз его выход. Идёмте, Пётр Андреевич. Вас ведь тоже ждут...» Разрешите представиться, Пётр Андреевич, актёр Кудрявцев!

— Так это вы? — Вигель не смог сдержаться от улыбки. — Действительно, прекрасное алиби...

— Я же вам говорил. Всю ту ночь я провёл в театре, и сегодня я был там же. Ездил на репетицию. Конечно, вы можете недоумевать, как можно при таком несчастье дома ехать на репетицию, но это была очень важная репетиция. От неё зависело, буду ли я играть роль, о которой мечтаю. Я не мог пропустить её, поймите.

— Я не понимаю, почему вы сразу не сказали правды? — спросил Пётр Андреевич.

— Всё дело в отце. Он блестящий военачальник, но ужасный ретроград... Он бы счёл себя обесчещенным, если бы выяснилось, что его сын занимается фиглярством, а именно так он расценивает театр. Он счёл бы это величайшим позором семье, фамилии, своим сединам! Да ещё бы обвинил меня в том, что я создаю помехи его служебному росту. Отец мечтает стать генералом от инфантерии... Ну, и в заключении, он, вполне вероятно, лишил бы меня наследства, — Серёжа развёл руками. — Пётр Андреевич, я скажу вам честно, что наследство для меня не главное, хотя и не хотелось бы терять. Но мне крайне не хочется быть позором семьи и супостатом собственного отца, которого я, поверьте, люблю и уважаю. Поэтому я взял псевдоним и играл, пользуясь большим количеством грима, чтобы не быть узнанным... А что? К примеру, сын купцов-миллионщиков Алексеевых тоже скрытничал. И псевдоним себе по этой же причине взял. Станиславский... Теперь, конечно, всё вскроется, и отец будет в ярости...

— Да, скрыть ваше алиби невозможно.

— Что ж, это было должно однажды случиться, — философски заметил Серёжа.

— А вы, простите за любопытство, неужели намерены всю жизнь посвятить служению Мельпомене?

— Да, намерен, — твёрдо сказал актёр, и глаза его загорелись. — Сцена — это как вино, даже сильнее. Она не отпускает того, кто однажды отдал ей душу. Это горькое и в то же время сладчайшее из рабств! Как рабство у ног возлюбленной! А, главное, сколько жизней мы можем прожить так? Обыкновенно, только одну. Но это — скучно! А на сцене я могу прожить десятки, сотни жизней! Я могу быть Антонием,

Гамлетом, Иваном Грозным, Тартюфом, Лиром... Да шут знает кем ещё! Что может быть прекраснее?!

— Любое призвание прекрасно, если оно подлинно, по моему мнению, — согласился Вигель.

— Жаль, что мой отец рассуждает иначе. Пётр Андреевич, это правда, что арестована мадемуазель Дежан?

— Да. Ваш отец и мачеха указали на неё, как на наиболее вероятную убийцу.

— Странно... Зачем им это понадобилось? — удивился Серёжа.

— А вы не разделяете этой точки зрения?

— Я не могу её разделять, господин следователь, поскольку знаю доподлинно, что Марго этого не совершала и даже не была этой ночью в комнате брата.

— Откуда вам это известно?

— Потому что этой ночью Марго была со мной. Вы, надеюсь, понимаете?..

Вигель откинулся на спинку стула и помял подбородок:

— Понимаю... Но ваши родственники утверждали, что мадемуазель Дежан имела связь с вашим братом. А Анна Платоновна сказала нам, что видела её сегодня ночью, выходящей из спальни Леонида.

— Чушь какая-то, — Серёжа нахмурился. — Зачем им это понадобилось?

— И Марго ничего не сказала нам о вас.

— Это понятно. Она одна знала о моей двойной жизни и не хотела меня подводить... Вы скажите ей, что я всё рассказал.

— Нет, не вырисовывается у нас с вами что-то, Сергей Константинович, — покачал головой Вигель. — Ваш отец и мачеха говорят, что у Марго были отношения с вашим братом. Сама Марго говорит, что ваш отец имел на неё виды, а вы утверждаете, что она была вашей любовницей. Кому прикажете верить? В

таким общим плане можно предположить, что вы с мадемуазель Дежан действовали заодно, решив избавиться от третьего в вашем любовном треугольнике!

— А каким тогда боком оказывается в такой пьесе Михаил?

— Вот, это нам и предстоит узнать. Ещё один вопрос. Вы знаете приятеля вашего брата Стиву Калиновского?

— Ещё бы мне его не знать. Он частенько бывает у нас в театре. Он ведь художник. Иногда помогает нам в оформлении декораций. На добровольных началах.

— И он знает о вас?

— Знает. Но ведь и я знаю о нём... Навряд ли его отец был бы счастлив, узнав, как проводит время его сын. Он, вы знаете, кокаинист и вообще... Короче говоря, его я никогда не опасался.

— Вы пока можете быть свободны, но будьте добры не покидать Москвы до окончания следствия.

— К чему мне её покидать? У меня спектакли идут чуть ли не каждый вечер... — пожал плечами Серёжа. — Аревуар, господин следователь.

— Всего хорошего...

Стоило сыну генерала покинуть кабинет следователя, как Петру Андреевичу доложили, что его хочет видеть корнет Обресков.

— Пусть войдёт, — устало кивнул Вигель.

Корнет, раскрасневшийся и возбуждённый, вошёл в кабинет и, не говоря ни слова, протянул следователю сложенный вчетверо лист бумаги.

— Что это? — холодно спросил Пётр Андреевич.

— Мои признательные показания, ваше превосходительство!

— В чём вам угодно признаться, корнет?

— Я признаюсь в том, что я убил подпоручика Дагомыжского, потому что был оскорблён на него и не



смог с собой совладать. Корнет Тягаев и отставной поручик Разгромов не причём. Арестуйте меня и отпустите их.

— Надо же, какая интересная картина у нас получается... — протянул Вигель. — Столько преступников, и никаких фактов! Стало быть, вы убили поручика?

— Я! — вскрикнул корнет.

— И сына генерала, Леонида — вы? И доцента на Лубянке — вы? И министра просвещения — вы?

— Какого ещё министра?! Вы издеваетесь надо мной?! Не смейте! Я офицер! Вы можете меня арестовать, а издеваться не можете! — закричал Обресков срывающимся голосом.

— Да замолчите вы! — повысил голос и Вигель, поднимаясь из-за стола. — Мальчишка! Вам здесь что — балаган? Какого чёрта вы, корнет, морочите мне голову? Она у меня и без вас кругом идёт!

— Я не морочу... Я признаюсь в убийстве...

— Согласно экспертизе вы, мой юный друг, ни коим образом не могли нанести такого удара поручику, поскольку для этого вам понадобилось бы взобраться на табурет!

— Но...

— Идите, корнет! Идите! Я не стану даже читать вашего заявления и арестовывать вас не стану. Но, если вы продолжите ломать петрушку, то я доложу о вашем поведении вашему командиру полковнику Дукатову, и, сомневаюсь, что он будет вами доволен. Свободны!

— Разрешите идти? — корнет по-военному выпрямился.

— И как можно быстрее!

— Слушаюсь, ваше превосходительство. Виноват!

Мир — театр. Шекспир, определённо, прав. Беда, что в этом театре взялись играть какие-то глупейшие фарсы, в которые обратили всё, начиная с великой

трагедии и заканчивая мистерией... Актёры так усердствуют с гримом, боясь быть узванными, что обращаются клоунами, а подлинные клоуны щеголяют трагическими масками... Все играют чужие роли, к которым не способны, и в этом безумном маскараде насилу возможно разобрать что-то. Все преступники отличаются большими актёрскими способностями. Все самые кровавые тираны в истории были большими артистами, может быть, гениальными в своём роде. Должно быть, древние были в чём-то правы, считая актёрство ремеслом лукавого. Что же, дьявол, как известно, прекрасный актёр и старый театрал. Он легко принимает любой образ — даже ангельский — но не способен к созданию чего-либо. Он способен только играть, балаганить, передразнивать, смущая души и умы людей этой игрой. Но как много вдруг сделалось пустых, ни к чему не способных людей, только и занимающихся по жизни игрой, заучиванием необходимых поз, вздохов, жестов, слов. Им кажется, что маска заменит им их настоящую жизнь, которая им скучна. Талантливое актёрство на сцене может вызывать лишь восхищение, но в жизни — омерзение. Актёрство, конечно, тоже дар Божий, потому как дьявол бездарен и дать ничего не может, но именно этим даром он более всего любит пользоваться. Хотя какой дар человек не сумел бы обратить во зло? Стираются грани между жизнью и сценой, и бездарные паяцы, становясь в заученные позы, превращают мир в балаган, в кавардак, во что-то неопишное и напоминающее картины Иеронима Босха...

Передумав всё это, Вигель подумал, что, при желании, мог бы писать в газеты ничуть не хуже Любовицкого-Замоскворецкого, но желания уподобляться людям, во что бы то ни стало, норовящим чиркнуть что-нибудь в прессе, не было, и Пётр Андреевич решил, что мысли нужно просто не забыть

до вечера, а потом занести в дневник, если достанет времени и сил. Пока же нужно было разыскать Стиву Калиновского и задать ему несколько вопросов.

## Глава 4

Яков Маркович придирчиво оглядел только что привезённые по заказу театра фигуры древнегреческих богов. Очередная трагедия, которую репетировали уже месяц, должна была поразить всех красотой и богатством декораций. Стива сидел в углу и нервно курил, завидуя спокойствию и мастеровитости Якова Марковича, с которым он принялся налаживать им самим изобретённые механизмы передвижения нужных фрагментов декораций. Недаром этот беглец из белорусского местечка так настойчиво пытался получить диплом инженера. Отчего он так и остался недоучкой Стива толком не знал, но временами ему казалось, что этот недоучка мог бы не только заставляя двигаться по сцене деревянные фигуры, но даже изобрести аэроплан или какую-нибудь иную невидаль в духе Жуля Верна.

Вид Якова Марковича был весьма примечателен в этот момент. Кожаный фартук, высоченные валенки, бывшие любимой обувью бутафора, страдавшего болезнью ног — мастеровой, как есть, мастеровой. А в лицо посмотришь — ветхозаветный муж — крупный нос, чёрные глаза под вздёрнутыми бровями, выдвинутая вперёд нижняя губа, полностью скрывающая верхнюю, смуглая кожа, бородёнка реденькая, чернющая... Говорит Яков Маркович в нос, сглатывая безбожно отдельные буквы, но это не мешало понимать, что именно он говорит.

— Стива! Долго ты ещё намерен сидеть, как пыльный мешок? Что у тебя за трагедия?

— У меня друг погиб... — насупился Стива.

— Друг! То-то ты презирал его и насмехался.

— Да, насмехался... Но всё-таки он был мне другом.

— Твой дружок сыграл свою роль и покинул подмости — это естественный финал.

— Интересно, он хоть понимал, в какой пьесе играет...

— Ты дурак, Стива. У твоего дружка была своя пьеса! Моноспектакль! И лично мне совершенно не интересно знать, кто и зачем отправил эту бездарность к его праотцам.

— Зато следователя весьма волнует этот вопрос, и он уж очень настойчиво задаёт его мне! — Стива закурил папиросу. Следователь по фамилии Вигель явился на его горизонте накануне вечером, приехал прямо в театр сам, а не вызвал свидетеля к себе. С чего бы это? Или что-то проверить хотел? Стива, конечно, постарался произвести впечатление убитого горем друга, что от страха было не так уж и сложно. А следователь наседал:

— Что за лукулловы пиры вы посещали?

— Ах, почему же лукулловы? Просто дружеские суаре... Пили вино, разговаривали, веселились...

— Кто же ещё веселился с вами?

— А могу я не отвечать на этот вопрос? С нами были дамы...

— Даму вашего друга звали Марго Дежан?

— Да, его бывшая гувернантка.

— В каких отношениях они состояли?

— Поручиться не могу, свечки не держал. Но, должно быть, в любовных. По крайней мере, он сам на это намекал и... После ужина, мы обычно уединялись со своими дамами... Хотя некоторые и не считали это нужным...

— Подробности меня не интересуют.

— Лёня уходил с Марго в отдельный кабинет... Правда, он бывал к тому времени так пьян, что маловероятно, чтобы...

Внимательно смотрели синие глаза следователя. Ничего он не записывал, а только в памяти своей откладывал и словно пытался в душу заглянуть. Как боялся Стива этих расспросов о «суаре». Ведь и Стива не один приходил туда, а с Зизочкой, которую всем представлял как свой «лямур», хотя между ними ничего и не было. Но кого он ещё мог представить своим друзьям, каждый из которых хвастался благосклонностью дам, гораздо старших себя... Лёнька ничего лучше собственной гувернантки не нашёл. Хотя Марго, конечно, красавица редкая, но — гувернантка... Но об этом следователю знать не нужно.

— Стало быть, вас собиралось несколько человек, и вы хвастали друг перед другом взрослыми женщинами, которых вам удалось покорить?

Откуда узнал?! Неужто Марго разболтала?.. Она могла... Что ей скрывать... А если этот следователь уже докопался и ещё до чего-либо? Нет, молчит, только глазами сверлит, как удав кролика. С каждой минутой Вигель казался Стиве всё более неприятным и страшным.

— Откуда вы узнали?..

— Стало быть, всё верно... И долго существовал ваш клуб мальчиков Эдипов?

Издевается... Мерзавец!

— Когда вы встречались в последний раз? Не говорил ли Леонид о том, что ему угрожают?

Стива отвечал что-то, плохо контролируя себя, чувствуя, как синеглазый следователь давит его своим ледяным спокойствием. И, вот, теперь он уже в третий раз повторял вчерашний допрос Якову Марковичу, и снова тот начинал хохотать, чем оскорблял Стиву:

— Клуб мальчиков Эдипов! Ха-ха-ха! Нет, этот следователь острослов! Умный, видать, бестия! Это достойный противник! Клуб мальчиков Эдипов! Как он вас поддел-то! Как точно определил!

— Не смей смеяться! Как ты смеешь?! Тебе ли не знать, что я...

— Что тебе нет дела до женщин? Представляю, какое бы милое определение дал тебе персонально этот Вигель, если б узнал о твоих предпочтениях! Ты ведь очень злился, что твой дружок везде таскает с собой эту тётку, и тебе приходится следовать общей моде...

— Как ты смеешь смеяться?! Все люди созданы разными! Ты знаешь древнюю греческую легенду? Изначально были созданы женщины и мужчины, предпочитающие только представителей своего пола, и это было естественно. Потом был создан сверхчеловек, соединяющий в себе мужчину и женщину, но он попытался взобраться на Олимп, и тогда боги изменили его, соединив спинами, так, чтобы между ними не могло возникнуть любви. И тогда сверхлюди стали умирать. Боги сжалились над ними и разделили их. И эти половинки стали бродить по земле, ища друг друга. Из сверхлюдей они стали самыми слабыми из людей, тогда как их предшественники сохранили прежнюю силу и целостность! Поэтому мы первее и выше...

Громовой хохот Якова Марковича потряс бутафорную. Он хохотал залиvisto и никак не мог остановиться, но, наконец, выпалил, брызгая слюной:

— Где ты только понабрался этого бреда? Нет, ты расскажи это следователю! Вот, уж он получит удовольствие! Надеюсь, ты не повествовал об этом Зизочке? Она у меня женщина нервная, может вспылить.

— Да иди ты к чёрту! Я же для вас стараюсь! — затрясся Стива.

— Ты стал слишком налегать на кокаин. У тебя расстроены нервы, — сухо сказал Яков Маркович. — Будь добр, возьми топорик и помоги мне вскрыть ящички.

— Вскрывай сам! Ты же — бутафор! А я художник! — Стива резко поднялся и ушёл из бутафорной, слыша вслед громогласный хохот Якова Марковича, которого в этот момент почти ненавидел...

Откуда только вынырнула эта старая дура, словно нарочно пряталась, следила из темноты! А, может быть, и на самом деле — следила?.. О, она могла! Ещё как могла! Едва переступив порог своего нового дома, Анна Платоновна почувствовала неприязнь мужниной свояченицы и сама ощутила к ней смесь презрения и раздражения. Старые девы всегда раздражали её. Богобоязненные, в особенности. Конечно, что остаётся этим несчастным, обиженным боженькой красотой, умом и вниманием мужчин? Только класть земные поклоны и жечь лампады у суровых, неживых икон, которые всегда навевали на Анну Платоновну тоску. И сама Лариса Дмитриевна казалась такой же неживой, как они, сухая и чёрная, как монашка, и ладаном от неё пахло. И хотя никогда слова дурного старуха не сказала молодой красавице, а только глазами следила, и всё читала в этом взгляде Анна Платоновна.

— Ты бы, Лариса, съездила куда-нибудь, — сказала она ей как-то, лёжа на турецких шёлковых подушках, разбросанных по ковру. Лариса Дмитриевна стояла над ней, словно изваяние, перебирая простые деревянные чётки.

— Это куда же ты меня отправить хочешь?

— А хотя бы за границу? В Баден-Баден, на воды... Или в Париж...

— Спасибо за заботу. Мне и здесь хорошо.

— Так уж и хорошо? Неужели тебе не скучно?

— Где ж скуке-то взяться, милая моя, если дел без счёта, и весь дом на мне, а ещё и Бога позабыть никак нельзя! Я бы и уехала от вас. Да не в Париж, а в глушь, в имение наше. Там роща берёзовая... Чудная... Стану я



в ней, как в храме белом, свет сквозь листву, что от икон пречистых, а молитва сама собой так и льётся...

— Какой там свет от твоих икон? Мрачность одна.

— Это не в них мрачность, а в очах у тебя, в душе, — вздохнула на это старуха. Но не упрекнула, не осудила. И это только пуще раздражало Анну Платоновну. Эта манера Ларисы Дмитриевны относиться ко всем с лаской и снисхождением матери к болящим и шалящим чадам казалась ей насквозь лживой, лицемерной, почти оскорбляла её.

И, вот, этой ночью подумалось Анне Платоновне, что теперь «монашка» отомстит ей за всё. Душа подскочила и ушла в пятки, когда из темноты послышался негромкий, глуховатый голос:

— Аня, что ты делаешь?

Анна Платоновна резко обернулась, быстро притворила створки шкафа умершего пасынка, в котором перерыла уже всё, включая ящик с бельём, но не нашлась, что ответить. Старуха стояла перед ней, худая, в чёрном платье, в платке, наброшенном на мёрзнувшие плечи, сжимая в руках свечу, в свете которой лицо её казалось восковым. Поединок взглядов продолжался несколько минут. Затем Лариса Дмитриевна опустилась на край кровати Лёнички и сказала:

— Ты искала его дневник, милая?

— Так он у тебя?! — в голосе Анны Платоновны звякнули нотки бешенства.

— Нет, я полагала, что именно ты забрала его, Аня. Тебе ведь он очень был нужен. Ты боялась, что несчастный мальчик написал там правду о тебе... О том, с кем ты проводишь время, когда твой муж на службе... Ты боялась, что там написано о Викторе, не так ли?

— Откуда ты знаешь? Ты что, следила за мной, да?! Ах, как же я тебя ненавижу! Ты всегда мне завидовала!

— Я тебя жалела.

— Постой... Если ты всё знала, то почему же не рассказала Константину? Не раскрыла ему глаза?

— В жизни, Аня, очень много горя. К чему его умножать? Я не хочу никому зла. Я не выдам тебя, но, милая, всё тайное однажды становится явным. Подумай об этом... — Лариса Дмитриевна встала и направилась к двери.

— Я не убивала Лёню, — зачем-то сказала ей вслед Анна Платоновна.

А утром снова приехал этот несносный старик-следователь, с какой-то бульдожьей, совсем не подходящей его летам хваткой. Приехал, чтобы говорить разом и с ней, и с Константином Алексеевичем.

— Первое, чтобы я желал знать, это добросовестно ли вы заблуждались или сознательно вводили следствие в заблуждение относительно Марго Дежан? — с места в карьер начал Немировский.

— Что вы себе позволяете?! — нахмурился Константин Алексеевич. — Я не позволю оскорблять меня и моей жены подозрениями... Что наплела вам эта гувернантка?

— Боюсь, что сущую правду: никаких отношений с вашим сыном у неё не было.

— То есть вы верите ей больше, чем мне?!

— Дело не в вере, генерал, а в медицинском заключении, данном после осмотра тела вашего сына. Леонид имел определённую болезнь, для разрешения от которой требовалось хирургическое вмешательство. И до оногo вмешательства он физически не мог иметь серьёзных отношений с женщинами. Вы знали об этом?

— Нет! Разумеется, не знали! — развела руками Анна Платоновна, косясь на мужа.

— Генерал?

— Нет, мне не было это известно...

— Странно! Ведь доктор, который пользовал вашего сына, был в курсе этой проблемы.

Когда только успел всё узнать! Кажется, он и глаз не сомкнул этой ночью, а только выискивал, рыл носом землю — совсем не подобает так работать в его возрасте!

— Он ничего не говорил мне...

— Но доктор заявляет обратное.

— Проклятие! — Константин Алексеевич вскочил с места и нервно заходил по комнате. — Мне плевать, что и кто вам заявляет! Моя жизнь всецело принадлежит службе, и на дела домашние у меня просто не достаёт времени!

— Насколько мне известно, домашними делами в вашем доме занимается ваша свояченица?

— Да, все заботы лежат на ней.

— Послушайте, генерал, в вашей семье произошли два убийства. Я не думаю, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы они остались не раскрытыми. Почему же вы не хотите мне помочь?

— Потому что вы не там ищите! Вместо того, чтобы искать убийцу, вы суёте свой нос в жизнь порядочных людей, роетесь в их белье!

— Простите, генерал, но я выполняю свою работу. Я полвека отдал следственному делу, и, поверьте, знаю, что и для чего делаю. С первого моего визита вы пытаетесь что-то скрыть от меня, запутать следствие. И меня интересует причина столь странного поведения.

— Может быть, вы нас подозреваете в этих убийствах? — саркастически усмехнулся Константин Алексеевич.

— Вас, генерал, нет. Поэтому-то я и хочу понять, кого и зачем вы выгораживаете.

— Я никого не выгораживаю. Что касается мадемуазель Дежан, то, вероятно, я был просто введён в заблуждение тем, сколько времени она проводила с

моим сыном... Я не думал, что недуг его столь серьёзен! Все в нашем доме предполагали то же самое...

— Не все. Ваш сын Серёжа, например, ни секунды не предполагал этого.

— Об этом паяце я не желаю и слушать!

— Генерал, нам известно, что вы нашли у вашего сына Леонида некоторые составные части взрывчатого вещества. Среди них был цианид?

— Я не понимаю, о чём вы говорите.

— Вы прекрасно понимаете, — голос следователя зазвучал жёстко. — Нам необходимо знать происхождение цианида, которым был отравлен ваш сын. Если это тот самый цианид, то, следовательно, им мог воспользоваться только человек, знавший, где он хранится.

— Ах, у меня голова разболелась невыносимо... Я пойду приму лекарство... — сказала Анна Платоновна.

— Я прошу вас задержаться, сударыня. К вам у меня также есть несколько вопросов.

— Я непременно отвечу на них... Но имейте сострадание... Мне дурно... — Анна Платоновна поднесла руку к голове и начала оседать на пол, искусно изображая обморок. Константин Алексеевич подхватил её и, уложив на диван, обратился к Немировскому:

— Вот, видите, господин следователь, до чего вы довели мою жену! Имейте же, наконец, совесть! Я лишился одного сына и почти потерял другого, а вы пытаете нас какими-то сумасшедшими домыслами! Терзаете честных людей вместо того, чтобы ловить настоящих преступников! Покиньте мой дом, пожалуйста!

Немировский легко поднялся из-за стола, кивнул своей белоснежной головой и отчеканил с каменным выражением лица:

— Честь имею! Но этот разговор мы продолжим!

Когда шаги следователя затихли, Анна Платоновна приоткрыла глаза и застонала:

— Ах, Боже мой, Константин, как это всё кошмарно... У этих ищеек нет ничего святого! Этот ужасный следователь! Он всех, всех нас подозревает! Это безбожно! Какой скандал! Они, они смешают с грязью наше имя... Нет, это невозможно, невозможно!

— Успокойся, Нюсенька! — ласково заговорил Константин Алексеевич. — Хочешь, я принесу тебе воды?

— Нет, я уже ничего не хочу... Мы так счастливо жили, и вдруг...

— Откуда он узнал о взрывчатке?

— Константин, как же ты наивен! Разумеется, это она ему рассказала!

— Лариса?

— Кому же ещё?! Послушай, она слишком много знает и слишком много говорит. Она всегда мечтала уехать в имение, жить в глуши. Отправь её туда! Милый, я сама буду вести хозяйство! Я справлюсь, вот увидишь!

— Но, Нюсенька, не могу же я так вдруг выгнать её из дому... — развёл руками генерал.

— Вдруг?! Она разболтала следователю наши семейные тайны! А если она ещё что-нибудь расскажет? Ведь это может повредить твоей репутации! Твоей карьере! — Анна Платоновна заплакала.

— Нюсенька, прошу тебя... Я подумаю, как правильно поступить с Ларисой. По крайней мере, не могу же я выгнать её до похорон Михаила и Лёнички... Как-никак она вырастила их... А после похорон я придумаю, как её спровадить...

Анна Платоновна обняла мужа, поцеловала его в щёку и склонила голову на плечо:

— Ах, мой дорогой, скорее бы закончилась эта ужасная история. Слово какая-то бездна разверзается,

чтобы поглотить нас... Мне так страшно! Мне начали сниться кошмары.

— Нюсенька, девочка моя, тебе надо взять себя в руки. Я не допущу, чтобы они изводили тебя и всех нас. Ты права, господин Немировский переходит границы. Я не сторонник того, чтобы прибегать к помощи высокого начальства, но каждое правило имеет исключение. Этот Немировский ведёт себя так, точно мы какая-то заваль из его обычного контингента, но он забывается! Я генерал Дагомыжский, я на обеде у Императора имел счастье лично говорить с Его Величеством, моё имя в России известно, и я не позволю всяким ищейкам марать его.

— Что ты хочешь сделать?

— Я обращусь к генерал-губернатору. Он мой друг и не откажет мне в помощи. Пусть передадут дело какому-нибудь другому следователю. А с господином Немировским я более не желаю иметь никаких сношений.

— О, мой дорогой, как же я тебя люблю! — выдохнула Анна Платоновна, ещё ближе и нежнее прильнув к мужу. — Я знаю, как тебе тяжело, но всё пройдёт, мы справимся со всеми трудностями. Ведь правда?

— Конечно, Нюсенька! Кавалерия не сдаётся! — браво заявил генерал и чуть слышно добавил: — Она только погибает...

Если бы кто-нибудь в разгар Балканской войны предрёк генералу Дагомыжскому такое испытание в старости, Константин Алексеевич счёл бы подобное пророчество за оскорбление. Последние три дня тяжеленным колесом проехали по его сердцу. В заботах и хлопотах боль затуплялась, но, когда генерал остался вечером один в своём кабинете, то стиснул голову и застонал, как раненый зверь. Леонид всегда доставлял

отцу много неприятностей. Генерал даже стыдился, что этот слабоумный, хилый отрок — его сын. В кого он уродился таким? Даже и не в мать, мудрую, добрую женщину, которую Константин Алексеевич встретил ещё в чине поручика и покори́л гусарским натиском... Какое счастье, что она не дожила до всего этого! Все надежды генерал возлагал на старшего сына. Но Серёжа не оправдал их. Он отказался от военной службы, предпочтя скамью института. Но это можно было бы ещё пережить, но с актёрством сына генерал примириться не мог. Это был удар не менее сильный, чем смерть Лёнички, а, может, и более. В один день Дагомыжский лишился двоих сыновей, и теперь в ночном полумраке он вдруг явственно ощутил страшное одиночество, в котором оказался. Конечно, рядом с ним была ещё его Нюся. Никогда он так не нуждался в ней, не ощущал её близости, как теперь. Поэтому и впервые позволил ей влиять на себя, боясь что неуёмные ищейки отнимут у него последнего родного человека... К боли от потерь примешивалось и другое, также мучительное и ранее незнакомое чувство — стыда. Генерал Дагомыжский стал лжесвидетелем, скрыл от следствия детали, которые знал. Но неужели они столь важны? Может быть, и вовсе не имеют отношения к делу? А ведь какое пятно... А если — имеют?..

Константин Алексеевич поднялся, подошёл к бюро, открыл потайной ящик, порылся в нём и закусил губу: того, что он искал, там не было... Значит, кто-то взял, кто-то, кто знал, кто-то из его семьи... Даже мозг отказывался думать об этом, а душа принимать. Генерал достал бутылку дорогого коньяка и, наполнив стакан, выпил его залпом. Но это не помогло. Мысль не отпускала... Значит, следовательно был прав в своих подозрениях... А если бы ему удалось узнать правду? Вот, уж тогда был бы скандал, от которого не отмыться и не оправиться... Может, лучше и не знать ничего?

Константин Алексеевич опустил в кресло, упёрся локтями о стол, опустил свою красивую, благородную голову. Неужели так рассуждает он, прославленный герой, без страха мчавшийся в одиночку на цепи башибузуков? Неужели так измельчал он душой за это время? Неужели стал трусом? Нет, он и теперь бы мчался точно также впереди своих войск, показывая пример подчинённым, случись война... Но мир страшнее войны. Гораздо страшнее. О, если бы теперь война! Ведь вконец испоскудился народ... От скуки больше людей Богу души отдаёт, чем на войне... Хоть бы война началась! Но теперь, теперь что делать? Следователь Немировский больше досаждать не будет... И это — кажется, первая подлость в жизни генерала. Знал, что неправое дело делал, а всё-таки не остановился. Испугался. Испугался правды... А что же, лучше жить во лжи, жить, зная, что рядом — убийца и предатель — и мириться с этим? Или попытаться выяснить и принять меры самому? Или... Взгляд генерала остановился на лежащем в углу стола револьвере. Пустить пулю в лоб и дело с концом. Благородная офицерская смерть. Такая — многое спишет... Мёртвые сраму не имут.

— Я увидела у тебя свет, и поняла, что ты не спишь...

Лариса... Вошла, как тень — он даже не заметил. Кажется, ещё больше высохла она за эти три дня, вокруг глаз — круги чёрные. И сама — чёрная — как смерть... Но генерал почему-то почти обрадовался, увидев свояченицу.

— Да, не спится. А ты что же по ночам ходишь?

— Не могу уснуть. Аня приняла снотворное, а я не хочу... Ты, может быть, чаю хочешь?

— Нет, спасибо. Лариса, это ты рассказала следователю о том деле?

— Да, я...

— Зачем? Ведь я запретил болтать!



— Зачем? — в глазах Ларисы Дмитриевны блеснули слёзы. — Потому что мне страшно! Страшно за тебя! Неужели ты не понимаешь, что всё это связано? Зачем ты пытаешься скрыть это от следователя? Ведь он мог бы помочь...

— Помочь? — генерал нервно рассмеялся. — О, эти господа мне помогут! Нет уж увольте-с от такой помощи! Я не желаю, чтобы моё имя таскали и топтали разные там... К чёрту! И тебя я прошу больше не откровенничать с этой публикой ради спокойствия нашего дома!

— Разве в нашем доме есть спокойствие?

— Я приказываю тебе молчать, Лариса! Да, вот ещё что... Нужно проведать имение... Мне недосуг, поэтому поезжай ты...

— Отправляешь меня в ссылку?

Константин Алексеевич ничего не ответил, чувствуя, что с отъездом свояченицы, которая жила в его доме долгие годы, останется совсем один на один со своими бедами и страхами. Но не делиться же было ими с женщиной!

— Хорошо, я уеду, если тебе так угодно, — тихо сказала Лариса Дмитриевна. — Только, с твоего позволения, я всё же дождусь похорон, а уж потом...

— Да-да, конечно, — торопливо согласился генерал, радуясь, что не последовало слёз и упрёков. — Об ином и разговору быть не может.

Лариса Дмитриевна кивнула и, поглядев устало, добавила почти шёпотом, уходя:

— Ты уж не пей много... И убери этот ужасный револьвер куда-нибудь... Это ведь не поможет... Это — обман...

Вот ещё, советчица... Так привыкла быть нянькой при детях, что и к прочим людям со своей опекой лезет, словно её кто просит... Тем не менее, револьвер был убран в ящик. Обернувшись к стоявшим в тёмном углу

иконам, Константин Алексеевич тяжело опустился на колени, перекрестился и заплакал:

— Господи, милостив буди мне грешному! Прости мне окаяинства мои! Вразуми...

— Вот, братцы мои, и дожил до светлого дня: отстраняют меня от дела, — говорил Николай Степанович, меряя шагами кабинет и постукивая пальцами по крышке тавлинки. — Перегнул палку, видите ли... Не думал я, что генерал Дагомыжский дойдёт до низости обращаться за помощью к самому генерал-губернатору...

— Непонятно, за каким лешим, горой его раздуй, ему-то всё это нужно? Не он же, в самом деле, порешил собственного сына и племянника! — задумчиво произнёс Романенко, теребя кончик уса.

— Значит, боится скандала, огласки. Если бы удалось всё повесить на француженку, он был бы очень доволен. Тоже, конечно, шумиха была б, но хоть без пятна на фамилии... Честь семьи была бы спасена!

— Своеобразное понятие о чести, — заметил Вигель. — Дело теперь должен вести я. Но я откажусь, Николай Степанович.

— Нет, Пётр Андреич, не откажешься. Это я ходатайствовал, чтобы именно тебе передали это дело. У меня тоже — честь. Профессиональная. И, как бы генерал ни препятствовал мне, я хочу раскрыть это дело. Если оно окажется в чужих руках, то неизвестно, как повернётся. Возьмётся за него какой-нибудь дурень или карьерист — и пиши «пропало»! Посадят невинного, и взятки гладки! Никто не ворохнётся! А ты уж этого не допустишь! И меня будешь в курсе держать, пока я в вынужденном отпуске ворон считать буду.

— Как скажете, Николай Степанович, — согласился Вигель. — Но какова же наша стратегия?

Немировский опёрся ладонями о подоконник, прищурил левый глаз:

— В генеральский клоповник пока не суйся. Пущай их... Лучше разузнай получше всё об этом художнике... Как его бишь?

— О Калиновском?

— О нём. Ведь откуда-то же притащил покойный Лёничка революционные прокламации и взрывчатку.

— Вы думаете, Калиновский в этом замешан?

— Не знаю. Но с ним Леонид был теснее всего связан, они хороводились в одном обществе. Я хочу знать, что это за общество. Кто бывал там ещё. Может быть, там-то и снюхался генеральский отпрыск с какими-нибудь, прости Господи, революционерами. Помните Каракозова? Ведь они свой план не где-нибудь разрабатывали. А в нашей родной Москве! В «Аду»!<sup>11</sup> Более подходящего места и найти нельзя было... И на кого, интересно, рассчитана была взрывчатка? Да, чуть не забыл. Нужно запросить в архивах Н...ой области подробности о том бунте, который подавлял генерал. Вдруг это как-то связано...

— Завтра же утром я отправлю запрос, — сказал Пётр Андреевич. — Но мне плохо представляется, как в эту революционную пьесу вписывается Михаил Дагомыжский?

— В этой пьесе пока что ни одно действие не увязывается с другим, — поморщился Николай Степанович. — Кстати, ещё один вопрос, который меня крайне интересует: куда делся дневник Леонида Дагомыжского? Точнее, кто его взял и зачем?

— Зачем — понятно. Чтобы кто-то не прочёл там нечто, представляющее угрозу для того, кто этот дневник взял, — отозвался Вигель.

— Да, этот дневник на многое мог бы пролить свет... Вот что, Василь Васильич, ты у нас артист своего дела

известный. Попробуй ты втереться в доверие к кухарке Дагомыжских и, вообще, к прислуге. Слуги часто многое могут порассказать о своих хозяевах. Мало ли... Кто-то что-то видел, слышал. Нужно, наконец, разрушить этот заговор молчания.

— А вот это с превеликим удовольствием, Николай Степанович, — улыбнулся Романенко. — Всегда любил работать с людьми при полном маскараде! Если эта кухарка что-нибудь знает, то буду знать и я. Только...

— Что только?

— Она хоть не совсем урод, кухарка ваша?

— Не совсем, — многообещающе кивнул Немировский.

— Ладно, чем не пожертвуешь для пользы дела, — рассмеялся Романенко. — Завтра же приступлю к соблазнению. Только поличие и амуницию соответственную подобрать надобно.

— Ну, ты уж, Вася, подберёшь. Ты у нас артист известный. Я всегда говорил, что подмости по тебе горькими слезами плачут!

— Так сыскное дело — тоже, в своём роде, подмости! Тут уж кого только ни наиграешь! Вот я, к примеру, и извозчиком «Ванькой» был, и мастеровым, и лавочником, и нищим, и богатым купцом, и попом, и рабочим, и даже дворянином! Любой актёр позавидует!

— Талант ты, Вася, что и говорить, — улыбнулся Николай Степанович. — На то и надеюсь.

— Так уж я оправдаю! Уж я их в разделку так всех возьму, что они мне всё на блюдечке принесут! А теперь разрешите идти? Мне ещё насчёт амуниции помозговать надо.

— Иди, иди, Щепкин, — усмехнулся Немировский.

— Николай Степанович, я всё-таки думаю, что корнета Тягаева можно отпустить, — сказал Вигель, когда Василь Васильич ушёл.

— Согласен. Скажу более, я даже думаю, что и Разгромов не имеет отношения к нашему делу. Но обожди несколько дней. Не стоит начинать работу над делом с отпускания главных подозреваемых, а то, не дай Бог, на тебя что-нибудь накропают и отстранят.

— Что же лучше ради страха иудейска невинных людей под арестом держать? — нахмурился Пётр Андреевич.

— А ты, братец, доказал их невинность? Нет! Все твои доказательства — это отсутствие прямых улик против них и твоя личная убеждённость, которую к делу не пришьёшь.

— Тягаев был под арестом, когда убили Леонида Дагомыжского.

— А кто доказал, что эти два убийства связаны?

— То есть как?

— То есть так! Что если кто-то убил Лёничку именно теперь только для того, чтобы мы увязали это дело с гибелью подпоручика и пошли по неверному следу?

— Вы полагаете, что дело обстоит именно так?

— Не знаю, Пётр Андреич. Но исключать этого я не могу. Мы должны предполагать и прорабатывать любые версии. Допустим, кто-то сгоряча убил поручика. А ещё кто-то, имевший зуб на Лёничку, решил воспользоваться моментом... И тогда выходит что мы имеем два дела, двух убийц, два мотива.

— Интересный выходит натюрморт...

— Именно, что натюрморт! И натура вся — гнилая... Очень уж много гнили в этом деле. Адюльтеры, мальчики Эдипы, революционеры, сумасшедшие, пророки... — Немировский взял со стола книгу. — Этот том Лермонтова младший Дагомыжский зачитывал до дыр. Я также внимательно его пролистал. Хочешь знать, какие фрагменты особенно подчеркнул Леонид?

— Какие же?

— А вот послушай, — Николай Степанович надел очки.

— ...Как демон мой, я зла избранник,  
Как демон, с гордою душой,  
Я меж людей беспечный странник,  
Для мира и небес чужой;  
Прочти, мою с его судьбою  
Воспоминанием сравни  
И верь безжалостной душою,  
Что мы на свете с ним одни.

...И вижу гроб уединенный,  
Он ждет; что ж медлить над землей?  
Никто о том не покрушится,  
И будут (я уверен в том)  
О смерти больше веселится,  
Чем о рождении моем...

Настанет день — и миром осужденный,  
Чужой в родном краю,  
На месте казни — гордый, хоть презренный —  
Я кончу жизнь мою...

Средь бурь пустых томится юность наша,  
И быстро злобы яд ее мрачит,  
И нам горька остылой жизни чаша;  
И уж ничто души не веселит.

...Он умер. Здесь его могила.  
Он не был создан для людей...

— Любопытно...

— И на какие мысли наводят тебя эти цитаты?

— Хозяин этой книги имел сильнейший суицидальный синдром.

— Правильно!

— Пойдите, Николай Степанович, уж не думаете ли вы...

— С чего мы сделали вывод о том, что имеем дело с убийством, а не самоубийством? С того только, что не обнаружили предсмертной записки? Но ведь её могли украсть! Предположим, что эта записка могла опорочить кого-либо, и этот кто-то успел изъять её вместе с дневником.

— Может быть, стоит поделиться этой версией с генералом?

— Нет, пока не стоит, — Немировский снял очки и отложил книгу. — Что если записку взял именно он? Может быть, в ней содержалось нечто такое, что могло бы навредить ему в случае огласки, которой при наших вездесущих «Замоскворецких» очень трудно избежать? Нет, до времени не нужно вовсе делиться нашими версиями с кем-либо из этого дома.

— Скажите, Николай Степанович, а почему вы не сказали генералу о связи его жены с Разгоровым?

— Ты уверен, что это относится к делу?

— Нет, — неуверенно ответил Вигель.

— И я не уверен. Зачем же тогда рассказывать? Честно скажу тебе, Пётр Андреич, здесь я руководствовался сугубо гуманистическими соображениями. Посуди сам, в один день человек лишается одного сына, узнаёт о позорящей его, как ему представляется, деятельности второго, а я, как кат какой-нибудь доломаю ему хребет известием о неверности жены. Пока нет следственной необходимости, не считаю нужным вторгаться в подобные вещи...

— Стало быть, пожалели, — вздохнул Пётр Андреевич. — А он вас отблагодарил...

— Сей низкий поступок останется на его совести. Я не думаю, что он будет гордиться им. Генерал Дагомыжский, как ни поворачивай, герой и человек незаурядный. Мне кажется, он просто запутался. А к тому же поддался влиянию молодой красавицы-жены, что нередко бывает. Я не держу на него зла. Мне, может быть, следовало вести дело более аккуратно...

— Вечно вы находите, в чём себя упрекнуть, Николай Степанович...

— Безупречен только Господь Бог. Когда человек начинает считать себя безупречным, то он или помешанный, или круглый дурак. Кстати, о помешанных. Мы совсем забыли о нашем проповеднике.

— Прикажете поработать с ним?

— Нет. Этим гнилым овощем в нашем натюрморте я займусь сам.

— Сами? — удивился Вигель.

— Сам. Привлечь его у нас пока нет никаких оснований. Ну, несёт человек какую-то околесицу. Так это не преступление. У нас сумасшедший, проповедующий такой же бред, сделался пророком и учителем нашего времени, что само по себе о нём свидетельствует весьма печально! Ну, собирается его послушать разная сучающая и истеричная публика. Тоже — дело добровольное. Преступлением не является. У нас свободы уважают: каждый волен сходить с ума, как ему заблагорассудится. Так что остаётся наведаться к этому господину в качестве частного лица и потолковать с ним... Кстати, ты знаешь как найти Замоскворецкого?

— Проще простого. Он квартирует у Ильинских ворот, аккуратно позади Лубянской площади.

— Прекрасно. Этот подлец может мне пригодиться. Все эти «пророки» любят деньги и славу. Денег у нас нет, а наш борзописец может посулить ему очерк в



какой-нибудь мерзкой газетёнке... Как знать, может быть, он и клюнет на это?

— Может быть...

— Вот и ладушки. Ох, не наломать бы нам валежнику, а то жарко придётся. Утро вечера мудренее. Домой пора. Ася, должно быть, заждалась нас. А мне ещё собак покормить нужно.

Вигель с улыбкой посмотрел на проворно засобиравшегося Николая Степановича. «Кормление собак» было ритуалом, которого старый следователь не нарушал никогда. Он был человеком, которого в Москве, в прямом смысле слова, знала каждая собака. Чудеснее того было, что и сам Немировский знал, кажется, каждого пса по кличке. Когда ему случалось прогуливаться пешком, то несколько псов обязательно бежали следом за ним. Когда он болел, целая свора собиралась у его дома, и Соня, ворча и качая головой, выходила кормить их, выполняя строгий наказ «барина»...

— А знаете, Николай Степанович, прямо-таки обидно стало мне за Лермонтова, — сказал Пётр Андреевич.

— Почему?

— Из всего, что он написал, этот юнец вытянул лишь самое мрачное и безысходное... Ведь не обвёл он почему-то «Молитву», а сколько в ней света, сколько красоты...

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою  
Пред Твоим Образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника в мире безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную;  
Дай ей спутников, полных внимания,  
Молодость светлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному  
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —  
Ты воспрять пошли к ложу печальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.

## **ЧАСТЬ 2**

## Глава 1

Массивная старинная мебель красного дерева, портреты и фотографии в дорогих бронзовых с золотом рамах, на столе — книги, письма, газеты... Ничего не изменилось в этом кабинете после смерти его хозяина, как не изменился и весь особняк на Малой Дмитровке, известный в Москве, благодаря художникам, поэтам и актёрам собиравшимся здесь. Малая Дмитровка, вообще, была известна своими жителями, и люди искусства бывали здесь довольно часто. Широко известен был дом Ляпина, всегда распахивающий двери для полуголодных студентов художественного училища. Дом Тягаева пользовался схожей славой, только публика собиралась в нём более избранная, и нравы царили более строгие, чем у любящих покутить «ляпинцев». Сергей Сергеевич заботился о своих подопечных, может быть, больше, чем о родных детях. Стоило появиться у него какому-нибудь забулдыге-художнику, не утратившему искры Божиего дара, и вскоре его нельзя было узнать. Его немедленно вели в баню на Кузнецкий мост, шили ему приличный костюм, кормили, после чего Тягаев непременно делал ему первый заказ, щедро оплачиваемый, трудоустраивал, а, если художник оказывался очень талантливым, даже проводил его выставку. На похороны сердобольного мецената собрались почти все его «питомцы», многие плакали...

И, вот, теперь за его столом сидела тонкая, бледная женщина в синем габардиновом платье и тщетно пыталась сосредоточиться на разложенных бумагах. Просьбы о помощи, проведение выставки... Как разбирался с этим Сергей Сергеевич? Как бы поступил он теперь? И вспоминалась Ольге Романовне

погрузневшая в последние годы жизни, когда ноги уже отказали ему, фигура мужа в накрахмаленной сорочке, тёплом халате и ермолке с кисточкой, склонившаяся над этим столом за внимательнейшим изучением каждого письма. А тогда ведь ещё приходили к нему люди! И хотя заботу о них поручал Сергей Сергеевич слугам, а считал долгом с каждым побеседовать лично. Как хватало ему сил, времени? В последний год ему даже с постели было подняться сложно, а всё-таки поднимался, и слуги усаживали его в кресло и везли в этот кабинет, который он не покидал до вечера, работал, пил кофе, манкируя запретами врачей, обедал, а после обеда Ольга читала ему вслух, и он ненадолго засыпал.

Никогда и ни в чём Ольга Романовна не позволила себе огорчить мужа, считая себя виноватой уже тем, что согрешила перед ним, пойдя под венец после того, как принадлежала другому, и тем ещё, что не сумела прогнать этого другого из сердца. Должно быть, Сергей Сергеевич догадывался об этом, но прощал: ведь и сам он женился на Ольге, зная о её любви к другому... Более заботливого мужа трудно было и представить. Тягаев боготворил жену, порой казалось, что он и дыхнуть на неё не смеет. Когда после рождения Лидиньки Ольга Романовна тяжело заболела, Сергей Сергеевич сутки напролёт не отходил от её постели, сам выхаживал её, не доверяя чужим рукам, не зная отдыха. Ольга помнила его исхудавшее за это время бледное лицо с красными от слёз глазами. Он боялся потерять её до умопомрачения, и она поправилась. За годы совместной жизни Ольга Романовна всей душой привязалась к мужу. Это была не та любовь, о которой пишут в романах, и которую испытала она некогда, но бесконечное уважение, благодарность, отчасти дочерняя любовь. К тому же Ольга стала интересоваться делами мужа, вникать в них, их

интересы стали общими, и разница в возрасте почти перестала ощущаться.

Незадолго до смерти Тягаев подозвал жену. Она опустилась на колени рядом с его креслом, он ласково погладил её по голове:

— Ты свет всей моей жизни. Я не думал, что такое счастье возможно... Ведь я ничем не заслужил тебя. Ты прости меня, если что было не так... Я, может быть, виноват перед тобой, я похитил твою молодость...

— Не смейте говорить так... Я была счастлива с вами. Я люблю вас... Вы сделали для меня больше, чем мог кто-либо. И простите меня — вы, — ответила Ольга со слезами, целуя руки мужа.

— Милая моя девочка... Я скоро умру. Я знаю, что скоро... Ты останешься одна... Ты ещё так молода, Олюшка... Если ты встретишь достойного человека, то, знай, я благословлю вас...

— Что вы говорите...

— Ты дала мне счастье. Я уже одной ногой стою в могиле. И единственное, что ещё волнует меня на нашей брэнной земле, — это твое счастье. Я ответственен за тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Противного же я себе не прощу... А сейчас подай мне образ.

Ольга Романовна подала мужу образ Богоматери Почаевской, и Сергей Сергеевич благословил её им:

— Да сбережет тебя Царица Небесная!

Сергей Сергеевич скончался через день после этого разговора. Скончался, сидя в этом кресле, после обеда, когда Ольга Романовна читала ему по его просьбе Евангелие от Луки...

Прошло совсем немного времени, и случилась эта встреча в театре. Когда Ольга увидела Петра Андреевича, то почувствовала, как часто заколотилось сердце в груди, и пересохло от волнения во рту. Эта случайная встреча разбередила душу, и не было дня с

той поры, чтобы Ольга Романовна не вспомнила о Вигеле. А Лидинька, не по летам востроглазая и пытливая девочка, смотрела на мать с подозрением.

— Кто такой этот господин Вигель?

— Я же сказала тебе, друг детских лет...

— Почему же он не бывал у нас?

— Так сложилось...

— Мне он не понравился.

— Почему?

— Ты же сама сказала, что он служит в полиции! Следователь! — Лидинька наморщила нос. — Все полицейские служат тирании и преследуют лучших людей!

Господи, где же она набралась этого? Неужели от отцовских подопечных? Среди них многие отличались вольнодумством, а Лидинька слушала во все уши... Тирания! Кто их тиранил? Вот, побочная сторона слишком тесных отношений со всей этой братией... Сергей Сергеевич всегда питал уважение к Царской фамилии, хотя и разделял отдельные либеральные идеи, считая необходимыми многие реформы. А Лидинька? Добро бы ещё только Царь вызывал её раздражение, но недавно она убрала из своей комнаты иконы, заявив, что в Бога больше не верит. Это был удар для Ольги Романовны. Она вдруг почувствовала, что дочь непоправимо и безвозвратно отдалилась от неё, стала чужой, что студенческие сходки роднее ей собственного дома... Что было делать? Запрещать? Бесполезно теперь — только пуще озлобить... Отчего же так вышло? Вероятно, сама Ольга Романовна виновата в этом. Она обожала сына и всегда уделяла ему гораздо больше внимания, чем дочери... А Сергей Сергеевич был занят благотворительностью... А Лидинька росла, лишённая необходимого родительского внимания, варясь в вольнодумном соку отцовских гостей, читая вольнодумные книги... Девочке

четырнадцать лет, а смотрит она взглядом серьёзным, говорит, словно рубит, чеканно и безапелляционно, волосы остричь грозитя... И не хватало матери ни сил, ни воли бороться с этим. Только смотрела грустно, качала головой и отмалчивалась, словно понимая — отрезанный ломоть обратно не пришьёшь...

А тут ещё случилось это несчастье с Петей. И Лидинька сама не своя сделалась.

— Вот, она — полиция! Только невинных и истязает! Палачи!

— Лида, успокойся! Это ошибка, они во всём разберутся, и Петю отпустят, — говорила Ольга Романовна дочери, а у самой сердце обрывалось: а если не разберутся, если не отпустят?.. Пойти к Петру Андреевичу? Поговорить с ним? Попросить?.. Нет, какое она имеет право... Нужно подождать: может, всё и выяснится.

Этим утром Ольга Романовна заметила первые серебряные нити в своих золотистых волосах. Выпив кофе, она принялась разбирать почту, скользила бесчувственным взглядом по расплывающимся строчкам и тщетно пыталась сосредоточиться на них. В кабинет на цыпочках вошёл старик-слуга, приученный ходить бесшумно покойным барином, службу при котором начинал ещё крепостным:

— Барыня, там к вам из полиции пришли. Коллежский советник Пётр Андреевич Вигель. Прикажете принять?

Кровь прилила к лицу. Ольга Романовна быстро сняла очки, поправила причёску:

— Зови!

Он вошёл в комнату твёрдой, решительной походкой, каблуком шаркнул, поклонился учтиво... Нет, уже не тот влюблённый юноша стоял перед Ольгой Романовной, но красивый мужчина в самом расцвете сил, высокий, статный, и мундир идёт ему необычайно...



Лицо посуровело, больше решительности, воли стало в нём, а глаза — те же. Синие-синие, яркие, как весеннее небо, каким оно бывает, когда мы молоды и счастливы...

— Здравствуйте, Пётр Андреевич.

— Не хворать и вам, Ольга Романовна.

— Прикажете подать чаю или кофе, или, может быть, желаете отобедать?

— Не стоит беспокоиться. Я ведь к вам по делу.

— Я поняла... Скажите, неужели вы думаете, что Петя мог совершить это злодейство? Ведь это безумие какое-то...

— Нет, я так не думаю. Ольга Романовна, благоволите ответить на несколько вопросов.

— Я вас слушаю.

— Вы были знакомы с кем-нибудь из сослуживцев вашего сына?

— Кое с кем, немного. Адя Обресков бывал у нас дома. Ещё один молодой человек... Разумеется, с полковым командиром я знакома.

— С полковником Дукатовым?

— Да.

— А с генералом Дагомыжским?

— Несколько раз нам случалось встречаться на приёмах... Когда муж был ещё жив.

— И какое впечатление произвёл на вас генерал?

— Мы слишком мало общались, Пётр Андреевич, чтобы получить какое-то впечатление. Тем более, о таких людях впечатление складывается много заранее. Герой Плевны, прославленный кавалерист — какое тут может быть впечатление? Сын, правда, говорил, что он чрезмерно надменен и заносчив с подчинёнными, хотя при этом внимателен к их нуждам. Суров и даже жесток, но, тем не менее, его уважают. Говорят, что он безжалостен к людям, но и по отношению к себе крайне строг.

— А его жена?

— Про его жену мне мало что приходилось слышать.  
— Я не поверю, Ольга Романовна, что этот брак не породил в обществе пересудов.

— Я не интересуюсь сплетнями.

— И всё же?

— Разговоры были традиционными: что она вышла замуж за генерала из корысти, поскольку не имела ни средств, ни положения, а этот брак доставил ей и то, и другое.

— Генерал слывёт аскетом. Неужели он позволял жене мотовство?

— О мотовстве я ничего не слышала. Насколько мне известно, Дагомыжские живут прилично, но без излишеств.

— А Михаила Дагомыжского вам случалось видеть?

— Нет, не приходилось.

— А ваш сын говорил вам о нём?

— Он упоминал его, конечно. Но ничего существенного не рассказывал. Петя, вообще, не слишком подробно говорил о своей службе. Он не склонен делиться своими переживаниями ни с кем...

— А отставной поручик Разгромов вам знаком?

— Лично — нет. Но о нём как раз я часто слышала от сына. Поручик был весьма неординарной личностью, и Петя был привязан к нему, как к старшему товарищу.

На несколько минут воцарилось молчание. Допрос был окончен, и Ольга Романовна почувствовала горечь оттого, как сух был Вигель, словно вовсе чужие люди они... Хотя... Разве не чужие? Может быть, даже хуже чужих... Басом прогудели вмонтированные в простенок бронзовые часы английской работы. Пётр Андреевич скользнул взглядом по развешанным на стенах и расставленным на полках фотографиям. На большинстве из них была запечатлена Ольга Романовна. Сергей Сергеевич всегда окружал себя изображениями жены и первым заказом каждому

новому художнику всегда был её портрет. Портреты эти хранились в отдельной комнате.

Пётр Андреевич подошёл ближе к фотографиям, остановился перед свадебной, а затем перевёл взгляд на более раннюю: на ней ещё совсем юная Ольга с младшими сёстрами стояла у пруда возле стен Новодевичьего монастыря. Ольга Романовна заметила, как тень пробежала по лицу Вигеля при взгляде на этот снимок. Стало быть, и он ничего не забыл...

— Я должен идти, Ольга Романовна. Благодарю за то, что ответили на мои вопросы, — какой подчёркнуто официальный тон — как ножом по сердцу. Неужели он всё-таки верит в виновность Пети?

— Пётр Андреевич, как долго вы намерены держать Петю под арестом?

— Я — не намерен, — ответил Вигель. — И сделаю всё, чтобы найти настоящего убийцу и отпустить вашего сына из-под ареста. Но пока у меня нет никаких доказательств невиновности вашего сына...

Так холоден, так жёсток был этот родной голос, чеканящий каждое слово, что Ольга Романовна не выдержала. Не собиралась выдавать своей тайны, а не совладала с собой, вырвалось из измученного материнского сердца, ищущего любой возможности спасти любимого сына:

— Это — наш сын!

Вигель вздрогнул и побледнел:

— Что вы сказали?

Ольга Романовна опустилась за стол, отозвалась глухо:

— Как сказала бы моя бабушка, что сказала, то собака языком слизала... Вы не слушайте меня, Пётр Андреевич. Забудьте...

— Значит, Пётр — мой сын? — спросил Вигель.

— Да, ваш...

— А Сергей Сергеевич знал об этом?

— Нет, конечно. Никто не знал. И не должен знать... Я не имела права говорить вам, Пётр Андреевич. Простите меня... И забудьте. Такая уж судьба у нас...

— Прощайте, Ольга Романовна.

— Прощайте, Пётр Андреевич...

Ольге не хватило даже смелости поднять глаз и проводить Вигеля взглядом. Несколько минут она сидела неподвижно, словно окаменев. Внезапно кто-то вошёл в кабинет. Ольга Романовна очнулась и увидела перед собой дочь. Лидинька смотрела на неё как-то странно и вдруг сказала, болезненно усмехнувшись:

— Друг детства, значит... Да, маман?

— Что ты хочешь сказать? — Ольга похолодела.

— Теперь я понимаю, почему ты никогда не любила меня...

— Ты подслушивала, Лида?

— Так вышло случайно... — ни малейшего стыда в голосе Лидиньки не было. — А я-то всё ломала голову, почему ты так любишь Петю, а меня для тебя словно нет...

— Что ты говоришь?! Это неправда! Я всегда любила тебя!

— Это — правда. И мы обе это знаем. Петю ты даже сама кормила грудью, а меня...

— Ты не понимаешь, что говоришь! Я ведь несколько месяцев была больна после того, как родила тебя! Я едва не умерла!

— Вот, и выходит, что от меня один вред. Да, маман? Я всегда была гадким утёнком в этом доме. Меня никто не любил, кроме Пети...

— Как ты можешь? А как же отец?

— Оставь отца! Отец любил только тебя! Ты для него была всем! Ну, ещё он любил своих талантливых попрошайек...

— Откуда в тебе столько жестокости и презрения к людям? Мне казалось, что ты хорошо относилась к

нашим гостям...

— Тебе казалось? Да ты хоть раз спросила моего мнения о чём-либо? Вы все хоть раз спросили?! Я презираю попрошаек! Человек обязан сам устраивать свою жизнь, а не таскаться с протянутой рукой! И лично я свою жизнь буду устраивать сама. От тебя мне ничего не нужно. Отец ведь завещал всё тебе и на благотворительность, не так ли? Вот, и занимайся благотворительностью. А обо мне забудь. Я буду жить так, как считаю нужным. Так, как живут настоящие люди. И можешь быть уверена, что эти люди ещё добьются справедливости!

— О ком ты говоришь?

— О людях труда, о тех, кому ненавистна тирания! Тебе этого не понять!

Действительно, не могла понять Ольга Романовна, когда успели такие мысли завладеть душой и разумом её дочери. Ведь она совсем ребёнок... Или дети теперь стали взрослеть слишком рано? Но что же будет с нею? Как она собирается жить?

— Ты не можешь уйти из дома. Ты ещё ребёнок, — холодно сказала Ольга.

— Да, к сожалению, придётся подождать, — спокойно согласилась Лидинька. — Но это только пока. Я не уйду из дома, но я запрещаю тебе пытаться вмешиваться в мою жизнь. Тебе это не будет трудно, поскольку ты никогда не проявляла к ней интереса. А я, в свою очередь, сохраню твою тайну.

— Шантажируешь родную мать?

— Нет, но уговор дороже денег, разве не так? Впрочем, ты можешь не беспокоиться... Я никогда не раскрою твоей тайны. Не ради тебя, а ради памяти отца и, главное, ради Пети. Мы хоть и расходимся с ним, но я люблю его и зла ему не желаю.

— Спасибо и на том...

— Не за что, маман.

- Лида!
- Что ещё?
- Ты ненавидишь меня?
- Нет.
- Прости меня... Если бы я могла знать...
- Оставь, я не хочу этого слушать.

Лида ушла, захлопнув дверь. На столе осталась стоять её детская фотография: ангелочек в белом платье и с бантом... Ольга Романовна долго смотрела на снимок, и слёзы безмолвно текли по её щекам. Неужели это она так исковеркала душу собственной дочери? Неужели своим невниманием так ожесточила её? Неужели сломала ей жизнь? Переведя взгляд на фотографию мужа, Ольга почувствовала, как не хватает ей его теперь. Сколько раз, когда случались в её жизни огорчения, он умел утешить её, найти выход из любой ситуации, помочь советом, обогреть словом. Как потечески умел подойти, обнять, сказать что-то ласковое, ободрить, как ребёнка:

— Что с тобой, Олюшка? Всё будет хорошо, счастье моё, родная моя. Я же рядом, а, значит, ни о чём не беспокойся...

Как дорого дала бы Ольга Романовна, чтобы вновь услышать этот полный нежности голос... Но муж только смотрел на неё с черно-белого снимка и молчал. Ольга поднесла фотографию к губам, поцеловала:

— Нет, Серёжа... Ничего уже не будет хорошо... За всё надо платить...

Полицейская пролётка остановилась в самом начале Сивцева Вражка. Из неё тяжело, опираясь на трость, выбрался согбенный человек с желтоватым, оплывшим лицом, а следом по-юношески легко спрыгнул с подножки седовласый пожилой господин.

— Ох, и припекло что-то сегодня, — заметил Любовицкий, утирая лысину.

— Да, распогодилось, — согласился Немировский, застёгивая свой чесучовый пиджак на все пуговицы.

— Вот, видите-с, Николай Степанович, и вам пришлось прибегать к услугам прессы! Да-с, пресса ныне сила! В функции расследования вполне могла бы дать фору полиции! У полиции-с реноме подпорчено-с, с полицией не очень откровенничают подобру, а с нами — завсегда-с! Да и печатного слова-с все ныне, как огня, боятся!

И сколько же мог говорить этот человек? Болтовня Любовицкого начинала выводить Немировского из себя, и он морщился, как от зубной боли, и уже не раз пожалел, что связался с этим борзописцем. Но, с другой стороны, при всех своих недостатках Любовицкий всё же имел одно достоинство: держал данное слово. А сговорившись с кем другим — можно ли быть уверенным в чём-то? Печатного слова, как огня, боятся... Да уж, боятся так, что делают секреты и тайны из пустейших вещей из страха, что тайны эти просочатся в газеты, и тем окончательно запутывают следствие. По счастью, эта болезнь коснулась пока только высших слоёв населения и близких к ним, но с ними-то и без того всегда морока была — то ли дело простой люд. А следователю Немировскому уже в свете опыта и чина поручались как раз таки дела высшего звена, и с недавних пор Николай Степанович очень насторожённо начал относиться не только к отдельным представителям того или иного класса, но к интеллигенции в целом. Эта публика представлялась ему, определённо, больной и нуждающейся не в следователе, а в психиатре...

Желая быстрее покончить с делом, Немировский направился к дому «проповедника» столь быстрым шагом, что Любовицкий не мог угнаться за ним и, наконец, задыхаясь, попросил:

— Николай Степанович, умерьте аллюр... Вы хотите, чтобы я отдал Богу душу раньше, чем мы побеседуем с клиентом?

— Я никогда не поверю, Замоскворецкий, что вы способны отдать Богу душу, не побеседовав с клиентом. И, позвольте усомниться, что вы её намерены отдать именно Богу.

— Вы правы, — усмехнулся Любовицкий. — В Бога я не верю-с. Как, впрочем, и в дьявола. И думаю, там — вообще, ничего нет-с. Слизнёт смерть человека, как сухой травинку — и ничегошеньки от него не останется.

— Как же вы мрачно смотрите на жизнь, Замоскворецкий!

— Отчего же мрачно-с? Согласитесь, Николай Степанович, что объективно рассчитывать на забронированные места в раю могут весьма немногие из смертных. А, если выбирать между небытием и адом...

— Ад для вашего брата вполне подходящее место. Во-первых, там живёт отец всех сеющих ложь газет, а, во-вторых, там вам, по крайней мере, не придётся скучать!

— Спасибо на добром слове-с!

Поднявшись по знакомой лестнице, Немировский трижды вдавил кнопку звонка, но ни единого шороха не раздалось в ответ.

— Может, их нет дома... — предположил Николай Степанович.

— Нет-с, они дома. Звоните ещё.

Через четверть часа за дверью послышалась шаркающая походка, кто-то защёлкал задвижками, ключами, цепочками, потом чуть приоткрыл дверь и очень долго разглядывал неожиданных посетителей. Наконец, дверь отворилась, и на пороге возникла странная фигура в тёмном балахоне и вязаной шапочке



на голове. Трудно было даже с уверенностью сказать, какого пола было это существо.

— Зачем пришли? — спросил глухой, неживой голос.

«Нетопырь какой-то», — подумалось Немировскому.

— Мы из газеты, — бойко начал Любовицкий. — Моя фамилия — Замоскворецкий! Может быть, вам приходилось слышать или читать?

— В этом доме газет не читают.

— Отчего же-с?

— Оттого, что мы знаем без них всё, что нам нужно знать.

— О, это подлинный дар! Однако, как же нам быть? Мы получили редакционное задание: написать о русском Ницше с Сивцева Вражка! Этот материал наверняка был бы крайне интересен для просвещённой публики! Уверен, что после этого послушать нового порока съехались бы люди со всей России!

— Пророки не разговаривают через листки газет со своей паствой. Пророки вещают избранным ученикам, а те разносят учение по свету.

— А что нужно, чтобы стать учеником?

— Приходите в назначенные дни, слушайте.

— И всё-таки нам хотелось бы побеседовать с пророком лично. Это возможно-с?

— Нет. Пророк беседует лично только с духами.

— Но вы — не дух.

— Я медиум. Духи говорят через меня.

— В таком случае, может быть, вы согласитесь нам помочь? Рассказать о пророке? О себе? Вот, например, как ваше имя?

— Моё имя — Исида... Но рассказывать вам я ничего не буду. Вам неинтересно учение пророка. Вы не верите в духов. Вы пришли сюда, чтобы обманывать. Уходите.

— Простите, но, может быть, вы мне ответите на несколько вопросов? — спросил Николай Степанович.

— Исида не оказывает помощи полиции.

— Как вы узнали, что я из полиции?

— Так сказали мне духи.

— Что ж, отпираться было бы бессмысленно. Послушайте, меня, как вы уже поняли, мало интересуют идеи пророка, духи и прочее. Меня интересуют люди, которые бывают на ваших сеансах.

— Мы не знаем людей, которые к нам приходят. Они подобны реке... Нескончаемой реке... Но Исида всегда видит, за кем стоит смерть. Из всех лиц Исида видит только лицо того, кто стоит на пороге чертога смерти. У того офицера было такое лицо...

— У подпоручика Дагомыжского? — насторожился Немировский.

— Исида не знает имён.

— Это лицо вы видели? — Немировский показал Исиде снимок.

По лицу Исиды пробежала тень, и она резко отчеканила:

— Исида ничего не знает. Уходите отсюда. Исиде больше нечего вам сказать.

Дверь захлопнулась, вновь заскрипели задвижки, звякнули цепи, и шаркающая походка стихла в глубине квартиры.

— А личико-то она признала, — заметил Любовицкий.

— Мне тоже так показалось, — согласился Немировский. — А вы не очень-то мне помогли, господин журналист.

— Да-с, редкий прокол в моей практике. Я думаю, эти люди что-то скрывают-с.

— Неужели? — Николай Степанович прищурился. — А мне показалось, что они просто не любят газет!

— И полицию!

— Полицию теперь не любят все. Это модно!

— А вы, должно быть, тоскуете по временам, когда полиция могла хватать всех и каждого напропалую?

— Тоскую, Замоскворецкий! По времени, когда преступление было ещё аномалией в нашем обществе, а не привычкой повседневной жизни и не удачей для борзописцев вроде вас. А ныне у нас ничегошеньки делать нельзя! Бардак... — с! Взяться б за хлыст — съест прогрессист, будешь всем сват — умнёт ретроград. Эх! — Николай Степанович махнул рукой.

Они уже вышли на улицу и направлялись к пролётке. Краем глаза Немировский заметил, как колыхнулась занавеска в окне загадочной квартиры. Любовицкий что-то бормотал, ковыляя сзади, и это мешало Николаю Степановичу сосредоточиться.

— Антон Сергеевич, куда вы теперь направляетесь?

— Домой, домой... Душно... А я духоты никак-с не переношу.

— Я, пожалуй, подвезу вас, и там простимся.

— Крайне любезно-с с вашей стороны.

До Лубянской площади домчали лихо, а здесь замедлились. Как всегда на Лубянке стояло немалое количество извозчиков, поивших лошадей и деливших друг с другом последними новостями.

— Ваше высокородие, надоть и нам лошадку-то попоить... — заметил румяный возница по имени Фрол, к которому Немировский уже успел привыкнуть за последние дни, в которые этот молодец исправно возил его во все нужные адреса.

— Попоишь, — отозвался Николай Степанович. — Высадим, вот, господина журналиста, потом подвезёшь меня до Гурьинского трактира, и свободен.

— Слушаюсь, ваше высокородие! — в чинах Фролка был несилён, а потому именовал всех «высокородиями», чтобы не запутаться в бесчисленных «степенствах», «превосходительствах» и прочих «ствах». Впрочем, коллеги его, московские лихачи, решали эту сложную задачу не менее просто: их седоки были сплошь «баринами» и «васиясями»...

В своём любимом Гурьинском трактире Немировский не бывал уже давненько, но забыть завсегдатая здесь не успели. Старый буфетчик тотчас лично подошёл осведомиться, «что желает откушать бесценный Николай Степанович». Следовательно остановил свой выбор на пулярке с жареной картошкой с луком и свежей зеленью, маринованных грибах, спаржевом супе, рюмочке ликёра Дюппель-Куммель и чае с кусками сахара, для коего подавались в трактире специальные щипцы.

— Ах, господин Немировский, вот, сразу видать старую закваску! Обед — так обед! По-русски, по-нашему! — радовался буфетчик. — А нынче что ж? Явятся молодые господа, носами поведут этак и изгаляются, позвольте доложить: супа им черепахового, трюфелей им, ещё иные блюда такие назовут, что я руками только развожу — не слыхал таких. Всего пригубят и ничего толком не съедят! Мне буфетчик от Тестова тоже жаловался... Прежде-то народ собирался блины есть. И какие были блины! Всем блинам блины! Цельными днями пеклись, а ныне? Всё-то подай каких-нибудь штучек! Да ещё цыган подай им или иных развлечений! Нет, вы уж как желаете, а я скажу: извратился народ. Прежде народ был, а теперь сплошь публика праздная шатается.

— Да, братец, правда твоя... — согласился Немировский.

— Ну, приятного вам аппетита, Николай Степанович. Не буду вам мешать. Вы уж не забывайте нас. Захаживайте! Нам это всегда зело радостно!

Поблагодарив старика-буфетчика, Немировский приступил к обеду. План относительно «пророка» сложился в его уме ещё по пути. Нужно было снарядить своего человека на сеансы, дабы узнать, что происходит на них изнутри. И человек этот должен быть не из полиции. Конечно, Николай Степанович был

почти уверен, что, как и «пророк», его напарница с египетской кличкой были обыкновенными шарлатанами, а не провидцами, но всё же надёжнее было перестраховаться. Василь Васильич с лёгкостью найдёт нужного человека, а потому можно спокойно обедать, не отравляя аппетита мыслями о преступниках, шарлатанах и их деяниях. Всему, как говорится, своё место и время.

В Обуховском трактире привычно тянули «Долю бедняка», рабочий люд попивал водочку и закусывал селёдкой, шедшей в этом заведении по пятаку, и каким-то унынием повеяло на вошедшего Тимоху от этой вечной и до оскомины знакомой картины. Неужели так и ему написано на роду: горбатиться на фабрике по убийственному графику: шесть часов работы, шесть — отдыха, получать свои кровные и оставлять их в этом трактире? А ведь так поступали почти все рабочие. И холостые, и обзаведшиеся семьёй. А их бабы потом голосили отчаянно, когда на исходе месяца в доме становилось нечего есть. Когда бы их добытки не пропивали добрую часть заработанных денег, то жить можно было сносно, по крайней мере, не голодая и не бедствуя, но так предпочитали жить очень немногие. А большинство топило тоску в горькой, а иные же подавались к социалистам, но таковые на фабрике не задерживались: их либо выгоняли на улицу, либо, если ухитрялись они натворить что-нибудь, арестовывали и отправляли кого в солдаты, кого в ссылку... Нет, не нравилась Тимохе эта серая, беспросветная фабричная жизнь, снилась ему по ночам родная деревня с чахлой осинкой у родной избёнки в три окна. Но туда — нет обратной дороги. Родители померли, хозяйство развалилось, а одному — куда ж? В батраки? Батраком Тимохе быть не хотелось. Да и нравилась ему, по душе говоря, Москва, похожая одновременно на

разухабистую купчиху, хлебосольную хозяйку и скромную богомолку... Горячая, как блины, которые пекли в ней повсюду, яркая, живая, быстрая, как тройки её «лихачей», но и светлая, как благовесты её, как кроткий вид её дивных церквей...

Добро ещё — жила в Москве Тимохина тётка Глафира, ведшая хозяйство в доме крупного полицейского чина, со стола которого и Тимохе нет-нет, а перепалила лакомые куски. Вот и сегодня, в воскресный день, позван был Тимоха к ужину. Заранее можно было радоваться: тётка Глафира голодным племянника не оставляла никогда. Уж у неё-то можно было поесть вволю. А сегодня тётка ещё намекнула, что её хозяин хочет с ним потолковать о чем-то... От Черкизова, где коротал выходные дни, по примеру старших товарищей, Тимоха, до Мёртвого переулка путь был неблизкий, и отмерять его предстояло собственными неутомимыми ногами, которые до сей поры не ведали сапогов. Шёл Тимоха по Москве, подбоченясь, надвинув на глаза картуз, посвистывая, срывая яблоки во встречающихся по пути садах, пробуя семечки у лотошниц, постреливая глазами на девиц, крестясь на московские церквушки... Молод был Тимоха, всё было ему в диковину, и, хотя никогда почти, положив руку на сердце, не бывал он сыт, а на душе всегда весело было, весело от молодости, от силы, гулявшей в мускулах, от здоровья, разливавшегося румянцем по щекам, оттого, что жизнь только начиналась, и столько в ней ещё могло быть всего замечательного, от того, что не ведал он ни сомнений, ни уныния, ни терзаний душевных, и жизнь казалась ему простой, как тот пятак, что сэкономил он сегодня в Обуховском, не взяв селёдки!

Тётка Глафира встретила его в прихожей, зацеловала, запричитала:

— Дитяtko ты моё! Ишь худющий-то какой! Не кормят вас, знать, совсем на вашей фабрике!

— Да, такого молодца прокормишь! — слышался усмешливый голос. — Вон он какой у тебя дылда, меня на целую голову выше будет!

В дверях комнаты стоял тёткин хозяин, Василь Васильич. Стоял, оперевшись локтями о косяки, покручивая ус, по-кошачьи щуря бирюзовые глаза, подоброму посмеиваясь, и тёмные с редкой проседью волосы спадали ему на лоб. Одет был Василь Васильич по-домашнему, просто, даже неряшливо несколько. Поманил Тимоху рукой:

— Давай, молодец, садись к столу. На голодный желудок разговор скверный.

Стол Василь Васильича произвёл на Тимоху неизгладимое впечатление. Посреди него красовался румяный поросёнок с хреном, вокруг были расставлены закуски — нежно-розовые ломтики сёмушки, грибки, малосоленые огурчики... Были на этом лукулловом столе и оладушки, на которые большая мастерица была тётка Глафира, и яблочное варенье, а к тому — штофик водочки, рябиновка и квас.

— С тебя, молодец, квасу достанет, нечего в столь юные лета к зелёному змию приобщаться. Тётка твоя рябиновку завсегда жаловала. А водочка — мне, — сразу определил Василь Васильич, разливая напитки. — Будем здоровы!

Тимоха так живо набросился на предложенные угощения, что тётка даже одёрнула его:

— Не совестно? Всё ж в гости пришёл. Ешь, словно год в долговой яме сидел...

— Не трогай парня, Глафира, — улыбнулся Романенко. — Я в его лета таким же был. Что не давали, всё сметал в один присест. Было у меня что-то от Собакевича: если барана — подавай всего барана!

— Да ты и нонеча не шибко изменился, — заметила тётка.

По мере того, как желудок наполнялся, и Тимоха начинал ощущать сладкое и непривычное чувству сытости, глаз его стал замечать и то, что до еды не касалось. Например, по взгляду, каким смотрела тётка на Василь Васильича, Тимоха сразу определил, что она своего хозяина любит, да и не только любит, а, пожалуй, и живёт с ним, как жена с мужем. Что ж, дело житейское. Бабе одной завсегда тоскливо. По крайней мере, так Тимохе говорили старшие товарищи. Сам Василь Васильич ел с аппетитом, улыбался в усы, отпускал иногда презабавные шутки и производил впечатление очень приятного, весёлого и широкой души человека. Наконец, с трапезой было покончено, и хозяин сказал:

— Ну-с, теперь можно и к делу. А, молодец?

Тимоха закивал, быстро дожёвывая запихнутый в рот оладушек.

— Да не торопись, не торопись. Этак поперхнуться недолго. Квасу выпей, — Василь Васильич откинулся на спинку стула. — А я пока изложу тебе предложение.

— Ты слушай его, — сказала тётка. — Я тебе с собой пока поесть в кузовок соберу, а вам мешать не буду.

С этими словами она ушла, а Василь Васильич спросил:

— Есть у тебя мечта, молодец?

— Не знаю... — пожал плечами Тимоха.

— Так уж и не знаешь? Неужели ничего не хочется?

— Сапоги хочу себе справить с набором и рубаху шерстяную малиновую. Чтобы как у людей.

— Невелика мечта, — усмехнулся Василь Васильич. — Сапоги с рубахой я тебе хоть завтра куплю. Ты скажи мне, что в жизни-то делать намерен? По какой стезе идти?



— Сам не решусь пока, — потупился Тимоха. — На фабрике мне не нравится.

— Платят мало?

— И это тоже... Но не только... Скучно там. Шесть часов пашешь, шесть спишь. Деньги получил, друзья сразу в кабак тянут пропивать. А я не хочу! Будущности у энтакой жизни нету. Только сопьёшься... Нет, если к ремеслу страсть иметь да талант, так и можно. Выучиться, мастером стать... Так меня ремесло не греет, и машины энти тоже. Мне чем-то живым заниматься охота, а куда себя приложить — не знаю.

— В полицию ко мне служить пойдёшь?

— В городовые, что ли?

— Хватил, в городовые! Молод ты ещё для городского, и опыта нет. Сперваначала в агенты. Я сам с этого некогда начинал, когда таким, как ты, щенком в Москву прикатил. Для виду я тебя в лавку к знакомому купцу определяю. По столярному делу. Сыт будешь, обут, одет, ремеслу выучишься, да ещё кой-какие деньги получать станешь там. А, как понадобится, так за работу. За это отдельную премию получать станешь...

— А чего делать надо?

— А вот это, брат, уже искусство! В чужой сбруе щеголять, чтобы под нужную местность подладиться, следить, искать, выпрашивать, выведывать... По мне так интереснее дела на свете нет. Так что скажешь?

— Подумать надо...

— Да ты что, ирод, волынку тянешь? — зашумела вдруг тётка, вбегая в кухню. — Подумать ему надо! Ишь ты! Чего тут думать?! Василь Васильич, касатик, не слушай его, телепня<sup>12</sup>! Согласный он!

— Помолчи, Глафира. Не сбивай парня с панталыку. Пусть сам скажет.

Тимоха почесал в затылке, покосился на тётку, и сказал:

— А что? Пожалуй, и согласен... Только с фабрики мне уйти надо.

— Как раз конец месяца. Ты жалованье получил?

— Вчерась.

— Вот, и уходи с чистой совестью. Не пропадёшь. Со столяром я тебя после сведу, а пока с завтрашнего дня займёшься своим первым делом. Купим тебе сапоги с рубахой, чтобы ты порядочно выглядел, а потом я тебе покажу дом, за которым ты будешь наблюдать, и квартиру, в которую ты будешь ходить под видом слушателя ахинеи, которую там несёт один чёрт. Мне нужно в подробностях знать, как и что у них творится, какие люди бывают. В общем, всё. Подробности расскажу тебе завтра. Нет возражений?

— Какие ж возражения! А за сапогами с рубахой мы с утра пойдём?

— С тёткой пойдёшь. Деньги я дам.

— Спасибо!

— Ну-с, вот, стало быть, по рукам да в баню! А, молодец? — Василь Васильич прищурился.

— По рукам! — довольно кивнул Тимоха.

С тяжёлым сердцем возвращался домой Пётр Андреевич Вигель. Как ни гнал от себя навязчивые мысли, а засели они в голове гвоздями — и не выдрать их никаким клещам. Он вдруг вспомнил, что какое-то странное чувство мелькнуло в нём при знакомстве с корнетом Тягаевым. Хоть и был корнет очень похож на мать, а углядел в нём Вигель намётанным глазом что-то напоминающее себя, молодого. Сразу и не уловил этого, не заострив внимания, да и после, когда сидел этот молодой человек перед ним на допросе, не до того было: все мысли о деле. Да ещё об Ольге. Так и казалось, будто смотрит корнет её глазами. И спокоен

был, зная наверное, что на нём греха нет. Не так спокоен как Разгромов, в каждом движении которого — скрытый вызов, насмешка, удаль, доходящая до наглства — а спокоен именно как человек, которому нечего скрывать, который уверен в себе и готов ко всему. Сразу угадалась в Тягаеве личность сильная, натура крепкая — такого не собьёшь, не срежешь. Это не мальчишка Обресков, хоть и погодки они, а уже готовый офицер со сложившимся характером. Это тогда почти восхитило Петра Андреевича... И, вот, оказывается, корнет — его сын... Не домой бы идти теперь, а с другом верным Василь Васильичем в трактир, а лучше в баню — душу облегчить...

Но дома ждала Ася. Едва Вигель поднялся к ней, она соскользнула с оттоманки, подошла, поцеловала мужа в щёку, села вновь, глядя на него своими карими, бархатными глазами, столь не похожими на холодный блеск Ольгиных очей.

— Доктор Жигамонт только что ушёл. Если бы ты пришёл пораньше, то ещё застал бы его.

Георгий Павлович бывал у Аси ежедневно, возвращаясь из Екатерининской больницы, расположенной тут же, в Страстном.

— Да я совсем закутился с этим делом... И никакого просвета, — отозвался Вигель.

— Ты выглядишь уставшим.

— Это неудивительно... Я, в самом деле, немного устал.

— Скажи, ты видел её? — внезапно спросила Ася.

Пётр Андреевич внутренне напрягся, но отозвался беззаботно:

— О ком ты?

— Об Ольге Романовне Тягаевой. Только не лги, пожалуйста. Я ведь всегда знаю, когда ты говоришь неправду...

— Да я видел её. Два раза... Сначала мы встретились случайно в театре, которому, как оказалось, она оказывает материальную поддержку, а потом... Её сын оказался в числе подозреваемых, и я должен был задать ей несколько вопросов, — Вигель приложил все усилия, чтобы в голосе его звучало полное безразличие. — Но откуда ты узнала?

— Володя упомянул, когда был у нас, что ты о чём-то разговаривал со вдовой известного мецената Тягаева, благодаря которому был открыт этот театр... Я всё ждала, когда ты мне расскажешь... Почему ты молчал?

Пётр Андреевич присел на край оттоманки, прижал руку жены к лицу, поцеловал:

— Я не хотел волновать тебя, вот и всё.

— А разве у меня есть причины волноваться?

— Ни малейших, счастье моё. Но ведь вы, женщины, и на пустом месте можете вообразить...

Ася склонила голову на грудь мужа:

— Да, это мы можем. Но я её не боюсь... Я же знала, когда выходила за тебя, что ты её не забудешь. Сейчас ты вспомнил, может быть, даже отголоски прежнего чувства заговорили в тебе. Но это ничего. Ведь не она, а я родила тебе сына, нашего сына... И это — главное. А остальное — туман, туман... Мираж... Ведь правда, Петруша?

— Конечно, правда. Откуда ты так хорошо во всём разбираешься? Действительно, это всего лишь наваждение, сон, бред... А моя жизнь — это ты и наш сын.

— Я не во всём разбираюсь. Просто я люблю тебя. А любящая женщина всегда немного провидица...

Когда Ася уснула, Вигель спустился в кухню, открыл створки буфета и задумчиво посмотрел на полку, где стояло спиртное. Запас оного был негуст: любимый Николаем Степановичем Дюппель-Куммель, наливка,

присланная из Олиц, и штоф кизлярской водки. Недолго думая, Пётр Андреевич взял последний, наполнил рюмку, выпил залпом и зажмурил глаза.

— Ай-да-ну... Так поздно, а ты, Кот Иваныч, «кизлярушой» балуешься, — слышался голос Немировского. Старый следователь вошёл бесшумно и опустился за стол, подперев рукой голову.

— Хотите присоединиться, Николай Степанович?

— Благодарствую, да я своё уже за обедом откушал. Ну-с, сказывай, что за беда у тебя приключилась? Был у неё сегодня?

Пётр Андреевич кивнул.

— И?

— Даже не знаю, как сказать... — Вигель вновь потянулся к штофу.

— Э нет, «кизлярушку»-то ты оставь. Не дело. Ещё не хватало с похмелья на службу являться. Сядь и рассказывай!

Пётр Андреевич покорно убрал штоф, но садиться не стал, а только сказал глухо, едва слышно:

— Я, оказывается, арестовал родного сына.

На несколько минут в кухне повисло молчание. Немировский нахмурился, крякнул:

— Ай-да-ну... Весёлые дела... Стало быть, она тебе сказала, что корнет...

— Мой сын, — Вигель, наконец, тяжело опустился за стол. — Только об этом никто не должен знать... Нет, с одной стороны, я понимаю, что всё это туман и наваждение... Что это меняет? Его вырастил другой человек, его он считает своим отцом, и так и останется. И это правильно. Стало быть, всё равно чужие люди. А с другой... Всё-таки родной сын... В общем, Николай Степанович, в голове у меня ералаш, и тоска — хоть вешайся. Ещё Володя Олицкий сдуру ляпнул Асе насчёт нашей встречи с Ольгой Романовной...

— Вот ещё растепель...

— Да ведь он же не знал ничего! К слову пришлось и ляпнул... Пришлось всё рассказывать Асе, чтобы она не заподозрила чёрт знает что... Ох, и угодил я в переплёт — просто голова кругом! Чисто как зерно меж двух жерновов.

— Я надеюсь, о том, что корнет твой сын, больше никто не знает?

— Нет, что вы. Ольга Романовна всю жизнь хранила эту тайну: вскройся она — какой удар будет по её чести, по чести её покойного мужа и сына...

— Вскройся эта тайна — удар будет для Аси.

— Она никогда не узнает об этом.

— Она уже никогда не узнала о вашей встрече.

Пётр Андреевич взъерошил волосы и открыл окно:

— Запутался я. Словно в нетях каких-то. С той минуты, как встретил её. Каждую секунду, что она рядом была, помню, будто не прошло с той поры целой жизни, каждое слово, каждый взгляд, каждую чёрточку... Я уже дважды портрет её рвал, да что толку? Бумагу порвать легко, а из души как его вымарать? А теперь ещё это... Я сегодня весь день думаю: ведь могла же она прийти ко мне тогда, сказать, отказаться от брака с Тягаевым... Не было бы этого обмана, и нашего сына мы вырастили бы вместе.

Вигель замолчал и осторожно взглянул на Николая Степановича, ожидая увидеть в нём укор, может быть, даже раздражение. Но Немировский молчал, постукивал пальцами по крышке тавлинки, смотрел куда-то в сторону. Наконец, он поднялся с места и сказал:

— Вот что, друг мой Пётр Андреич, это всё блажь. Не было бы того, не было бы другого... Ты думай о том, что есть. А есть — твой сын Николай. Твоя жена. Вот — настоящее. Повернуть время вспять нельзя, да и не нужно. Всё сложилось так, как сложилось, и роптать грех. И тебе, и ей. И очень тебя прошу: выкинь из

головой эту аримурию и сосредоточься на нашем деле. Мы в нём не продвинулись до сей поры ни на дюйм.

— Вы правы, Николай Степанович... Я слишком разбросался. Но, чёрт возьми, не каждый день получаешь подобные сногшибательные известия.

— Закрыл бы ты окно. Осень уже, холодом тянет...

Ночи в Москве, в самом деле, стали холоднее. Осень пока ещё осторожно, ощупью, словно осваиваясь на новом месте, пробовала свои силы: подкрашивала золотом и багрянцем листву, веяла пробирающим, промозглым ветром, обрывая первые, самые слабые листки, моросила дождями и сгоняла туманы с реки... Вот, и теперь за окном накрапывал дождь, и Вигель затворил его и задёрнул тяжёлые зелёные шторы, столь любимые Анной Степановной, от которой как раз пришло письмо, в котором Кумарина сообщала, что Николенька совсем здоров, бодр и весел, и вскоре они намерены возвращаться в Москву. Писал и сам Николенька, делясь с родителями восторженными впечатлениями от похода в горы с местными старожилами, от таинственных пещер и красоты Карадага... Скорее бы он уже приезжал. Приезд сына, поздоровевшего, полного радости от упоительных крымских приключений, обязательно расставит всё в доме на свои места, придаст сил матери и вернёт спокойствие отцу... Пётр Андреевич отчего-то был уверен, что именно так и случится, а потому, не откладывая, сел писать сыну ответ, и мысли о Николеньке, наконец, вернули его к «настоящей», по выражению Немировского, жизни...

— Э-эх, ехала купчиха на базар! — ругался Илья Никитич Овчаров, поднимая ворот пальто и шлёпая тяжёлыми сапогами по лужам. — Угораздило же вернуться в такую распогожую погоду! — он громко

свистнул, и в ответ окрестные собаки тотчас подняли гвалт.

Рядом застучали копыта, и какой-то «Ванька» крикнул из темноты:

— Барин! Не прикажете подвезти куда?

— Ещё как прикажу, борода, — Овчаров миглом вскочил в выдавшую виды коляску, заметив попутно, что лошадёнка была подстать ей очень старой.

— Куда ехать-то, барин?

— Куда, куда... В Хамовники. В Тёплый переулочок.

Извозчик чмокнул, и его лошадёнка понуро потрусилась по мокрой дороге, потряхивая ушами.

— Эх, барин, собачья нонче погода... В такую бы сидеть в деревне на печи да чай попивать с малиною али молоко...

— Я так и думал, что ты деревенский. Что тебя за нужда в город-то толкнула? Сейчас на селе жатва самая.

— Погорельцы мы. Село наше сгоремши, так я со старухой к сыну в Москву подался, а сын занедужил... Вот, я замест его и тружусь... Ах, ты Господи! — извозчик шумно вздохнул. — И за что такое наказание припело? Ребятишков в доме четверо, а кормилец слёг. А я один сколь выдюжу? Отпахал уж своё-то... Ох-ох-ох, барин, тяжёлёхонько... Сам-то ты отколи путь держишь?

— Не поверишь, дед. Из самого Санкт-Петербурга.

— Эва! Вон оно что! А на столичного ты непохожий...

— Да я сам коломенский, живу в Москве, а в столицу по делам ездил.

— Вон оно что... Что-то все нонче в столицу по делам ездить стали. Да всё-то в погоду такую... В столице-то так же лиётся?

— Хуже, дед, — Овчаров поморщился. Столица Илье Никитичу пришлась не по нутру. Серо там было да сыро, и люди какие-то зажатые, серьёзные, бледные, словно



страдающие малокровьем. А уж дворы с квадратами серого неба над ними — так и вовсе точно яма или тюрьма. И воздух — тяжёлый. Стразу чувствуется, что на болоте да костях стоит город. То ли дело Москва... Правда, пробыл Овчаров в Петербурге всего ничего и занят был делом, а потому красот городских просто и не заметил. А, может, так сказалоь на общем впечатлении неудача от этой поездки. Никто не мог сказать ничего вразумительного об обезглавленном пассажире пульмановского вагона. Да и что было спрашивать? Ни паспорта, ни лица, ничего ровным счётом — кто ж опознает? В гостиницах качали головами. Правда, давали списки москвичей, останавливавшихся у них в последнее время. Но кто сказал, что убитый был москвич? Кто сказал, что в гостинице он назвал своё настоящее имя? Тем не менее, Илья Никитич направил запросы относительно всех этих людей. Большинство уже были обнаружены по месту проживания, относительно трёх человек данные должны были поступить вот-вот, но Овчаров был почти уверен, что и они будут такими же. Во всяком случае, об исчезновении кого-либо из этих трёх никто не заявлял. На вокзале не удалось выяснить абсолютно ничего: да и кто из служащих мог обратить внимание на какого-то пассажира в царящей толчее? Местная полиция также развела руками. Накануне они устраивали облаву по всем вокзалам — искали какого-то беглого каторжника из «политических», но так и не нашли. Вот, собственно, и всё, с чем, в сухом остатке, вернулся Илья Никитич в Москву...

А старик-извозчик не умолкал. Видать, хотелось ему выговориться случайному человеку. Илья Никитич слушал его вполуха, кутаясь в пальто и борясь с одолевавшим его сном. Одно желание и было: выпить горячего чаю, снять с себя отсыревшую сбрую и улечься спать.

— И чегойт несёт людей из дому в такую погоду? Вон, с неделю тому назад уж такая буря выдалась! Гроза! Гром! Ажник страшно было! А мне человека везти пришлось. Тоже, кажись, со столицы приехавши вечерним поездом.

Овчаренко приоткрыл один глаз:

— Что ж за человек?

— Да человек как человек. Крупный такой господин, борода чёрная, пенсне... Антиллигент. Тужурочка на нём ащё была. Инженера-путейца, кажется. Саквояжец небольшой. Тросточка. Прихрамывал он. Сказывал, командировочный. Его встречали туточки.

— Кто встречал?

— Дак кто? Жена! На извозчике ждала в стороночке. Он ей поклажу-то отдал, она и поехала.

— А он с нею что ж не отправился?

— Дак ему по службе срочно куда-то понадобилось. Он бабе своей грит: «Поезжай, мол, пока дождь не полил, а я скоро...» Кашляла она шибко. Видать, болезная, вот, он и решил её домой отправить, а сам быстрёхонько по делам съездить, чтоб она не простудилась. Заботливый.

— И она уехала?

— Да.

— А ты барина повёз?

— Да, повёз. Барин-то щедрый оказался. Беленькую показал: гони шибче! Слушаюсь, говорю, вассиясь! Хоть моя старушка обычно и не бегаёт, а уж тут я её припустил. Лихо домчал барина!

— И куда ж ты домчал его?

— А недалече от Х...их казарм остановились. Тут мне уж, говорит, близёхонько. Товарищ мой рядышком тут проживает. И отпустил меня. Я, признаться, зело рад был. Гроза тогда уже бушевать начинала, а я опасаюсь её, да и старушка моя тоже. Село-то наше от

молнии загорелось... Так полыхало! Ох-ох-ох, Господи! И за что ж наказание-то такое?

— А имени своего барин не называл?

— Нет. А на что мне его имя? И так, видать, что барин хороший. Щедрый барин. Я ему про свою бяду рассказал, он очень сочувствовал! Даже на прянички надбавил. Хороший барин!

— Вот что, дед, я тебе на прянички тоже добавлю. И на леденчики. И на водочку! Езжай-ка ты не в Тёплый, а в «Могильцы»! — велел Овчаров, с которого сон точно рукой сняло — ни в одном глазу не осталось.

— Как скажете, барин... Никак случилось что-то?

— Может статься, что и случилось, дед. Ты меня с думки теперь не сбивай и помалкивай. А, приедем, я уж слово своё сдержу...

— Как скажете, барин, — пожал плечами извозчик и покачал головой. — Эва! Экой народ-то пошёл... Дела, дела у всех неотложные. Когда только жить-то успевают? Н-но, старушка!

## Глава 2

В исходе разговора с отцом Серёжа был практически уверен, но отказаться от попытки переубедить его он не мог. Этим утром тело кузена Михаила предали земле. Присутствовали члены семьи и однополчане. Серёжа стоял чуть в стороне и всем существом чувствовал фальшь всей этой церемонии: фальшивым было всё — слёзы Анны Платоновны, скорбь генерала, печаль собравшихся офицеров и речь полковника Дукатова. Всем этим людям, в сущности, не было дела до погибшего Михаила. Если кто из них и горевал по-настоящему, то по иным причинам: генерал оплакивал своего сына, офицеры переживали за сослуживцев, подозреваемых в убийстве, полковник Дукатов, ревнитель традиций, страдал за честь полка... Да, всем здесь было, о чём грустить и что оплакивать, а, вот, оплакать убитого подпоручика было некому. Кроме, разве, милой, доброй Ларисы Дмитриевны. Сам Серёжа тщетно искал в своей душе горечи по безвременно ушедшему родственнику, но не находил. Откуда было взяться этому чувству? Ведь были они с кузеном чужими людьми... Изображать же скорбь, играть на похоронах да и в жизни вообще Серёжа считал занятием недостойным. Для игры есть сцена, а в жизни надо жить.

Внезапно его внимание привлекла одетая во всё чёрное фигура. Она стояла в отдалении, не решаясь приблизиться, прислонясь к каменной кладке кладбищенской стены, и содрогалась от рыданий. Серёжа догадался, что эта женщина была женой Михаила, и снова подумал, что всё происходящее бессовестно. Единственный человек, любивший покойного и любимый им, единственная, плачущая по

нём — она не смела приблизиться к его могиле, а люди, которым он был чужд обступали её и играли траурную церемонию... Вскоре цыганку заметили и другие присутствующие. Пронёсся шёпот. Звякнуло тяжёлое слово «позор»...

Наконец, церемония была завершена, все участники этого действия стали расходиться. От ворот кладбища Серёжа оглянулся и увидел, как несчастная вдова похожая на чёрную тень, шаткой походкой двинулась к могиле, а, дойдя до неё, рухнула на колени, закрыла лицо руками, закачалась из стороны в сторону в своём неизбывном горе...

Едва переступив порог дома, Серёжа обратился к отцу:

— Мне нужно с вами поговорить.

— А мне не о чем с тобой разговаривать, — отрезал генерала, направляясь в свой кабинет.

Серёжа последовал за ним:

— И всё же я прошу вас, отец, меня выслушать. Вы вольны не считать меня больше вашим сыном и считать почти что преступником, но речь не обо мне, поэтому позвольте мне сказать.

Генерал опустил ногу за стол, положил ногу на ногу, поставил на стол часы:

— У тебя десять минут.

— Насколько мне известно, дед оставил половину состояния покойному Михаилу...

— При условии, что он женится на порядочной женщине.

— Михаила теперь нет в живых. Но у него осталась жена, которая вскоре родит его сына, который также будет носить фамилию Дагомыжских...

— Нет! — крикнул генерал. — Сын цыганской певички никогда не станет Дагомыжским! Твой кузен остался верен себе, запятнав своё имя этим так называемым браком! Никто не поручится, что эта особа

именно от него ждёт приплода... Знаю я нравы этих певичек!

— Позволю вам возразить насчёт нравов. Цыганки-хористки не отличаются их вольностью. Они живут по древним законам, и нарушившие их отлучаются от табора. Так что не думайте...

— Здесь не о чем думать! Грязная цыганка не переступит порога дома Дагомыжских! И точка!

— Я не предлагал вам впустить её в дом. Я считаю, что доля наследства Михаила по праву принадлежит его семье.

— Что-о?! — генерал побагровел и хватил кулаком о стол. — Это — не семья! Это — позор! Какая, чёрт возьми, гнусность! Ты что же, думаешь, что я отдам этой воровке целое состояние?! Не будет этого!

— Это было бы справедливо, отец! Разве вам нужно это состояние? Впрочем, я даже не призываю вас теперь же отдать ей всю эту сумму. Такие деньги, полученные разом, могут привести к беде. Но я считаю, что было бы правильно назначить из этих денег пенсион для сына Михаила. Хотя бы ту же сумму, какую ежемесячно выделяли вы ему. Неужели вы хотите, чтобы несчастный ребёнок, отпрыск нашего рода голодал, побирался где-нибудь на Хитровке? Отец, я взываю к вашему рассудку и благородству! Неужели вы допустите такой исход?!

— Убирайся вон! — глухо произнёс генерал. — Ты опозорил моё имя. Не только эта так называемая жена не получит от меня ни гроша, но и ты! Я лишаю тебя наследства и не желаю больше видеть!

— Как вам будет угодно, отец, — отозвался Серёжа. — Вы всегда были благородным рыцарем, и мне горько, что теперь вы обращаетесь в рыцаря скупого... Я сегодня же покину ваш дом. Прощайте!

— Иди, иди! Здесь никто не заплачет по паяцу!

— Мой слух неуязвим для ваших бранных слов! — парировал Серёжа цитатой из Шекспира.

Поднявшись в свою комнату, он, не медля ни минуты, стал укладывать вещи в дорожный баул.

— И куда же ты пойдёшь теперь, касатик? — горько вздохнула Лариса Дмитриевна. — Ведь это твой дом...

— Это дом отца, ма тант, а он не желает меня видеть. Впрочем, и я не пылаю желанием оставаться. В конце концов, я ожидал, что в один прекрасный день мне придётся сделать выбор. В душе я уже сделал его, и теперь просто подтверждаю. На отца я не держу зла. Его можно понять. Он мечтал, чтобы я пошёл по его стопам, а я не только не сделал этого, но обманул его. Так что в отношении меня всё справедливо. Я виноват сам. А, вот, то, что он не хочет назначить семье Михаила хотя бы пенсионера, несправедливо. Конечно, это мезальянс... Но речь же и не идёт о том, чтобы поселить эту девушку с ребёнком в нашем доме, хотя я и в этом не вижу ничего ужасного. Но бросить их на произвол судьбы — это недостойно фамилии Дагомыжских, которой так кичится отец!

— Не суди его, Серёжа... Просто ему очень тяжело сейчас, он очень страдает. Пройдёт время, и он одумается...

— Сомневаюсь, ма тант. Мне временами кажется, что он повредился в рассудке. Я не узнаю в нём прежнего отца... Не знаю, чему приписать это. Слышал, он и вас выгоняет?

— Он хочет, чтобы я поехала проведать наше имение...

— Почётная ссылка, — усмехнулся Серёжа. — Неужели он не понимает, что останется совсем один?

— Он поймёт... Но позже... Так как же ты будешь жить теперь?

— Прекрасно буду жить! — Серёжа улыбнулся. — В театре у меня много ролей, денег, которые мне там

платят, хватит, чтобы снять недорогое жильё и не положить зубы на полку. Так что всё будет благополучно.

— Если бы у меня были сбережения...

— Я не взял бы ваших сбережений, ма тант. Я сам всё решил, а за свои решения надо отвечать самому. Отец не смог сделать из меня офицера, но понятия о чести он всё же внушил мне, — Серёжа обвёл глазами комнату. — Вот, кажется, и всё... Ничего не забыл...

— Храни тебя Бог, касатик. Когда устроишься, дай мне знать. Не забывай... — Лариса Дмитриевна всхлипнула. — Господи, Господи, весь дом разрушается, вся жизнь...

— Полноте, ма тант! Не навеки прощаемся! — Серёжа обнял и расцеловал тётку и, простившись с ней, оставил родной дом. Больше прощаться было не с кем.

Бросив последний взгляд на стены дома, в котором прошла все его годы, Серёжа почувствовал, что начинается какая-то новая жизнь, в которой он больше не будет сыном генерала Дагомыжского, а станет всего лишь актёром Сергеем Кудрявцевым... Вместе с домом утрачивалась семья, а вместе с семьёй — возлюбленная... Правда, это слово было слишком сильным для мадемуазель Дежан, но прозаическое «любовница» Серёже не нравилось. Марго, отпущенная из-под ареста, заявила, что не намерена дольше оставаться «в этой варварской стране» и, как только следствие завершится, и ей будет разрешено покинуть пределы России, она незамедлительно уедет на родину, по которой давно тосковала. Поехать с ней Марго предложила и Серёже, но он только посмеялся над этим предложением. Тогда мадемуазель Дежан стала ругаться по-французски, обвиняя его в предательстве и обмане. После этой сцены Серёжа окончательно решил, что отношения с Марго зашли в тупик, и с облегчением почувствовал, что ничем более с ней не связан.



Место своей новой жизни «актёр Кудрявцев» определил заранее. Это была небезызвестная Семёновка — меблированные комнаты на Сретенском бульваре, где жило много слугителей Мельпомены. В этом вполне благопристойном заведении разрешалось даже держать собак, и Серёжа загодя решил, что обязательно заведёт себе фокс-терьера. Представители этой славной породы стяжали себе в Москве большую известность, ликвидировав засилье крыс, которых боялись даже жирные купеческие коты, в торговых лавках на Охотном ряду.

Прежде чем отправиться в Семёновку, Серёжа поехал в Протопоповский переулок, ещё прежде узнав в полиции, что там проживает цыганка Катя. Найти её не составило труда. Одетая во всё тёмное, с покрытой чёрной шалью головой, смуглая девушка встретила гостя насторожённо, всматриваясь в него угольками быстрых, пугливых глаз. Всматривалась и не говорила ни слова, ждала, чтобы он начал.

— Вы — Катя, я не ошибся? Жена Миши? — спросил Серёжа.

— Да... А вы его брат?..

— Да, двоюродный. Сергей.

— Я видела вас на кладбище.

— И я вас там видел.

— Что вам нужно?

— Скажите, Катя, у вас есть какие-нибудь средства для жизни?

— Откуда у меня могут быть средства? Пока Миша был жив, мы ни в чём не нуждались. Он находил деньги... Не знаю, где... Может, за них его и убили... — Катя утёрла уголком шали глаза. — А теперь ничего нет. С квартиры меня скоро погонят. А тогда одна дорога — на Хитровку. Свои меня теперь не примут. Я для них — преступница.

— Вы знаете, что дед завещал Мише половину наследства?

— Знаю. И знаю, что из-за меня он потерял право получить его.

— И вы не собираетесь требовать у нашей семьи какой-либо помощи? Ведь вы законная жена...

— Что я могу требовать у вас? Вы даже ему ничего не дали...

— Вы могли бы подать в суд. Присяжные приняли бы вашу сторону.

— Миша же не подал... И я не буду. Вы, наверное, считаете, что, если цыганка, так обманщица и воровка? А я Мишу любила. И судиться с вами я не стану.

— Я о вас вовсе не так думал.

— Тогда что вам нужно? Зачем вы меня учите, как у вашей же семьи деньги вымогать? Или сами вы с отцом какие-то счёты имеете? Так уж сами рассчитывайтесь, а меня не путайте, — глаза цыганки сурово сверкнули.

— Пойдите, Катя... Я не для того сюда пришёл... Уф... — Серёжа провёл рукой по лбу. — Я хочу вам помочь.

— Помочь? Не верю я вашей бескорыстности. Хотите свою выгоду получить...

— За что вы меня так судите, Катя? Я вам ничего дурного не сделал.

— Вы нет. Да другие расстарались! Я никому, кроме Миши, не верила.

— Может быть, всё-таки попробуете поверить мне? Хотя бы выслушайте.

— Выслушать могу, — голос Кати стал мягче, но глаза смотрели всё так же — недоверчиво, словно ожидая отовсюду какого-то зла. Глаза затравленной дичи...

— Сегодня я ушёл из дому, потому что мой отец не желает меня более видеть, не простив мне того, что я избрал поприще актёра. Я считаю, что несправедливо,

чтобы вы, жена Михаила, будущая мать его сына, моего племянника, остались один на один со своей бедой без средств к существованию. Мы не были с Михаилом друзьями. По-моему, он их вовсе не имел.

— Да, он не имел друзей. Потому что никому не верил... Как и я...

— Но мы не были и врагами. Я считаю своим долгом помочь вам, чем могу. Мой отец придерживается другого мнения. Но это его дело. Вы сказали, что на этой квартире вы не можете оставаться. Я предлагаю вам снять для вас номер в Семёновских меблированных комнатах. Я сам переезжаю туда же. Только не подумайте превратно. Никакой корысти относительно вас у меня нет. Я буду платить за этот номер, попробую устроить вас работать в наш театр. Вы же умеете петь и танцевать — уверен, что дело вам найдётся. Согласитесь, что это лучший вариант, чем Хитровка, о которой вы только что говорили.

Катя задумалась, по-детски кусая ногти, потом сказала негромко:

— Вы меня простите... Я вам обидных слов наговорила... А вы, я чувствую, человек незлой. Сердце у вас хорошее и глаза.

— Вам не за что просить прощения. Я всё понимаю. Так вы согласны на моё предложение?

— А разве у меня есть выбор? Всё же не Хитровка и не Москва-река... Спаси вас Христос, если, в самом деле, нет у вас мыслей дурных.

— Видит Бог, что мной движет только желание помочь вам и моему будущему племяннику. Я недавно лишился кузена, потом брата. Кто знает, может, и я был в чём-то перед ними виноват. Брать грех на душу и оставлять на произвол судьбы невинного ребёнка, в котором течёт кровь моей семьи, я не могу. Моя тётка мне с самого детства внушала заповедь: насытился сам — поделись с голодным. Она и сама так всегда жила. Ни

одного платья лишнего, ни одного украшения — всё раздавала. Отец сердился, но молчал. Она ведь своё раздавала. Вот, и меня она приучила лишнего не иметь.

Собираться Кате пришлось недолго. Был у неё вещей всего лишь один узел. Так и приехал Серёжа вдвоём с нею в Семёновку.

— Ба, Серж! — слышался оклик из окна третьего этажа. — И ты к нам перебираешься?

Серёжа задрал голову и увидел свесившегося из окна Якова Марковича, работавшего в театре бутафором и механиком.

— Да, будем соседями!

— Так это же прекрасно! Хотя уверен, ты здесь долго не удержишься!

— Почему вы так полагаете, Яков Маркович?

— Ты на хорошем счету в театре! А театр идёт в гору! Следовательно, элементарная арифметика позволяет рассчитать, что вскоре ты, дорогуша, сможешь нанять собственную квартиру!

— Было бы недурно, Яков Маркович!

— Ещё как! Ах, дорогуша, в прелестное время мы живём! Всё расцветает, всё пробуждается, какие-то новые процессы начинаются! Славно, славно! Боже, храни батюшку-государя! Чувствую, в это царствование мы добьёмся своего!

— Оптимист вы, Яков Маркович!

— Я? Разумеется, дорогуша! Надо же как-то уравновешивать пессимизм моей Зизочки. Кстати, что за прелесть стоит рядом с тобой?

— Это Катя, вдова моего кузена.

— Вот как? Примите мои соболезнования, голубушка! Эта такая драма — потерять любимого человека!

— С вашего позволения, Яков Маркович, мы пойдём устраиваться. Надеюсь наши братья во Мельпомене заняли ещё не все комнаты?

— Нет, думаю, кое-что ещё осталось. Советую вам селиться на нашем этаже.

— Почему, Яков Маркович?

— Потому что на первом разместились разная шантрапа и шаромыжники, которые занимаются шут знает чем. На втором ваши братья во сцене постоянно репетируют, пьют, как сапожники, дымят, как паровозы... Шум от них несусветный! А вашей спутнице в её положении подобная весёлая жизнь непользительна. Посему прошу к нам. Мы люди тихие, мирные, никого не трогаем — у нас тишь, гладь, Божья благодать, и никакого безобразья!

— Ну, спасибо за совет, Яков Маркович! — улыбнулся Серёжа.

— Не за что, не за что, дорогуша. Всегда рад услужить! Вечером непременно заходите на чай! — Яков Маркович исчез из оконного проёма.

— Какой неприятный человек, — сказала Катя.

— Разве? А, по-моему, милейший человек, — откликнулся Серёжа. — И большая умница. Даром что инженер. Такие механизмы изобретает для наших постановок — любо-дорого. Немного чудака, конечно, но кто без того? Зато всегда весел, ко всем добр. Вообразите, даже царскую фамилию уважает — портрет Государя на стене повесил. И хлебосолен. Жена его тоже довольно милая женщина. Правда, нездоровая. Нет, они замечательные люди. За чаем вы узнаете их лучше и измените своё мнение.

— У него глаза двоедушные...

— Полноте, Катя. Вы и меня вначале в штыки приняли.

— А можно я чай не пойду к нему пить?

— Катя, это уж ребячество какое-то! Вы что, собираетесь всех дичиться? Этак далеко не уйдёшь. Вам наоборот с людьми нужно сходитьсь. Люди ведь — если что — выручат. К тому же вам, может быть,

придётся работать среди них. И не бойтесь, пожалуйста, Якова Марковича. Это добрейший человек, поверьте. А чай мы ведь вместе пить пойдём. А я не дам вас в обиду, — Серёжа рассмеялся и лукаво подмигнул Кате. — А теперь идёмте. Застолбим себе наши кельи, устроимся, почистим перья да переведём дух с дороги. Не знаю почему, но я львиную силу чувствую в себе сегодня. Наверное, давно надо было оставить родительский дом и зажечь, наконец, по-своему, без оглядки на то, кто что скажет обо мне и подумает.

— О чём вы задумались, драгоценная Агриппина? — Саул протянул было руку, но Агриппина резко отстранилась.

— Не трогайте меня.

— Почему нет? Раньше вам это нравилось.

— Я устала, Саул. Устала жить двойной жизнью, устала от людей, оттого что... Вам этого не понять! Я выросла в благородной семье, где меня любили. Меня тогда и любили только. Всего несколько человек за всю жизнь. И я никогда почти не любила... Моя мать умерла, не простившись со мной, потому что я не смогла вырваться к ней из ссылки. Её похоронили чужие люди. Как безродную нищую. А ведь она была аристократка до мозга костей! Я мечтала жить иначе. Я мечтала о простом женском счастье. Я это поняла сейчас так остро, увидев ту девушку...

— Брюху позавидовали.

— Замолчите! Я же сказала, что вам этого не понять.

— Может быть, вы устали от нашей борьбы? — Саул недобро прищурился.

— Устала. Но вы можете быть спокойны. Из дела я не выйду. Это — моё дело. Кровное. Долг мой, — губы Агриппины скривились. — Если бы не этот долг, я бы уже была мертва, потому что мне всё опротивело.

— А я-то думал, что мы с вами совместно разделим плоды нашей победы!

— Я не верю в вашу победу. А в нашу ещё менее того.

— Вот как? То есть вы их различаете, драгоценная моя?

— Да, различаю. Я хочу покарать только врагов, только настоящих виновников той несправедливости, которая царит кругом. Вы же уничтожите каждого, кто встанет у вас на пути: правого или виноватого — не разбирая.

— А вы, кажется, считаете меня чудовищем. Надо же, какое открытие!

— Вы хладнокровный убийца.

— А вы, драгоценная моя? Вы со своим кредитором в нарды играть собираетесь?

— Это другое дело. Я хочу отомстить ему за смерть близкого человека. Вот и всё. Я поклялась и исполню свою клятву.

— У вас нервы расстроены.

— Правда. Но не всем же иметь металл вместо них и камень там, где должно бы биться сердце.

— Камень в мой огород?

— Вы звёзд не видите... Не замечаете... И я с вами почти замечать перестала. Я вчера посмотрела на небо и не смогла разыскать на нём созвездия гончих псов...

— С вами становится трудно иметь дело. Вы больны.

— Убьёте меня?

— Пока подожду. Вы же дали клятву!

— Я считаю, что мы должны съехать с этой квартиры.

— Зачем? Меня она вполне устраивает.

— Здесь слишком много людей.

— Люди, драгоценная моя, самая лучшая среда для того, чтобы скрываться.

— Я пойду.

— Куда?

— Посмотрю, как утроилась эта девочка. Может, ей нужна помощь...

— Вы баба, Агриппина! — зло бросил Саул. — Самая наиобыкновеннейшая баба! Пелёнки вам стирать, а не дело делать!

Агриппина, не отвечая, поднялась с кресла-качалки и покинула комнату. Саул мрачно поглядел ей вслед и подошёл к окну. То, что он увидел снаружи, заставило его поспешно отпрянуть назад и начать судорожно одеваться.

Как всё-таки непредсказуема жизнь! Не было ни гроша, и вдруг алтын! На рассвете в доме на Страстном раздался негромкий, но настойчивый стук. Вигель, не спавший всю ночь, услышал его почти сразу и поспешил открывать, чтобы нежданный гость не перебудил весь дом. На пороге, к своему удивлению, он увидел Василь Васильича Романенко, бодрого и свежего, как огурец. Впрочем, последнее было вполне естественным: бывалый сыщик всю жизнь поднимался в этот час, дабы лично в обличье дворника пройти к Бассейне и послушать все свежие московские слухи и сплетни.

— Вася, какая нелёгкая тебя принесла в такой час? — изумился Пётр Андреевич. — Перебудишь всех...

— Во-первых, доброго утра, дружище! — ответил Романенко, входя в дом. — Во-вторых, я, по-моему, никого не разбудил. У тебя лицо человека, прошедшего бессонную ночь.

— Ты прав, у меня был приступ бессонницы.

— Что ты говоришь? Надо травничку попить — говорят, помогает. Пустырнику там, мяты всякой. А, впрочем, я этой холеры за всю жизнь не знал — Бог миловал.

— Что стряслось-то?



— Стряслось, друг мой Пётр Андреич, стряслось! — Романенко расплылся в довольной улыбке. — По-моему, я раскрутил наше дело!

— Это как понимать?

— Ты знаешь, я дважды рассказывать не люблю. Разбуди Николая Степановича. Тогда всё расскажу. Хотел, понимаешь, до завтрака обождать, а не утерпел! Да и шибче надо действовать, шибче!

Немировский, отличавшийся чутким сном, мгновенно поднялся с постели и, облачившись в халат, спустился к ожидающему Романенко. Пётр Андреевич с давних пор завидовал способности своего учителя в считанные секунды сгонять с себя сонный дурман. Вот, и теперь, глядя на него, трудно было представить, что он только что поднялся с постели — в живых глазах ни намёка на сонливость — словно ждал старый следователь этого раннего визита. За чаем с чувскими булочками и сухариками Василь Васильич принялся рассказывать и, по ходу его рассказа, всё явственнее проступали контуры преступления... Николай Степанович время от времени уточнял некоторые детали и осаживал Романенко:

— Ты не горячись Вася, не горячись. Грызи сухарик да излагай всё чином, не перескакивая.

И Василь Васильич продолжал:

— Я как с этим «Ванькой» поговорил, так меня осенило! Илюху-то я, хотя он и противился, спать отправил, а сам кинулся оставшихся трёх человек, что были в столице в нужный срок, пробивать. Дело, конечно, ночью вельми хлопотное, но вы меня знаете: я кого надо с перин да из-под одеял вытянул и, представьте себе, нашёл нашего клиента! Зовут его, а точнее, как мне думается, звали Яковом Марковичем Глуховым. Этот самый Глухов, инженер-путеец, жил в Москве недолго, недавно был уволен со службы за какие-то нарушения, после чего в скором времени

съехал с квартиры и отбыл в Петербург по неизвестной надобности.

— И оттуда не вернулся? — спросил Вигель.

— Вернулся! В том-то и дело, что вернулся!

— Я так и думал, — кивнул Немировский. — Только, если быть точным, вернулся не он, а его убийца, присвоивший себе его имя.

— Вот, и я так же подумал. Но угадайте, где теперь осел этот так называемый инженер? В театре! Да! Работает механиком и бутафором! Назвать вам театр?

— Не стоит, мы поняли, — ответил Николай Степанович.

— Значит, это ему помогает Стива Калиновский... — догадался Пётр Андреевич.

— Любопытно только, в чём именно помогает...

— Брать нужно всю эту тёплую компанию! — решительно заявил Романенко. — Теперь же!

— Да погоди ты, Вася. Сгоряча и валежнику наломать можно, — осадил его Немировский. — Итак, какой натюрморт у нас выходит теперь? Пётр Андреич!

— Убийца посулил попавшему в трудное положение Глухову хороший барыш в случае, если он доставит ему из Петербурга нечто, за чем сам он по каким-то причинам поехать не мог. Передача должна была состояться в пульмановском вагоне. Преступник проник туда через окно, напоил Глухова и убил его... Сам взял его одежду и документы, а его одел в свою...

— Или угрозами заставил Глухова переодеться. Одежда на трупе была в полном порядке...

— Прибыв в Москву, он покинул вагон. У вокзала его уже ждала сообщница, которой он отдал поклажу, а сам поехал к казармам Х...ого полка... Можно предположить, что он проник в клуб через окно в кухне и совершил убийство... Но тут возникает ряд вопросов... Во-первых, какое отношение Михаил Дагомыжский имел ко всему этому? Во-вторых, откуда убийца знал так

подробно, как проникнуть в казармы, как действовать? В-третьих, пройти через зал, не привлекая внимания, он мог только в мундире офицера полка, но извозчик сказал, что поклажи при нём не было...

— А зачем ему была поклажа? Мундирчик-то он наверняка заранее спрятал в нужном месте. Неужели ты думаешь, Пётр Андреевич, что он туда полез без предварительной рекогносцировки? Это ж тебе не воришка с Хитрова рынка. Он, небось, всё досконально продумал, — сказал Николай Степанович.

— Но зачем? Зачем ему понадобилось убивать Михаила?

— Это уже вопрос. Впрочем, его бесполезно задавать, пока мы даже не знаем настоящего имени этого деятеля.

— К матери под вятери все вопросы! Арестуем, допросим — всё и выяснится!

— Экой ты коровий бык, право! Спешка, Вася, при охоте на блох нужна и ещё в одном неприятном случае.

— Но неужели же волынку тянуть? — нахмурился Романенко. — А если он лататы задаст<sup>13</sup>?

— Ничего он не задаст, пока не подозревает, что мы его уже вычислили. Я, кажется, догадываюсь, с кем мы имеем дело.

— И с кем же, Николай Степанович? — спросил Вигель.

— Василь Васильич, ты только что мельком сообщил нам, что в столице сряду несколько дней на всех вокзалах террориста ловили, а не поймали... Ты, часом, не сообразил запрос о нём послать?

— Нет, в голову не пришло...

— А надо было, чтобы пришло. Очень может быть, что это и есть тот, кого мы ищем. А, если так, то нетрудно догадаться, что могло быть в саквояже, который твой Глухов нёс с величайшей осторожностью.

— Бомба! — вырвалось у Вигеля.

— А, если это так, то недурно вспомнить, что нашли не так давно у Леонида Дагомыжского.

— Составляющие от бомбы...

— Именно, братцы мои! А ближайшим другом Леонида был всё тот же Калиновский. Предположим, некая группа готовит террористический акт, но чувствует какую-то угрозу. Тогда Стивочка отдаёт улики своему другу Лёне, которого уж точно ни в чём не заподозрят. Но — вот, несчастье, всё это было обнаружено его отцом. Отец, дорожа репутацией, шума поднимать не стал, но всё необходимое оказывается утраченным, и группе приходится разрабатывать новый план...

— А как вписываются в эту конструкцию угрозы генералу?

— Не угрозы, а предупреждения... — Немировский поднялся и заходил по кухне. — А что если бомбу готовили именно для генерала Дагомыжского? Пётр Андреич, мы ещё не получили данных о восстании в Н... ой губернии?

— Нет. Думаю, они должны прийти сегодня.

— Допустим, об этом узнал кто-то, кто не желал бы такого конца генералу, но по каким-то причинам не мог поговорить с ним лично, поэтому стал писать эти письма...

— Генерал думал, что это дело рук его племянника, — заметил Вигель.

— Очень может быть. Если Михаил был связан с этими людьми, то мог узнать об их планах убить его дядюшку.

— Это было бы ему выгодно, — вставил Романенко.

— Да, выгодно. Но подпоручик мог и не считать для себя возможным подобный образ действий. Предупредить генерала лично он не мог. Во-первых, слишком неприязненными были их отношения. Во-

вторых, это значило бы выдать себя и злоумышленников, с которыми он был чем-то связан. Поэтому в ход пошли анонимные письма, которые не возымели действия...

— Кажется, пока всё укладывается в схему, — Пётр Андреич слегка стукнул пальцами по краю стола. — Каковы наши дальнейшие действия, Николай Степанович?

— А ты какие бы действия предпринял, Кот Иваныч? Дело-то тебе поручено!

— Я бы отправил отряд полиции в Семёновку и на квартиру Калиновских.

— Вот, дело! — обрадовался Василь Васильич.

— Куда опять спешим? Кто вам сказал, что наши фигуранты в этот час именно там? Бутафор вполне может быть в театре.

— Послать наряд в театр!

— А ты, Вася, здорово знаешь, что там и где находится? Не знаешь! А он каждую лазейку успел изучить и ускользнёт, как угорь! Обождите до вечера. Отправьте пока запрос в столицу. Пошлите агентов к театру, на Стретенку и к Калиновским. Бутафора брать только вне театра!

— Он, кажется, живёт с женой, — вспомнил Романенко.

— Значит, брать обоих. Действовать продуманно, чётко и быстро. Калиновского задержать дома. А в театр послать наряд, когда все репетиции там закончатся. Спектаклей, кажется, нет сегодня.

— А в театр зачем наряд? — не понял Романенко.

— Представь себе Вася, что ты террорист.

— Не дай Бог!

— А ты представь! Ты бы бомбу у себя в квартире под кроватью хранил?

— Ну, я не знаю... И ихней логики не понимаю... Логика вора — пожалуйста, а террористы — не мой

контингент.

— Он — бутафор, садовая твоя голова. Ты представляешь сколько укромных мест может быть в кладовой со всякими колоннами и конскими головами для небольшого неприметного саквояжа?

— Понял, — кивнул Василь Васильич. — На Сретенку сам намылюсь, а в театр Илюху пошлю — он там, аки пёс, всё обрыщет.

— Тогда я наведаюсь к Калиновскому, — решил Вигель. — Сдаётся мне, что этот юнец совсем не крепкий орешек. Авось, и вытяну из него на этот раз всё, что требуется...

Василь Васильич встал и размашисто перекрестился:

— Бог нам в помощь!

— Ах, умоляю вас, осторожнее! Ведь это же декорации спектаклей, которые идут на нашей сцене ежевечерне! Если вы что-нибудь сломаете...

Илья Никитич смерил директора театра насмешливым взглядом, прищёлкнул зубами. И что этот колобок с сияющими залысинами путается под ногами, жужжит, как надоедливая муха, и мешает сосредоточиться на деле?

— Господин Авгурский, вы могли бы заметить, что я крайне аккуратно обращаюсь с вашим хламом...

— Это не хлам! — нахохлился директор.

— Хорошо, с декорациями. Я мог бы привести с собой человек десять полицейских и просто-напросто приказать им перевернуть вверх дном ваши склады и каморку вашего бутафора. Вместо этого я лично добросовестнейшим образом всё осматриваю, дабы не причинять лишнего ущерба и беспокойства вашему театру. А вы? Нет бы поблагодарить! Стоите у меня над душой и действуете на нервы! — Овчаров открыл очередной сундук.

— Нет, — Авгурский смутился, — я очень ценю столь тактичное отношение... Просто у нас ещё никогда не бывало обысков...

— Всё когда-то случается в первый раз, — вздохнул Илья Никитич. Он был огорчён. Но не тем вовсе, что, перевернув добрую половину склада, ничего так и не обнаружил, а тем, что в это самое время его шеф, возможно, уже арестовал опасного преступника, а он, Овчаров, оказался в стороне от этого славного дела и вынужден рыться в пыльной бутафории. Илья Никитич ощущал себя незаслуженно обиженным и обделённым.

— Кто бы мог подумать, — качал головой Авгурский, утирая большим платком лысину. — Он казался таким неприятнейшим человеком... Так сразу расположил меня к себе...

— Внешность бывает обманчивой.

— О да, о да. Но ведь это ещё может оказаться ошибкой?

— Не может.

— Да... И жена его, Зизочка, милая женщина. Её я знаю гораздо дольше. Она работала у нас гримёршей... Правда, я был очень удивлён, когда она попросила взять на службу своего мужа, инженера...

— Почему вас это удивило?

— Я всегда считал, что у неё нет мужа. Она одна жила. Говорила, что муж её умер... Я спросил её об этом. Зизочка ответила, что этот брак неофициальный, если так можно выразиться. Говорила, что Яков Маркович работал прежде вне Москвы, а потому она о нём и не упоминала. А теперь потерпел по службе и оказался не у дел...

— И вы согласились помочь?

— Да, — отозвался директор, садясь на лапу золотого сфинкса. — Мне был нужен механик и бутафор. И такой специалист был крайне полезен. Яков Маркович сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны.

За несколько дней столько изобретений придумал! И как мы теперь будем без него обходиться? Истинное бедствие...

Овчаренко подошёл к сфинксу и постучал по нему:

— Гипс?

— Да. Осторожнее, пожалуйста.

— Очень ценная вещь?

— Да. Яков Маркович буквально на днях собрал его. В подставку какой-то хитрый механизм включил...

— Яков Маркович? На днях? Механизм? — Овчаров оскалился. — Можно у вас ломик попросить?

— Ломик? — директор побледнел. — Что вы хотите сделать?

— Не волнуйтесь, серьёзных повреждений постараюсь не наносить, — Овчаренко уже сам углядел висящий на стене ломик и, сняв его, подошёл к сфинксу. Авгурский зажмурил глаза. Илья Никитич с силой ударил ломом по постаменту и осветил фонарём в образовавшуюся дыру.

— Кажется, есть! — торжествующе воскликнул он, выхватив из тайника небольшой саквояж. — Кликните кого-нибудь ещё. Понятыми будете.

— Таша! Таша! — нервно заголосил директор.

На его зов прибежала старуха-уборщица с испуганным лицом.

— Постой здесь, — велел ей Авгурский.

Овчаренко водрузил саквояж на табурет, открыл его и довольно крякнул:

— Вот, она. Её величество бомба... Эх, господин Авгурский, а вы мне ломик давать не хотели! А что если бы эта дрянь у вас взорвалась?

— Сохрани Господи... — пролепетал директор, а уборщица мелко закрестилась.

— Я же вам говорил, что у нас ошибки быть не может, — довольно произнёс Овчаров, пригладив рукой соломенные волосы. — Так-то!



Зеленоватый свет струился из-под абажура и едва достигал углов просторной комнаты. Но это не мешало полицейским методично изымать из шкафов книги и вещи и, осмотрев их, бросать тут же на ковёр, который прежде был снят, дабы проверить пол на наличие тайников. Работа не кипела, а рутинно шла своим чередом. Пётр Андреевич Вигель разместился за столом и внимательно перебирал все обнаруженные записи, документы, письма, изредка поднимая глаза на сидящего перед ним Калиновского, ссутулившегося и бледного.

— Как же это угораздило вас, Степан Францевич, затесаться в такую неподходящую для вас компанию? Ведь ваш отец солидный человек, коммерсант... Чего вам не хватало?

— Свободы.

— Эти побасенки мы слышали. Вы, может, скажете ещё, что сражались за независимость Польши?

— Да! Как Тадеуш Костюшко!

— Я так и подумал, что кличку эту вы в честь него взяли, пан Тадеуш. Только, вот, Костюшко был отважным воином, а о том, чем вы занимались, я уж лучше умолчу. Не уверен, что ваш кумир подал бы вам руку. Да и не трясся он, как осиновый лист, в отличие от вас. Эх, Степан Францевич, куда вас занесло? Ну, какой из вас революционер, право слово? Смех один... Смотреть на вас жалко.

— Не смейте издеваться!

— Издеваться? Это не моя специальность. А, вот, каторжане, должен вам напомнить, «политиков» не жалуют. Читали, небось, Достоевского? Вот, уж там я вам, извините, ничем помочь не смогу.

— Угрожаете?

— Нет, сожалею об вас.

— И за что же вы меня в каторгу упечь хотите?

— Я хочу? Помилуйте! Ни малейшего желания не имею. Но — закон! Ведь статей-то на вас — ворох! Антиправительственная деятельность, участие в террористической группе, имеющей своей целью не что иное, как террористический акт, подготовка к оному, соучастие в двух убийствах и, возможно, совершение третьего!

— Это ложь! — вскрикнул Калиновский.

— Что именно ложь из всего перечисленного, потрудитесь объяснить.

— Я никого не убивал! Чьё убийство вы хотите на меня повесить?!

— Да помилуйте, Степан Францевич, друга вашего, Леонида Дагомыжского! Убеждён, что вы вполне могли проникнуть в дом и подмешать ему яд, — Вигель говорил медленно, не сводя глаз с Калиновского. Он знал наверное, что Стивочка никого не убивал, но нарочно бил именно в эту цель, рассчитывая заставить его выложить всё, что было ему известно, дабы обелить себя и снять с себя это — самое страшное — обвинение.

— Вы с ума сошли!

— Ни в коей мере. Ведь целью вашей троицы был сам генерал Дагомыжский, не так ли? Кстати, какие у вас с ним счёты?

— Не ваше дело.

— Грубо. Как угодно — мы выясним это сами. Вряд ли Леониду понравилось, что вы собираетесь убить его отца...

— Да он был бы только рад этому! Он ненавидел отца!

— Вот как? За что же?

— Из-за мачехи, разумеется, — в голосе Калиновского послышалось что-то похожее на ревность. — Этот дурак был в неё влюблён!

— А! Всё ваш клуб мальчиков Эдипов... А я, вот, думаю, что Леонид хотел донести на вас, поэтому вы и

убили его.

— Нет! Это не Лёня нас предал... Лёня ничего не знал. Он же был полоумным. Неужели мы бы доверились ему?

— Кто же в таком случае?

— Михаил... — глухо отозвался Калиновский.

— Так он тоже был одним из вас?

— Он не был членом группы. Но помогал нам. Кое-что прятал, кое-что относил в нужные адреса и передавал нужным людям. Он ведь был офицером, и ему это было проще — на него никто бы не подумал.

— А зачем Михаил помогал вам?

— Саул шантажировал его.

— Саул? Это, надо полагать, некто Осип Самуилович Гершензон, присвоивший себе в последнее время имя Якова Марковича Глухова?

— Да, он... Саул узнал, что Михаил тайно женился на цыганке. Если бы это вскрылось, он бы лишился наследства и был изгнан из полка.

— А потом вы решили, что он из ненависти к дяде и желания получить деньги, которые тот ему не отдавал, согласится помочь вам убрать его?

— Да.

— А он не согласился.

— Он повёл себя крайне вызывающе. Сказал, что ему плевать на шантаж, на позор... Что он сам о себе всё откроет. Правда, он сказал, что доносчиком не станет, но Саул ему не поверил.

— Откуда вы узнали о том, как проникнуть в казарму?

— От цыган. Саул несколько раз проверил этот лаз, прежде чем... И мундир он спрятал там заранее.

— А откуда он раздобыл мундир?

— Это был мундир Михаила. Старый... Я наврал Лёне, что он нужен мне для маскарада, и он принёс мне его.

— А когда Михаила убили, Леонид догадался, что стал соучастником и...

— Я не убивал его! Я могу это доказать!

— Вот это уже интересно. Чем вы можете это доказать?

— Доказательство лежит в шкатулке, которая стоит перед вами. Достаньте оттуда письмо, которое лежит на самом дне, и прочтите...

Вигель извлёк из коробки стопку писем и, взяв самое нижнее, развернул его и принялся читать:

— Милый Стивочка! Сегодня я понял, что час настал. Ты знаешь, я давно готовился к этому. «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг — Такая пустая и глупая шутка...» Не могу и не хочу больше участвовать в этой пустоте и глупости, дышать одним воздухом с людьми, которых презираю, и которым я ненавистен. О ней — я узнал всё. Лживая тварь! Она смеётся надо мной. Они все смеются. Я видел их вдвоём. Я мог бы рассказать отцу, открыть глаза этому старому идиоту, но не стану этого делать, потому что слишком его презираю. Пусть растит свои рога и дальше да бодает ими всех, кто подвернётся... А они... И убил бы их обоих... Но — чёрт с ними! Мерзко думать...

Итак, конечно. Мне мерзка пьеса под названием «Жизнь». И ненавистен автор, который её написал, если таковой, вообще, есть. Если есть, то я с наслаждением плюнул бы ему в лицо.

Сегодня я узнал о гибели Миши. Уверен, что ты приложил к этому руку. Это и был твой «маскарад»? Стало быть, я убийца. Косвенно и невзначай, но всё же. Я прислушался к себе и, вот, чудо: ни малейшего содрогания не вызвала во мне эта мысль. Ни малейших угрызений совести, жалости... Мне даже смешно стало...

В моей душе давно нет ничего, кроме омерзения, отвращения ко всему и всем. Если бы мог я дать хорошего пинка человечеству, чтобы оно, наконец, растянулось и полетело бы кубарем в пропасть! Вот — моё единственное желание.

Я решил уйти. Но напоследок потешусь! Я их всех запутаю в мою смерть, чтобы подозревали друг друга и боялись! Ни с кем больше прощаться я не стану. Только с тобой. Ты будешь моим свидетелем, свидетелем моего венчания с моей невестой, имя которой Смерть...

— Вот, вы теперь понимаете, что я ни причём? — спросил Калиновский.

— Почему вы не предъявили это письмо прежде? — спросил Пётр Андреевич.

— Такова была воля Лёни. Он хотел потешиться...

— Ему это удалось. Но весьма глупо с вашей стороны было участвовать в подобной потехе. Вы скрыли от следствия важную информацию и будете за это отвечать.

— Но не за убийство?

— Успокойтесь, Калиновский. Никто не обвинит вас в смерти вашего помешанного друга... Вы даже можете получить снисхождение суда и ссылку вместо каторги, если согласитесь помогать следствию.

— Чем же я могу ещё ему помочь?

— А, вот, об этом мы поговорим подробнее на официальном допросе. Мой вам совет, пан Тадеуш, не отпирайтесь и не выгораживайте ваших поделщиков. На вас пока, к счастью, нет крови. Вы молоды, у вас порядочная семья. Всё это, помноженное на раскаяние и помощь следствию непременно склонит чашу правосудия в вашу пользу, — Вигель раскрыл большую папку и обнаружил в ней карандашные наброски. — Ба! Ваши работы?

— Мои, — вздохнул Калиновский.

— Весьма недурно, весьма. Я в этом кое-что смыслю. Сам, знаете ли, люблю иногда поработать карандашом, а, если выдаётся время, так и маслом. Вы маслом пишете?

— Предпочитаю акварель.

— Тоже хорошее дело... Аполлон, Геркулес, Парис, Марс, Адам... А где же Венеры и Афины? Они вам не по сердцу?

— Не вдохновляют.

Вигель усмехнулся и достал следующий рисунок:

— А это, кажется, ваш друг Леонид? Вы и его изобразили, как Адама... Он вам позировал?

— Нет... Это авторская импровизация... Вам очень нравится рыться в чужих вещах?

— Нет, поверьте, я предпочёл бы теперь сам стоять у мольберта. Но что поделаешь! Служба! Приходится, вот, ваши художества разбирать... Я смотрю, вы много рисовали вашего друга...

— Да, мне нравилось его рисовать.

— А это кто у нас? Ба! Царь Саул! Можно узнать, с кого вы писали сей портрет?

— А вы будто бы не догадались...

— Ваша правда. Очень, очень яркая работа... И типаж... А себя вы изобразили в качестве Ионафана? У вас, что же, были не безоблачные отношения?

— У нас были разные отношения, — сухо отозвался Калиновский. — Я с него Мефистофеля хотел писать... Или Демона. Мне хотелось превзойти Врубеля.

— Да, прекрасная натура для Мефистофеля, — согласился Вигель. — Эх, Степан Францевич, ну, зачем вы впутались в это дело? Ведь вы художник! Писали бы картины, оформляли декорации... И чего вам не хватало? А это что у нас? Юдифь, заносщая меч... Кого-то мне эта Юдифь напоминает... Кстати, типаж не очень удачный. У вашей Юдифи слишком славянские черты лица... С кого вы это писали?

— Не всё ли вам равно?

— А обещались следствию помогать!

— Я вам ничего не обещал!

— Напрасно, Калиновский, напрасно. Так-с... А это? Всё та же Юдифь только уже в настоящем обличье? Портрет? — Вигель отстранил от себя лист, рассматривая изображённое на нём лицо женщины. Довольно красивое русское лицо, полное воли и решимости, светлые волосы, а глаза — беспокойные, наполненные болью, и на лбу — морщина пролегла, такая же скорбная, как заломы в уголках губ. Трагическое лицо — вся судьба на нём отпечаталась. И Пётр Андреевич мог бы поклясться, что он видел это лицо прежде. Более того, рисовал его... Но где? Когда?

— У вас, Калиновский, талант несомненный... А имя вашей Юдифь я вспомню, не сомневайтесь. У меня на лица память дважды профессиональная: следовательская и художническая...

## Глава 3

Этой ночью Василь Васильич не мог уснуть. Его била лихорадка — явный признак начинающейся простуды, ныло ушибленное плечо, но, главное, не знала покоя душа. В голове снова и снова прокручивались события прошедшего вечера, и Романенко пытался понять, где же он ошибся.

На Сретенку он с нарядом полицейских нагрянул внезапно, оставил караул у входа и ещё несколько человек рассредоточил по бульвару, а сам в сопровождении нескольких подчинённых поднялся в комнаты, занимаемые неким Яковом Марковичем Глуховым и Зинаидой Алдоной. На требование открыть ответа не последовало, и полицейские выбили дверь. В это же время человек, именовавший себя Глуховым, выпрыгнул в окно, не испугавшись и высоты третьего этажа.

— Взять его! — крикнул Романенко дежурившим внизу полицейским и сам, как в молодые годы, прыгнул в окно, ушибив плечо при падении.

Из окон высунулись любопытствующие лица. Кто-то пьяно крикнул:

— Ату его, ату!

— Ох, Якова Марковича ловють!

— Едрит твою... Неужели вором оказался?!

— Да у него это на роже написано!

— На свою посмотри!

— Не трожьте Якова Марковича! Он нам завсегда на водку давал, а назад не спрашивал!

— Яков Маркович, задавай лататы шибче!

Замедлились и прохожие, наблюдая разыгрывающуюся драматическую сцену. Яков Маркович, окружённый на всех сторон, выхватил



револьвер, и видно было, как напрягся каждый мускул его, словно у готовящегося к прыжку зверя.

— Бросьте оружие, Гершензон! Оно вам уже не поможет! — крикнул Романенко.

Сверху опять послышался пьяный смех:

— Братцы, а это, оказывается, не Глухов, а Гершензон!

— Ясный месяц! Они завсегда русские фамилии цепляют!

— Бросьте свои охотнорядские штучки!

— Ату его!

На мгновение показалось, что Глухов-Гершензон готов сдаться, но внезапно он словно провалился под землю, прыгнув в канализационный люк, оказавшийся отчего-то открытым.

— Ах, горой вас всех раздуй! Фонарь! Подать сюда фонарь!

Молодой полицейский тотчас вынырнул, держа фонарь:

— Есть фонарь, ваше благородие!

— Молодец, Федька. Лезь первым, я за тобой.

— Может, не стоит вам, Василь Васильч!

— Лезь, кому сказано! А вы, — зыркнул Романенко на остальных подчинённых, — смотрите мне, не упустите его подельницу, а не то в битое мясо превращу...

Подземелье сразу обдало сыщиков сыростью и смрадом. В слабо мерцающем свете Василь Васильч заметил краем глаза в углу тушу какого-то животного. Впереди послышалось частое дыхание: это удирал, проворно перебираясь через завалы, в которых увязали ноги, преступник.

— Вперёд! — скомандовал Романенко.

Ноги скользили по чему-то скользкому и мерзкому, проваливались, увязали.

— Говорят, здесь кости человеческие находят, — прошептал Федька с дрожью в голосе. — Ну, как мы и теперь по чьим-то костям?..

Василь Васильич не ответил. Впереди блеснул свет. Это был ещё один люк.

— Уйдёт, сволочь! — прохрипел Романенко, бросаясь к лестнице.

Выбравшись на поверхность, он заозирался по сторонам, но преступник исчез, словно растворившись в толчее московского вечера. Василь Васильич передёрнул плечами — он изрядно продрог за время путешествия по подземелью, закурил, причмокнул языком:

— Чох-мох, не дал Бог...

— Да куда он денется, ваш благородь? Сыщем! — сказал Федька, вылезая следом.

— Сыщем... — хмуро отозвался Романенко. — Знать бы, где теперь этого мерзавца искать... В бараний рог согну! Я из-за него в дерьме весь вывозился. Да и ты тоже...

— Отмоемся, — осклабился Федька.

Следующим ударом для Василь Васильича стало известие о том, что и Зинаида Алдонова успела скрыться в общей суматохе. Оказалось, что в момент прихода полиции, она сидела в гостях у переехавшего в Семёновку Серёжи Дагомыжского и пила чай с цыганкой Катей, а, когда, услышала крики, то, воспользовавшись тем, что полиция увлеклась поимкой Гершензона, покинула дом в неизвестном направлении.

— Яков Маркович мне сразу не понравился, — говорила Катя. — Душа у него, чёрная, как труба печная внутри, как локон цыганский, как крыло воронье... А женщина — другая. Она незлая. Она несчастная очень, а потому на всё готова.

— Кто бы мог подумать, что Яков Маркович... — Серёжа сокрушённо качал головой. — У него даже

портрет Императора висел... И, вообще... Неужели это он — Мишу?..

— Вне всяких сомнений, — ответил Романенко.

— Вы найдите его, — тихо сказала Катя, блеснув глазами. — А, если вы не сыщете, так уж я найду... И лучше для него будет, чтобы вы раньше успели...

Из Семёновки Василь Васильич вместе с Федькой покатыл в Ламакинские бани, дабы отчистить грязь, а главное дух московского подземелья, который впитался, кажется, в самую в кожу... Но даже баня не принесла ему удовольствия. Его сыщицкая гордость была задета за живое, и теперь он знал точно, что не сможет успокоиться, пока не арестует сбежавших преступников.

После бани Романенко вынужден был делать доклад о постигшей его неудаче и вернулся к себе в Могильцы уже под ночь, чувствуя, что путешествие по подземелью не прошло даром. Глафира сразу засуетилась вокруг:

— Ай захворал ты, батюшка мой? Жар, чаю, у тебя. Ай стряслось что?

— Ничего не стряслось, устал просто, — хмуро ответил Василь Васильич, уходя к себе в комнату.

— Ай я не вижу? Ты бы хоть щец похлебал, родимый... Да чаю горячего с малиною или мёдом...

— Водки принеси согреться, — отозвался Романенко из-за двери.

Глафира принесла штофик водки, рюмку и тарелку с малосолеными огурчиками:

— Угощайся, Вася.

— Спасибо.

Глафира хотела было обнять и приласкать его по-бабьи, но Василь Васильич отстранил её:

— Не сейчас, Глаша. Мне подумать надо... Иди.

— Тебе не думать сейчас, а поспать хорошо. Ещё не дай Господи расхвораешься...

Но уснуть Романенко не мог. Лишь под утро тяжёлая дремота заволокла его сознание, но тотчас в дверь забарабанила Глафира:

— Вася! Вася, родимый, проснись скорее!

— Что ещё поделалось? — буркнул Василь Васильич сипло.

— Тебя тут спрашивают. От Тимохи мальчонка прибежал... Говорит, позарез ты нужён.

От Тимохи... Романенко вспомнил, что накануне велел раздать всем агентам описание бежавших преступников, а Тимохе, словно по чутью какому-то, приказал снести даже карточку. Неужто?.. Дремота слетела мгновенно, и Василь Васильич в одном исподнем вышел из комнаты. В прихожей его дожидался мальчонка лет десяти, уминавший пирожок, который ему уже всучила Глафира.

— Вы господин Романенко? — спросил он.

— А ты кто будешь?

— Я дворников сын. С Сивцева. Там ваш шпик торчит. Наказал мне к вам срочно бежать, обещался, что вы мне пяточок дадите.

— Дам. Что он передать сказал?

— Сказал, что клиент, чью карточку вы ему вчерась прислали, пришёл в известную квартиру и теперь там.

Аж сердце зашло от такой новости. Василь Васильич радостно потёр руки:

— Вот, это новость, так новость, всем новостям новость! Глафира, дай гонцу два, нет, три пяточка — пусть себе сластей купит. И пирожка, пирожка ему дай ещё!

Романенко скрылся у себя в комнате и через несколько минут вышел оттуда уже в свежем мундире, чисто выбритый и бодрый:

— Глафира, до вечера не жди!

— Как же? А завтрак?

— Не до завтраков мне! И не до обедов даже!

Дом на Сивцевом Вражке оцепили со всех сторон.

— Чтоб ни одна мышь не проскочила, горой вас раздуй! — велел Василь Васильич и вместе с Овчаровым и несколькими полицейскими поднялся к нужной квартире.

— Как это ты оплошал вчера? — трунил Илья Никитич. — Что, крепка сеть была, да рыбёшка прорвала?

— Молчи уж, пустельга! И на старуху проруха бывает, — Романенко позвонил в дверь. За ней раздались шаркающие шаги, лязг цепочек и задвижек, и, наконец, на пороге возникла бесполоая фигура в балахоне, спросившая неживым голосом:

— Что вам нужно?

— Нам нужен некто Осип Самуилович Гершензон, который, по нашим данным, находится в вашей квартире.

— В моей квартире таких нет.

— Может быть, в ней есть некто Яков Маркович Глухов?

— В этой квартире нет никого, кроме меня.

— Вот как?

— И вашего пророка тоже нет дома? Куда же это он отлучился?

— Далеко. Вам уж не догнать его.

— А это мы проверим. У нас ордер на обыск в вашей квартире.

— Обыскивайте... — фигура ушла, и сыщики, а следом за ними и Тимоха в малиновой рубахе и сапогах с набором вошли в квартиру.

— Тишина-то какая, — заметил Овчаров. — Как в могиле. И дух... Нехороший дух...

— Я после вчерашнего никакого духа не чую, — признался Василь Васильич, хлюпнув носом.

— А я чую... — Овчаров покрался вдоль стены и, остановившись у одной из дверей, толкнул её. За

дверью оказалась маленькая тёмная комната, в глубине которой стояла высокая кровать, а на ней неподвижно лежал человек.

— Он мёртв, — определил Илья Никитич. — Но это не Саул.

— Значит, пророк... — сказал Романенко, подходя и разглядывая жёлтого, как мумия, высохшего мертвеца. — Любопытно, когда он преставился и самостоятельно ли?

— Врач определит, — пожал плечами Илья Никитич.

— Вашему врачу ничего не надо определять, — слышался шелестящий голос хозяйки. — Он умер три недели тому назад. От чахотки.

— Три недели?! — Романенко присвистнул. — Это что же, надо понимать, мы наблюдаем мощи?

— Мощи — выдумка фанатиков, — ответила хозяйка. — А вы видите деяние науки. Тело забальзамировано, а потому не будет подвержено тлению, не будет также и захоронено, но останется здесь, со мной.

— Забальзамировано, говорите? То есть органы извлечены?

— И заспиртованы.

— Кто же проводил эту операцию?

— Я сама. Он научил меня...

— Я думаю, вы, госпожа Исида, или как вас там по-настоящему, нас разыгрываете. Все эти три недели в вашей квартире проводились сеансы, на которых этот покойник вполне живо ораторствовал.

— Это говорил его дух.

— Ах, дух!

— Именно.

— Ваш благородь, мы все комнаты осмотрели, но здесь никого нет, — доложил вошедший Федька.

Романенко обернулся к Тимохе.

— Быть того не может, — сказал тот. — Я с дома глаз не спускал. Он вошёл сюда и не выходил.

— Чертовщина какая-то, — пробормотал Василь Васильич. — Как думаешь, Илья Никитич? Черти в этой квартирке живут. Люди исчезают, духи разговаривают...

— Я в чертовню не верю, — ответил Овчаров. — Давайте ещё раз осмотрим здесь всё.

Но и новый осмотр не дал никаких результатов. Василь Васильич опустил на стул, закурил, прищурился.

— Что будем делать? — озадаченно спросил Илья Никитич.

— Погоди, пустельга... Прикидку сделать надо...

— Так ведь осмотрели же всё...

— Ты, друг мой Илья, хорошо ли представляешь себе планировку квартир в московских домах?

— Вовсе не представляю.

— А, вот это очень зря, — Романенко вдруг повеселел. — В такой квартирке, как эта, должна быть ещё одна комнатёнка. А, хозяйка? Куда вы комнатёнку-то схавали? Может, сами скажете, для экономии нашего совместного времени?

— Вам надо — вы и ищите.

— Найдём, дамочка, найдём, не сомневайтесь. И будете вы с духами где-нибудь в Бутырках разговоры учёные вести.

При третьем обходе квартиры Василь Васильич остановился перед массивным гардеробом, стоявшим в комнате хозяйки, открыл его и, помедлив мгновение, толкнул рукой стенку, и она неожиданно легко поддалась, открылась, и взору сыщиков предстала потаённая комната, заставленная различными ценными вещами, стоящими немалых денег, а среди этого богатства на кресле, похожим на трон, восседал, положив ногу на ногу, Осип Самуилович Гершензон, с презрительным видом куривший сигару.

— Ба! Царь Саул собственной персоной! — Романенко хлопнул себя по ляжкам. — Ай-ай-ай, Осип Самуилович, зачем же вы вчера так от нас припустились? Да ещё в канализационный люк? Не простудились, часом? В нашем возрасте такие прогулки уже небезопасны.

— Нашли всё-таки, — усмехнулся Гершензон, вздёрнув подбородок с остроконечной бородкой. — Поздравляю. Думаете, победили? Э, нет... Ну, осудят меня, ну, на каторгу сошлют. Так я был там уже. Сбегу, не сомневайтесь. Да и разве ж я один? Э, есть, кому дело продолжить. Будьте благонадёжны! Мы ещё вам всем шеи посворачиваем.

— Это вы свою поделницу имеете ввиду? Так мы её уже взяли. И Калиновского тоже.

— Этих-то? Да и чёрт с ними, — Гершензон закашлялся и встал. — Это не борцы, а мусор. Стивочка, в особенности. Зизочка прежде внушала надежды, но у неё сдали нервы... Одно слово, баба! Есть много других. И вы их ещё узнаете.

— И повесим, — пообещал Овчаров зло.

— Надеть на него наручники и увести, — приказал Василь Васильич.

Двое полицейских увели арестованного.

— Батюшки, добра-то сколько... — выдохнул Федька, осматривая комнату.

— И какого добра! — Романенко прищурился. — Вон те часики две недели назад у купца Свешникова с Мясницкой вынесли, а картиночку ту у надворного советника Ратманского с Трёхпрудного в прошлом месяце... А эту вазочку... Ммм... Забыл. Ну, ничего, потом вспомню. Хорошие вещи... Стало быть, хранением краденого промышляем, хозяйка?

— Люди приносили, просили подержать временно. Я не спрашивала, где брали.



— Замечательно. А это вы расскажете уже в участке. Федька, проводи дамочку!

— Вы не имеете права.

— О правах мы с вами в другой раз поговорим.

— Ваш благородь, а с телом-то что делать?

— Что-что? Забирать. Нужно, чтобы наши эскулапы его осмотрели. Вдруг он не от чахотки помер, а дамочка его на тот свет спровадила? Вон она умелая какая! Органы заспиртовала, тело забальзамировала.

— Вы не смеете его трогать.

— А придётся. Не дело, чтобы трупы по квартирам лежали. Похоронить требуется.

— Он не хотел, чтобы его хоронили. На то завещание есть.

— Завещание не наша забота. Если есть, то те, кому положено разберутся. Вы бы лучше, мадам, потрудились сообщить, кем вы доводите покойному. К чему уж теперь-то маскарад?

— Я его жена, — последовал ответ.

— Законная?

— Считайте, как угодно. Я и в прошлой жизни была его женой.

— А господин Гершензон кем вам доводится?

— Он мой брат.

— Тоже по прошлой жизни?

— Нет, по этой.

— Ну, слава Богу! Федька, уводи. И людей пришли... за телом.

— Слушаюсь, ваш благородь!

Василь Васильич пригладил волосы и высморкался:

— Ну и семейка... Чёрт бы их драл всех...

Овчаров подошёл к стоявшему в углу граммофону и включил его. Тотчас в комнате зазвучал глухой голос:

— Человек! Тысячелетия тебя заставляли подавлять своё естество во имя отвратительной лжи, провозглашаемой лицемерами в рясах! Отринем же,

отринем, наконец, эту гнусность и провозгласим во весь голос: мы — господа себе и миру, мы — хозяева жизни и природы! Почувствуем себя не рабами, но богами и возьмём то, что положено нам, что отнималось у нас веками!..

Илья Никитич остановил запись и усмехнулся:

— Вот тебе и дух...

— Да, лихо! — Романенко покачал головой. — Оборотистая баба! Это ж надо удумать... Ну, и время! Мертвец становится пророком, и люди идут слушать слово праха, воспринимая его, как откровение...

В прихожей послышалась возня: это выносили тело «проповедника».

— Понесли господина мира, жизни и природы, — хмыкнул Илья Никитич. — Бога! Не успел бедолага взять то, что отнималось у него веками.

— Да... А нам с тобой надо успеть описать всего этого краденого имущества составить. Начальство будет довольно!

— Прямо скажем, недурной улов! — довольно отозвался Овчаров.

— Но Тимоха-то, Тимоха каков! — воскликнул Василь Васильич, хлопнув по плечу стоявшего рядом паренька. — Молодец, брат! Оправдал доверие! Будет из тебя сыщик! Вечером приходи к ужину — от себя тебе премию дам!

— Спасибо, Василь Васильич! — Тимоха расплылся в улыбке.

— Теперь возьми деньги и принеси мне чего-нибудь перекусить. Нам тут работы ещё надолго, а я со вчерашнего обеда кроме водки и огурца ничего во рту не имел. А теперь после дела такой аппетит проснулся, что быка бы зараз разделал. Эх, братцы мои, хорошо это, когда дело заканчиваешь! Теперь, вот, пару дней отпуску возьму — подлечиться и дух перевести. А с

этими пусть жандармерия разбирается — это их контингент, а мы за них сработали.

В доме генерала Дагомыжского царила тишина. Немировский некоторое время ожидал в приёмной. Наконец, к нему вышла Лариса Дмитриевна:

— Рада видеть вас, Николай Степанович. Я слышала, что вас отстранили от дела, что Константин Алексеевич... Простите его великодушно. Он, кажется, не в себе...

— Он дома теперь?

— Нет, он уехал в училище. Он ведь читает там лекции.

— Даже сейчас?

— Для Константина Алексеевича словом, определяющим всю его жизнь, является долг. И своего долга он не забудет и не нарушит никогда. Тем более, в тяжёлые моменты он всегда погружается в работу, чтобы забыться в ней. Генерал должен вскоре вернуться. Вы можете его подождать.

— Я не уверен, что мне стоит ждать Константина Алексеевича. Меня, как вы правильно сказали, отстранили от дела, и сегодня я приехал сюда, как частное лицо. Мне нужно задать один вопрос Анне Платоновне. Пригласите её, пожалуйста.

— А если она не захочет беседовать с вами?

— Скажите, что дело касается её репутации.

— Я поняла, — Лариса Дмитриевна удалилась.

Николай Степанович опёрся ладонью о подоконник и стал ждать. Через десять минут послышались быстрые шаги и шуршание платья. Раздражённая, и от этого ещё более красивая, Анна Платоновна появилась из-за драпировки и вопросительно взглянула на Немировского:

— Бон матен, господин следователь. Что вам угодно от меня?

— Мне угодно получить дневник вашего пасынка, который, как я подозреваю, взяли именно вы.

— Я никакого дневника в глаза не видела!

— Так уж и не видели?

— Послушайте, вас отстранили от дела, и вы просто не имеете права устраивать этот допрос!

— Помилуйте, Анна Платоновна! Какой же допрос? Это так, светская беседа двух частных лиц, — усмехнулся Николай Степанович. — Сегодня утром был арестован убийца Михаила.

— Вот как? Поздравляю! При чём здесь я?

— Не торопитесь, Анна Платоновна. Накануне мы арестовали его пособника, небезызвестного вам Калиновского...

— Стиву? Вот же мерзавец! Кто бы мог подумать! Вдвойне поздравляю, господин следователь!

— Мы нашли у него адресованное ему предсмертное письмо вашего пасынка.

— В самом деле? — Анна Платоновна сразу побледнела и сбавила тон. — И что же в нём было?..

— А вы не догадываетесь?

— Я не понимаю вас...

— Вы всё прекрасно понимаете. Анна Платоновна, нас здесь двое, и, клянусь, что об этом разговоре никто не узнает. Ваша личная жизнь меня интересует крайне мало, и у меня нет намерений доводить до сведения вашего супруга отдельных её аспектов. Для того, чтобы доказать самоубийство Леонида, нам достанет его письма.

— Тогда в чём дело?

— Дело в том, что белые пятна не украшают следственного дела. Поэтому прошу вас вернуть дневник. Можете отдать его мне, а можете подложить куда-нибудь, чтобы вашего имени не фигурировало, а я позабочусь о том, чтобы содержание данных записок осталось в тайне.

— Но у меня нет никакого дневника! — сплеснула руками Анна Платоновна. — Я клянусь, что нет! Я его не брала!

— Кто же взял?

— Его взял я, — слышался усталый, но решительный голос генерала.

Константин Алексеевич появился внезапно. Он стоял в дверях, прямой, высокий, заложив руки за спину. Николай Степанович заметил, как осунулось и потемнело его лицо, как нервно подрагивал глаз, выдавая чрезвычайное напряжение и волнение.

— Ты? — ахнула Анна Платоновна. — Ты взял дневник?.. И... прочитал?

— И прочитал, — подтвердил Дагомыжский. — К сожалению, слишком поздно... Да, Анна, мне всё известно. Уйди, я хочу поговорить с господином Немировским наедине.

Анна Платоновна, поникшая и испуганная, покорно вышла, а генерал обратился к Николаю Степановичу:

— Я виноват перед вами, господин Немировский. Я совершил низкий поступок и не ищу этому оправдания. Прошу извинить меня.

— Я принимаю ваши извинения, генерал.

— Благодарю, — генерал отстегнул саблю и, бросив её на диван, хрустнул пальцами. — Дневник моего сына взял я. Я знал, где он лежит, и забрал его немедленно, как только стало известно о смерти Лёни.

— Зачем вы это сделали?

— А вы не понимаете? Из этого дневника вы, а там и господа борзописцы, и всё общество, узнали бы, что сын мой был сумасшедшим, разделял опасные идеи и сочувствовал революционерам, узнали бы все секреты нашего дома... Я не желаю, чтобы посторонние рылись в нашем грязном белье, чёрт возьми!

— Вы знали, что ваш сын сам свёл счёты с жизнью?

— Догадывался... Вот, ещё один позор! Ни один священник не станет отпевать самоубийцу!

— И вы скрыли это от следствия...

— Проклятье! Никаких фактов у меня не было! Я и дневник-то прочёл лишь вчера, после похорон Миши, а до той поры не было времени...

— Что же, вы даже не открыли его, когда изымали?

— Нет. Я мог вообразить себе, что там написано. Я спрятал его, чтобы потом уничтожить... А вчера вынул, открыл, начал читать...

— И прочли записи, касающиеся вашей жены?

— Да... — сдавленно отозвался генерал и резко отвернулся, чтобы скрыть волнение.

— Я вам искренне сочувствую, — вздохнул Немировский. — Скрывая важную улику, вы едва не запутали ход следствия, нарушили закон, но я могу понять вас, а потому никаких мер принимать не стану. Прошу лишь отдать мне дневник. О конфиденциальности его не беспокойтесь: это — под мою личную ответственность.

— Дневника больше нет, — глухо ответил Дагомыжский.

— Вы уничтожили его?

— Да, этой ночью... Сжёг...

— Ну, что же, в таком случае, мне остаётся откланяться. Честь имею!

— Прощайте...

Немировский неспешно прошёл по улице до ожидавшей его пролётки, купил у мальчика газету и, велев везти себя домой, пробежал глазами по передовицам: «В Обуховском семнадцатилетняя девушка выбросилась в окно, обвинив в предсмертной записке в своей смерти родную мать», «Гимназист застрелился из револьвера из-за несчастной любви», «Отравилась дочь князь Л...» Николай Степанович

свернул газету и спросил у насвистывавшего печальную ямщицкую песню Фрола:

— Скажи-ка мне, братец, отчего, ты думаешь, людям нынче жить неохота стало?

— Это каким же людям, ваше высокородие?

— Да, вот, — Немировский кивнул на газету, — гимназистам, курсисткам, княжеским дочерям... Я могу понять, когда от отчаянной нужды или в случае большой жизненной трагедии, или, чтобы избежать позора иные идут на такой страшный шаг. А эти дети? Что они знают о жизни, чтобы, не пожив вовсе, отвергать её, возвращать этот дивный дар Творцу, не испробовав его?

— А! — Фрол махнул рукой. — Вы уж простите, ваше высокородие, но это ещё не люди! В моей деревне никому такой ерунды в голову бы не пришло, потому что всякий своё дело там имеет и понимает, что утром надо встать, воды натаскать, дров наколоть, поле вспахать, огород не забыть, за скотиной ходить — да рази ж всё перечислишь?! А ещё Господу Богу помолиться надо да отдохнуть иногда от забот, чтобы душа развернулась. А у этих — что? Никакого дела, а одна маята. Пороли их мало, ваше высокородие, вот что! Их бы послать всех землю-то покопать — вот бы дурь вся разом и вылетела. И горячих бы им! Тогда бы, глядишь, людьми стали. А пока они не люди ещё... — Фрол решительно потрянул головой. — Нет, не люди. Знаете, как головастики ещё не лягухи, так и эти ещё не люди. И до людей так и не доросли...

— И всё-таки я не могу понять, — покачал головой Немировский. — Откуда такая пустота у них? Что им не хватило в жизни?

— Порки хорошей, ваше высокородие.

— А я думаю, Бога...

— Да, будет вам, ваше высокородие об этих головастиках печалиться! Пушай их, — Фрол махнул

хлыстом. — Вы уж извините, а у меня для таких жалости нет. Нет, не жалко...

— А мне, Фрол, жалко. Божьего творения жалко, которое к семнадцати годам до такой бездны доходит. И страшно, что семнадцатилетние дети, которые могли бы стать славой и гордостью своего Отечества, предпочитают смерть жизни. Значит, что-то не так в нашем обществе, если это происходит. А вот что не так, и как это выправить, я, братец, не ведаю...

Выждав, когда следователь уйдёт, Анна Платоновна бросилась к мужу, но генерал остановил её, едва она переступила порог:

— Стойте там и не приближайтесь...

— Но друг мой...

— Я не желаю больше видеть вас. Не желаю больше находиться с вами под одной крышей. Я даю вам время до завтрашнего утра, чтобы собраться и покинуть мой дом навсегда. Все ваши наряды, драгоценности можете забрать. Они — ваши.

Анна Платоновна закрыла лицо руками и вдруг рухнула на колени и зарыдала:

— Константин Алексеевич, прости меня Бога ради! Нашло что-то, с ума я подвинулась... Я... я до конца дней буду тебе самой покорной, самой нежной... Ну, оступилась я! Ну, прости!

Генерал опустился на диван, глядя в угол и не отвечая на мольбы жены. А она подползла к нему, не осмеливаясь подняться, схватила за руку, прильнула к ней губами:

— Прости меня, слышишь? Прости...

Нет, не может, не смеет он выбросить её из дома, как собаку... Он же благородный, он должен простить... Вот, сейчас он поднимет её с колен, из этого унижительного положения, и простит, и всё пойдёт по-прежнему. Хотя бы, чтобы избежать скандала, он не



посмеет выгнать её. Он не посмеет... Что же он молчит так долго? Наслаждается её унижением? А чего иного он ждал, когда женился на ней? Старик — на молодой красавице? Молчит... Анна Платоновна приподняла глаза и с возмущением заметила, что муж даже не смотрит на неё.

— Константин...

Генерал вдруг резко отдернул руку и, не поворачивая головы, произнёс, чеканя каждое слово, словно отдавал приказ своему адъютанту:

— Встань, Анна. Я прощаю тебя, но видеть больше не желаю. Оставь мой дом навсегда, исчезни из моей жизни. Всё. Выйди вон!

— Ах, вот, как? — Анна Платоновна вскочила, как ужаленная. — Да как ты смеешь так обращаться со мной?! Я тебе не гувернантка какая-нибудь! Я твоя жена перед Богом и людьми! Я отдала тебе свою молодость, свои лучшие годы, а ты теперь выбрасываешь меня, как ставшую ненужной вещь?! Потешился и выкинул, да?! Ах, благородный генерал! Да завтра же все узнают об этом! И все будут показывать на тебя пальцем! Не будь идиотом! Давай не выносить сор из избы!

Константин Алексеевич медленно поднялся с дивана и скрылся в своём кабинете, бросив напоследок через плечо:

— Убирайся.

Анна Платоновна закусила губу, лицо её покрылось красными пятнами. Налив стакан воды, она выпила его и глубоко вздохнула. Сзади послышался шорох.

— Это опять ты, старая шпионка! — выдохнула Анна Платоновна, не оборачиваясь, по шагам угадав вошедшую Ларису Дмитриевну. — Ну, и дом! Этот маленький гадкий соглядатай шпионил за мной и составил целое досье! И ты, ты!

— Я не составляла на тебя досье и не шпионила. У меня и без этого дел довольно.

Анна Платоновна обернулась и прошипела сквозь закипающие на глазах слёзы:

— Он выгнал меня! Ты слышала?

— А чего ты ожидала? Разве ты не знала, чем кончится, когда изменяла ему?

— Ты всегда мне завидовала. Старая дева, синий чулок! Шла бы в монахини! За что ты меня всегда ненавидела? За то, что я молодая, красивая, что меня любили и любят, а ты усыхаешь в одиночестве? Радуйся теперь! Торжествуй! Ты победила!

— Аня, Аня, ты сама не знаешь, что говоришь... — вздохнула Лариса Дмитриевна. — Чему мне радоваться? Тому, что наш дом осиротел? Тому, что Константин Алексеевич несчастен? Тому, что ты погубила свою жизнь?

— Ах, ты и о моей жизни печёшься! Надо же!

— Дурочка ты... Я тебя жалею. Ты молодая, умная. Ты могла бы честно и в достатке прожить свою жизнь. Счастливо. Нужно было только уметь вовремя остановиться, а тебе всегда и всего было мало. Человек, который не умеет насытиться ничем, несчастлив. А ты — ненасытная. У тебя всё было: дом, муж, положение... Завела бы детей, жила бы и радовалась...

— Не смей мне читать мораль! Скажи ещё, что ты любила меня!

— Нет, я тебя не любила. Это правда.

— За что же?

— За ложь, Аня. Ты ведь никогда не любила Константина Алексеевича. Тебе нужны были его деньги и положение...

— Тебе-то что до того?!

— Мне? Ничего... Просто я его любила всю жизнь.

— Что?! — ахнула Анна Платоновна. — Ах, вот оно что! Так ты просто ревновала!

— Нет... Я жалела его. Зачем мне ревновать? Я ведь ни на что не надеялась. Он был ещё совсем молодым офицером, когда познакомился с моей сестрой. Они полюбили друг друга, а я любила его. Так что ж с того? Любовь — это всегда счастье. Даже если она не взаимна. И я была счастлива тем, что люблю его, тем, что он счастлив, тем, что счастлива моя любимая сестра. Я осталась старой девой не потому, что не было желающих взять меня в жёны, но потому что я не хотела лгать будущему мужу и не хотела разлучаться с самыми дорогими мне людьми. Моё счастье было быть рядом с ними, радоваться их радостям, огорчаться их печалю. Я, по натуре, собака. Я привыкла служить людям... Я растила Лёничку и Серёжу, как родных детей. Потому что это были его дети. Дети моего любимого человека и моей сестры. И мне достаточно было уже этой малости: быть рядом. И я привыкла к этому и большего не желала. Если бы ты любила его, если бы он был счастлив с тобой, то и я была бы счастлива.

— Блаженная ты, — презрительно усмехнулась Анна Платоновна. — Такая же блаженная, как эти попрошайки, которых ты всё время кормишь. Быть собакой унижительно и недостойно человека! Человек должен жить своей жизнью, а не чужими. По-человечески!

— Ты живёшь по-человечески?

— Я — живу! Просто живу! А ты себя заживо похоронила!

— Каждому своё, Аня. Если тебе когда-нибудь что-то понадобится, дай мне знать. Я постараюсь тебе помочь.

— Что?! Ещё твоей помощи мне не хватало! За меня можешь не беспокоиться! Уж я-то сумею устроить свою жизнь! Прощай!

— Будь счастлива, Аня...

Красивая, изящная борзая с рельефной дугой позвоночника и умной, интеллигентной мордой осторожно подошла к хозяину и, положив голову ему на колени, взглянула всё понимающими глазами. Генерал почесал её за ухом и вздохнул:

— Так-то, Менжи. Дожили мы до позорных дней... Прежде смотрели на меня и говорили: вон идёт герой Плевны... А теперь будут говорить: вон идёт рогоносец, сын которого покончил с жизнью... Старый я дурак... Думал, она мне благодарна будет, станет украшением закатных дней... Ох, тяжко-то как! Остались мы с тобой одни, Менжи... Всех от себя отогнали. Мишку жалко... Может быть, если бы я сумел к нему отнестись по-отечески, не стал бы скаречничать, так и его жизнь иначе сложилась бы. Может, я ему судьбу-то сломал, а того не заметил? Господи, что же это случилось со мной? А Лёнька? Что он от меня видел? Чувствовал, что стыжусь я его, что наследника в нём не вижу, что не люблю... Ведь так в дневнике и записал: отец, мол, ненавидит меня и будет рад моей смерти... Конечно, я всю жизнь подчинил службе, делу. И на сыновей смотрел — как на продолжателей, словно это главное. А раз продолжать не хотят, так словно и чужие, не до них... Вот, и Серёжку выгнал из дому... А ведь мы с ним когда-то так близки были. Ты помнишь, Менжи, лето в усадьбе. Мы тогда с ним и с тобой на весь день в лес уходили — куропаток стреляли, зайцев... И ведь как ловок был, скосырь! Стрелял метче моего, на коне держался, будто бы родился в седле. Господи, какой был бы из него офицер! А он — в паяцы... И за что Бог наказывает? Вроде бы подлецом я не был до последнего времени, служил честно... Где же я оступился? Всё копил — чины, награды, богатства — высоко вознёсся! А падать-то куда как больно! И костей не соберёшь... Так-то, Менжи, собирали золото, да черепками богаты...

Генерал тяжело встал из-за стола, вышел из кабинета, поднялся по лестнице и остановился у двери комнаты Ларисы Дмитриевны. Дверь была приоткрыта, и Константин Алексеевич увидел свояченицу, стоящую на коленях перед заботливо расставленными в углу иконами, освещёнными синеватым огоньком затепленной лампы, и кладущую земные поклоны.

— Лара! — окликнул её генерал.

Лариса Дмитриевна тотчас поднялась, обернулась, утёрла выступившие на глазах слёзы.

— Прости, что помешал...

— Христос с тобой, Константин Алексеич! Проходи, садись.

Генерал вошёл в комнату, опустился на стул, произнёс, не поднимая глаз:

— Ты прости меня, Лара, я намерен обидел тебя...

— О чём ты, помилуй?

— У меня, кроме тебя, никого не осталось... Я прошу тебя, не уезжай в усадьбу... Там и без тебя справятся...

— Воля твоя, останусь. Только как же это не осталось? А Серёжа? Он ведь любит тебя.

— Да, да... Серёжа... — генерал положил руку на спинку стула, склонил на неё голову. — Тошно мне, Лара. Не приведи Господь, как тошно... Хоть бы война стряслась да убило бы меня...

Лариса Дмитриевна подошла к нему, погладила по руке, прижалась щекой к его седым волосам, вздохнула тихо:

— Бедный ты мой герой... Что ты говоришь? Окстись! Всё пройдёт, перемелется, всё хорошо будет. Бог не оставит...

Менжи лежала рядом и смотрела на хозяина сочувствующе, желая, кажется, всю его боль взять на себя, смотрела, всё понимая и ничего не требуя взамен за свою преданную собачью службу...

Как сладок бывает воздух, каким прекрасным видится мир человеку, покинувшему узилище, освобождённому ото всех подозрений — словно наново родился, и дышать легко, и кричать хочется от полноты сердца. Петя Тягаев остановился посреди улицы, медленно застегнул верхние пуговицы мундира, подбросил и поймал свою фуражку и, закинув голову, посмотрел на сияющее из глубины ясного неба, осеннее уже солнце. Кто-то нагнал Петра сзади, ударил по плечу:

— Пьеро! Ну, здравствуй, брат! Здравствуй! — Адя Обресков бросился ему на шею. Обнялись, расцеловались троекратно, как на Пасху.

— Ох, брат, как же хорошо, что всё, наконец, выяснилось! Что тебя отпустили! Тебя все ждут в полку, все волнуются. И Дукатов — мрачнее тучи! По матушке частит пуще обычного. Вот, он рад-то будет тебе! Да все, все рады! Ох, Пьеро, как же я тебя ждал!

Как щенок ласковый, вился вокруг Адя, не переставая улыбаться, говорил взахлёб, заглядывая в лицо другу.

— Ты скажи лучше, зачем к следователю ходил? — спросил Пётр. — Зачем на себя наговаривал?

Адя умолк на мгновение, посерьёзnel и ответил:

— Чтобы они отпустили тебя.

— Мальчишество, право! Ведь это Сибирь!

— Пьеро, ты мне, как брат. Старший и любимый брат, хоть мы и ровесники. Близких у меня, как ты знаешь, не души, и ты для меня — самый родной человек. Как же я мог поступить иначе?

— Но ведь ты знал, что я невиновен!

— Я-то знал, а они — нет. Я боялся, что тебя осудят. Ты, Пьеро, офицер от Бога, ты личность...

— Прекрати!

— Нет, позволь! У тебя есть мечта, есть ум, есть талант. Ты, с Божьей помощью, в генералы выйдешь,

державу нашу прославишь и много чего доброго сделаешь. Мать у тебя, золотой души женщина, сестрица — на выданье барышня. Тебе никак нельзя в Сибирь!

— А тебе можно? — нахмурился Пётр.

— А мне... Я один, как перст. Плакать обо мне некому. В полку, конечно, огорчились бы, да пуще позору, а не потере, потому как, какая я потеря? Я, известное дело, офицер более чем средний, ничего мне не светит. От полка не убудет, если я от него отстану. Вот, и выходит, что мне-то в Сибирь можно, а тебе, Пьеро, никак нельзя.

Тягаев был растроган. Он обнял друга за плечи:

— Эх, Адька, Адька, сам ты не знаешь, что говоришь! Или ты думаешь, я бы мог служить, делать карьер, жить, как жил, зная, что ты за меня на каторгу пошёл?

— Нет... Но ты не понимаешь, Пьеро! Я просто почувствовал, что должен так поступить, я не мог иначе!

— Ладно, брат. Я этого не забуду. Спасибо тебе!

— Эй, господа офицеры! Отвлекитесь на мгновение от вашей беседы! — раздался совсем рядом весёлый голос Разгромов.

— Ба, и он здесь! — обрадовался Обресков. — Как король приехал! Знать, успел уже на скачках снять куш.

Разгромов сидел в нанятом экипаже, запряжённом тройкой каурых жеребцов. Он был одет в свой белый костюм, широкополую, белую же шляпу и такой же плащ, держал в одной руке длинную трубку с черешневым чубуком, а в другой початую бутылку шампанского.

— Тягаев, рад видеть вас на воле! Примите мои поздравления со счастливым избавлением!

— Благодарю вас, Разгромов! — Петя приблизился к экипажу. — А вы, я вижу, сегодня гуляете?

— Гуляю, корнет! Представьте, господа, зашёл на ипподром, поставил последние на рыжего конягу, и бац! Снял весь куш! Так что теперь — развернись душа!

— Примите поздравления!

— Господа, приглашаю вас составить мне компанию! Тягаев, ваше освобождение грех не отпраздновать, и не вздумайте артачиться!

— Я намеревался навестить мать и сестру, а после вернуться в полк.

— Полк никуда не убежит — теперь не война! И матушку навестить вы успеете. Послушайте, корнет, не будьте же вы таким сухим педантом! В ваши годы это непростительно! Вы же — кавалерийский офицер! А не барышня!

— Пьеро, в самом деле, поедем! — у Обрескова загорелись глаза.

— Конечно, едем! Я угощаю! — Разгромов сделал широкий жест рукой.

— Чёрт с вами, господа, — махнул рукой Пётр и улыбнулся. — Гулять, так гулять!

— Вот, это другой разговор! Садитесь!

Офицеры разместились в экипаже, Разгромов сделал глоток шампанского и вздохнул:

— Повёз бы я вас на Дмитровку — там лукулловы пиры! Но аудитория неподходящая! Купчишки... Поэтому не будем искать добра от добра, а поедем...

— К Яру! — выкрикнул Обресков.

— К Яру! — повторил Разгромом. — Гони, что есть мочи!

Лошади понеслись по улицам. Прохожие отшатывались, а ямщик кричал, что есть мочи:

— Поберегись! Раздавлю-у-у!

Разгромов вскочил на ноги, и ветер сдул с него шляпу.

— Надо остановиться, подобрать! — воскликнул Адя.



— Никаких остановок! Шляпа — она и есть шляпа. Что с неё? — отмахнулся Разгромов. Ветер разметал его чёрные волосы, а лицо дышало азартом, глаза, устремлённые вперёд, блестели. Этот отставной поручик мчался на гулянье, как в бой, и, несомненно, в бой устремлялся бы, как на гулянье — очертя голову и веселясь. Он вдруг запрокинул голову и громко, нараспев начал читать стихи:

— Горящий атом, я лечу  
В пространствах — сердцу лишь известных,  
Остановиться не хочу,  
Покорный жгучему лучу,  
Который жнет в полях небесных  
Колосья мыслей золотых  
И с неба зерна посылает,  
И в этих зернах жизнь пылает,  
Сверканье блесков молодых,  
Огни для атомов мятежных,  
Что мчатся, так же, как и я,  
В туманной мгле пустынь безбрежных,  
В бездонных сферах Бытия.<sup>14</sup>

— Тише, Разгромов! Вы добьётесь того, что нас арестует ближайших городской! — заметил Пётр.

— Не родился ещё тот городской, который мог бы арестовать Виктора Разгромового!

До «Яра» домчались быстро. Разгромов по-хозяйски вошёл в ресторацию и, заняв стол, знаком подозвал официанта:

— Ну, Ганимед, угощай нас, чем Бог послал!

— Прикажете меню?

— Меню я знаю наизусть. Поэтому пиши...

— Слушаюсь, — официант приготовился записывать.

— Белугу подай в рассоле, стерляжью уху, индюшку...

— Ту, что грецкими орехами откормлена?

— Её... Расстегай пополамный... Икру чёрную... Ну-с, перво-наперво довольно.

— Что будете пить?

— Водку и шампанское. Да смотри у меня, чтобы первый сорт всё!

— Не извольте беспокоиться!

— И позови Аглаю.

— Они позже петь будут...

— А ты позови! Скажи, Разгромов гуляет...

— Слушаюсь, — официант ушёл.

— А кто такая Аглая? — любопытствовал Тягаев.

— Стыдно вам, корнет, Аглаи не знать! Это певица.

В тутошнем русском хоре поёт.

— Очередной амур?

— Нет, корнет! Тут только восхищение и преклонение перед красотой и талантом. Хочу, чтобы она нам спела что-нибудь этакое... Чтобы до печёнок проняло!

Между тем, стол начал наполняться разнообразной снедью, от аромата которой неизбежно начинало сосать под ложечкой.

— Вот это да! — протянул Обресков. — Пир — всем пирам пир! Кстати, Разгромов, полковник велел забить то самое окно...

— Какая жалость! Значит, будущие поколения наших доблестных воинов будут лишены такой маленькой радости, как цыганки на их скромных суаре в клубе...

— Дукатов был в бешенстве, когда узнал!

— Могу себе представить!

— И, между прочим, он сразу догадался, что это ваши проказы.

Разгромов рассмеялся:

— Чёрт возьми, нетрудно догадаться! Самые лучшие мысли в нашем полку всегда приходили именно в эту голову, — он постучал себя по лбу. — Да, жаль лазейки... Кто бы мог подумать, что через неё выйдет такая... неприятность... Вот, суть этих мерзавцев-революционеров! Любую хорошую вещь испоганят! Нет, господа, всё же их надо вешать, а то никакой жизни от них не станет.

— А вы сами не революционер? — усмехнулся Адя, прихлёбывая шампанское.

— Нет! Я бунтарь, но не революционер!

В этот момент к столику подошла молодая женщина с высоким лбом и волнистыми тёмными кудрями, облачённая в бежевое платье с широким коричневым поясом, подчёркивающим её осиную талию.

— Здравствуйте, Виктор, — мягко улыбнулась она.

— Аглая, радость моя! А эта морда сказала мне, что ты не выйдешь! — воскликнул Разгромов, целуя руки певицы. — Господа, познакомьтесь! Это звезда моих очей прекрасная Аглая!

— Корнет Тягаев, — представился Петя.

— Корнет Обресков.

— Зачем звали-то меня? — как-то томно спросила Аглая.

— Как же зачем? Да ведь без тебя, царица, и вино горчит, и радость не в радость! Спой, душа моя, чтобы сердце слезой горючей облилось и очистилось! — Разгромов привлёк певицу к себе, усадил на одно колено, уткнулся лицом в чёрные волны её шёлковых волос. — Спой, прошу тебя!

Откуда-то взялась гитара, Аглая провела по струнам и запела чистым, необыкновенно высоким голосом красивый старинный романс...

## Глава 4

Проводив сына, заспешившего сразу после завтрака в полк, Ольга Романовна привычно направилась в кабинет, улыбаясь собственным мыслям, бывшим как никогда радостными в этот день, в день, когда сын её вновь был с нею, освобождённый от несправедливых подозрений. Лидинька в честь этой общей радости в это утро была весела и ничем не дала брату заметить натянутость их с матерью отношений, а после его ухода также заспешила куда-то, не думая давать отчёт, куда и зачем.

Ольга Романовна ещё не успела переступить порог кабинета, как появившийся слуга, по-стариковски жуя губами, доложил:

— К вам, барыня, какая-то дама просится. В увальке. Не называется.

— Где она?

— В приёмной я её оставил.

— Хорошо, ступай. Я разберусь, — кивнула Ольга Романовна.

Спустившись в приёмную, она увидела сидящую на стуле худощавую женщину в тёмном платье, тёплом не по сезону ещё пальто и небольшой изящной шляпке с опущенной на лицо вуалью. В руках женщина держал небольшой дорожный саквояж и зонтик.

— Здравствуйте! — приветствовала Ольга Романовна гостью. — С кем имею честь?

Женщина опустила свою поклажу на пол, поднялась и откинула вуаль. Лицо её оказалось ещё молодо, довольно миловидно, но бледно и болезненно.

— Меня зовут Анастасия Григорьевна Вигель, — отрекомендовалась гостья негромким, слабым голосом.

Ольга Романовна вздрогнула и с недоумением воззрилась на неё, пытаясь понять, зачем пришла к ней эта женщина? Зачем пришла к ней — его жена? И почему — с вещами? И чисто женское любопытства проснулось в Ольге: вот, она, значит, какая... Его жена. Да, мила, очень мила. Не сказать, чтобы красавица, но какой-то внутренний свет от неё идёт. И на неё, на Ольгу, вовсе не похожа. Только что это с нею? Как будто в лихорадке... Больна она, кажется. Серьёзно больна. Поэтому и пальто — не по сезону. Мёрзнет. Ей бы лежать теперь, а она — пришла... Зачем?..

— Рада познакомиться с вами, Анастасия Григорьевна... Чем могу быть вам полезна?

— Мне — ничем, — гостья слабо улыбнулась. — Вы простите меня, что я к вам пришла так вдруг... Мне, может быть, не следовало. Но мне очень хотелось вас увидеть. Я должна была.

— Да зачем же?

— Я хотела увидеть женщину, которую любит мой муж, и с которой я делила его любовь целых десять лет...

Ольга Романовна хотела было возразить что-то, но Ася предостерегающе подняла руку:

— Не говорите ничего. Я знаю, что говорю. Нет, не подумайте, я не осуждаю ни его, ни вас. Ни единой секунды. Я знаю о вас кое-что из газет, а теперь вижу вас воочию, и мне этого довольно, чтобы понять о вас главное — вы именно такая, какой я вас представляла, и вы заслуживаете такой любви. Я сожалею, что стою между вами... Ведь и вы его любите. Скажите правду, вы любите его?

— Да... — едва слышно ответила Ольга, опустив глаза.

— Ольга Романовна, мой визит, должно быть, кажется вам крайне странным и похожим на лёгкое сумасшествие, но у меня нет времени, чтобы думать о

внешней стороне, о правилах... Я скоро умру, Ольга Романовна. Они говорят мне, что я поправлюсь, но я знаю, что это не так. Мне сегодня много сил потребовалось, чтобы собраться, уйти из дома и прийти сюда. Назад я уже не вернусь...

— То есть как, не вернётесь?

— Я решила уехать из Москвы. Я не могу больше здесь оставаться...

— Из-за меня? Анастасия Григорьевна, я клянусь вам, что...

— Я знаю. Вы благородны. И мой муж тоже. Вы никогда бы не посмели... Но я не хочу — так. А ещё я не хочу больше день за днём угасать на глазах людей, которых люблю. Пройдёт совсем немного времени, и я не смогу уехать. А вскоре не смогу подняться с постели... Поэтому я тороплюсь теперь. Пока осталось хоть немного сил...

— Что вы задумали? — испуганно спросила Ольга Романовна.

— О, вы не бойтесь. Я ничего с собой не сделаю. Я в Бога верую, и своего часа дождусь со смирением. Я уеду только с тем, чтобы меня не искали. Куда — не скажу... Кто знает — может, мне и легче станет там. Ещё и поправлюсь... — Ася грустно улыбнулась. — А вас я просить хочу... Когда меня не станет, вы будьте с ним, позаботьтесь о нём и о нашем сыне, пожалуйста. Так должно было быть, поэтому я спокойна. Мне ещё десять лет назад тётушка рассказывала, что карты раскладывала на него и на вас, и что легли они так, что быть вам вместе... Я знала это. Судьбы не изменить. Вот, теперь я ухожу, а она сбудется...

— Что же вы такое говорите? — Ольга Романовна взяла Асю за руки. — Вы не в бреду ли? Вам бы лечь... Хотите, я чаю прикажу?

— Нет, не нужно ни чаю, ни лечь... Я пока ещё в здравом уме и в твёрдой памяти. Поэтому и пришла.

Вам кажется дикостью, что жена завещает мужа другой женщине? Да, правда, похоже на роман... Но, по-моему, так честнее, нежели притворяться самой и заставлять притворяться других. Я вам желаю счастья! И сохрани вас Бог! Прощайте! — Ася подняла свою поклажу и шаткой походкой направилась к двери.

Ольга Романовна посмотрела ей вслед. Удержать бы её! Даже и связать по рукам и ногам, но не допустить до безумия! Куда ей теперь идти? Остановить, не брать греха на душу!

— Анастасия Григорьевна! — Ольга Романовна сделала несколько шагов за уходящей гостьей.

Ася обернулась и, посмотрев на неё ясным взглядом, покачала головой:

— Не удерживайте. Очень вас прошу, не удерживайте.

Эти слова прозвучали так кротко и тихо, что у Ольги выступили слёзы на глазах, она схватила Асю за руку, поразившись тому, какая она ледяная, поднесла к губам и, поцеловав, сказала:

— Я много хороших людей в жизни встречала, но подобных вам не видела. Светлая вы! Простите меня Христа ради, если невольно причинила вам боль. Если бы я могла остановить вас...

— Это вы меня простите и не поминайте лихом. Помолитесь обо мне когда-нибудь... А останавливать не нужно. На всё воля Божья. И ему так скажите...

Ольга Романовна долго стояла посреди приёмной, слушая удаляющиеся шаги Аси. Вот, захлопнулась входная дверь, вот, крикнул извозчик, вот, застучали копыта по мостовой... Уехала... А она, Ольга, не сумела удержать её. Почему? Нужно было бежать за ней, умолять, если надо, встать на колени, послать за Петром Андреевичем... А она — ничего не сделала. Словно парализовал, лишил её воли этот кроткий, ясный взгляд, мягкая, печальная улыбка и вкрадчивый,

тихий голос... Сколько решимости, сколько благородства, сколько красоты оказалось в душе этой молодой женщины! Смогла бы сама Ольга поступить так?.. Куда же она теперь, больная, едва держащаяся на ногах, одна? Что с нею будет? На всё воля Божья... Господи, сохрани рабу Твою! Ольга Романовна опустилась на колени и часто закрестилась, шепча молитву Богородице...

В ту ночь Ася никак не могла уснуть и решила спуститься на кухню — выпить кофе. Кофе имело на неё всегда необычное действие: от него мгновенно начинало клонить в сон. Но до кухни она так и не дошла, замерев на лестнице, слушая разговор мужа и крёстного. Ася хотела сразу же вернуться к себе и не подслушивать беседы, не предназначенной для её ушей, но не хватило воли: ведь они говорили о той, о другой... А эта другая, оказалось, мать сына Петра Андреевича. Эта новость острой стрелой ранила Асю в самое сердце. Она стояла на лестнице, тяжело прислонившись к стене, и уже не слушала голосов, доносившихся из кухни. Главное она услышала, а, услышав, приняла решение. Это решение и прежде приходило ей в голову, но лишь теперь утвердилось окончательно. Нелегко далось оно: тяжело было покинуть родной дом, не простившись с дорогими людьми, не увидев в последний раз сына... Даже теперь, забившись в угол пролётки, Ася беззвучно глотала слёзы. Сквозь их пелену она смотрела на Москву и прощалась с каждой улицей, крестилась на каждую церковь, зная точно, что видит их в последний раз.

Уходя этим утром из дома, тайно ото всех, Ася боялась лишь одного: что сил её уже не достанет для задуманного предприятия. На половину дела их уже достало. Может быть, на самую волнительную и оттого



тяжёлую половину — она увидела женщину, которую всю жизнь любил её муж. Ася давно хотела посмотреть на неё: в начале из ревности, потом из любопытства, теперь же — из желания знать, кому она оставляет своего мужа, кому завещает сына. Ольга Романовна произвела на Асю отрадное впечатление. Ася подумала даже, что, сложись жизнь иначе, они бы могли быть друзьями...

Теперь предстояла далёкая и трудная дорога, но она казалась уже не столь тяжёлой. Ася верила, что Бог даст ей сил на неё. Вещей она взяла с собой сущую малость: смену белья, тёплую шаль, запасную пару обуви, деньги и кое-что из ценных вещей, что можно было бы продать при случае, немного еды и лекарств, несколько семейных фотографий, бумагу, карандаш, Евангелие, складень с ликами Христа, Богородицы и Николая Угодника и портрет отца Иоанна Кронштадтского, прежде висевший на стене в её комнате. С этой нехитрой поклажей Ася, расплатившись с извозчиком, направилась к вокзалу. Внезапно её окликнул знакомый голос:

— Цоп-топ по болоту, шёл поп на охоту! Анастасия Григорьевна, вас ли я вижу?

— Здравствуйте, Василь Васильич, — Ася почувствовала, как земля уходит у неё из-под ног, но не выдала волнения. — Не ожидала встретить вас.

— А уж я-то как не ожидал! Куда же это вы собрались?

— О, полицейский в вас неистребим! Спрашиваете, как беглую преступницу.

— Беглую — это, как говорится, факт. От кого бежите-то, Анастасия Григорьевна?

— С чего вы взяли, что я — бегу?

— С того, что ни мой друг Вигель, ни Николай Степанович никуда не отпустили бы вас в вашем болезненном состоянии одну. Я ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь.

— В таком случае, сядемте где-нибудь, и вы мне всё расскажете, иначе я, простите, буду вынужден препроводить вас до вашего благоверного под собственным конвоем.

Свободная скамейка отыскалась быстро, и Ася коротко объяснила Василь Васильичу своё решение и его причины, умолчав лишь о том, что узнала о сыне Петра Андреевича и Ольги Романовны: как-никак то была не её тайна, которую она узнала случайно.

— Да... — присвистнул Романенко, хлопнув себя ладонями по коленям. — Как хотите, а мне не по нутру ваше решение. Это... сумасшествие какое-то! Вы подумали о ваших близких? О Петре? Об Николае Степановиче? О своём сыне, наконец?

— Я оставила им письмо, чтобы не волновались.

— И вы полагаете, что они не будут волноваться? — саркастически усмехнулся Василь Васильич.

— Нет, не полагаю. Но я так решила и считаю, что так будет лучше. Для всех. Своих решений я не меняю...

— Да уж... Будь вы мужчиной, так я бы вас коровьим быком за упрямство назвал. Скажите хотя бы, куда вы едете?

— Василь Васильич, — Ася тронула Романенко за руку, — я вам скажу, но очень вас прошу: не передавайте этого моему мужу. Обещайте мне.

Василь Васильич мотнул головой:

— Верёвки вы из меня вьёте... Так куда же вы направляетесь?

— В Шамордино. К Маше Каринской. Она приняла постриг после смерти деда несколько лет назад. Я давно собиралась навестить её. Так вы не выдадите меня?

Романенко подумал и ответил:

— Не выдам, но с условием.

— С каким?

— Я буду вас сопровождать.

— Зачем?

— Анастасия Григорьевна, я честно пытался вас понять, но поймите же и вы меня! Как я могу отпустить вас одну, больную в дальний путь? А если что-то с вами случится? Как я буду смотреть в глаза моему другу Вигелю, вашему крёстному? Как я сам себе смогу это простить? Нет, увольте. Я греха на душу не возьму. Тем более, недалеко от Козельска в деревеньке живёт моя родная тётка, которую я не видел уже... не будем считать, сколько лет! Я провожу вас к вашей Маше...

— К сестре Татьяне.

— Хоть к самой игуменье. Сам денёк поживу у тётки, глотну свежего воздуха, а потом, убедившись, что вы устроились и благополучны, вернусь в Москву, успокою ваших, что с вами всё в порядке, не называя вашего места нахождения в связи с данным вам словом блюсти его в секрете. Всё, так и решим. И не думайте спорить: я не менее упрям, чем вы.

— А как же ваша служба, Василь Васильич? — спросила Ася, уже смирившись с наличием нежданного провожатого.

— У меня нынче несколько дней отпуска по случаю поимки особо опасного преступника и острого приступа ревматизма.

— Что-то непохоже, чтобы у вас был приступ.

— Баня, Анастасия Григорьевна, баня! Баня всё лечит! А ревматизм — в особенности, — улыбнулся Романенко. — Других возражений против моего общества у вас нет?

— Что с вами поделаешь? — Ася также улыбнулась в ответ. — Вы же мне не оставили выбора. Придётся ехать под конвоем. Кстати, надо поторопиться. Поезд уже скоро.

— Мы не опоздаем, — уверенно заявил Василь Васильич, подхватывая саквояж Аси и осторожно беря

саму её под локоток.

Илья Никитич Овчаров допоздна задержался на службе. В отсутствии Романенко дел заметно прибавилось, и Илья Никитич старался не упустить ничего, дабы не подвести начальника. Он собирался уже уходить, когда к нему вошёл, словно стесняясь, что решился беспокоить, доктор Жигамонт.

— А, доктор! — кивнул ему Овчаров. — Богатым будете — вначале не признал вас.

— Так здесь у вас так темно.

— Да уж, света маловато, — согласился Илья Никитич. — Вы по делу?

— Боюсь, что так, — Георгий Павлович помялся, поправил очки. — Я сегодня стал жертвой грабителей...

— Ехала купчиха на базар... Как же это вас угораздило-то? Небось, опять своих хитрованцев лечить ходили? Эх, доктор, доктор...

— Да, эта неприятность произошла со мной именно у Хитрова рынка. Какой-то разбойник выхватил портфель у меня из рук и сбежал.

— Известное дело! Что, много было там денег?

— Да нет, денег немного... Не помню даже. Из-за денег я бы и не пришёл... Тут, понимаете ли, хуже дело. В портфеле были документы Екатерининской больницы... Я их должен вернуть, понимаете? Их ведь восстановить чрезвычайно сложно будет, если возможно, вообще.

— Ох ты, мать моя... Зачем же это вы с такими-то документами на Хитровку ходите? Приключений ищете?

— Что никакой нет надежды найти их? — грустно спросил Жигамонт.

— Ну, зачем же нету? — Илья Никитич провёл языком по краю своих неровных зубов. — Идёмте, поглядим, что сделать можно.

Для надёжности Овчаров прихватил с собой ещё одного полицейского:

— Прикроешь, если что, Федька.

— Слушаю.

Втроём по ночной Москве они отправились к Хитровке. Илья Никитич, как охотничий пёс, взявший след, шёл впереди, за ним, пряча руки в карманах плаща, следовал доктор, а замыкал процессию верзила Федька, лузгавший семечки. Не зря, не зря десять лет служил Овчаров в московской полиции под началом самого Василь Васильича: все трущобы, все ночлежки, все воровские «малины» были известны ему — и теперь он знал почти наверняка, куда шёл.

Ночлежек на Хитровке было великое множество: от довольно чистых, где проживали бывшие люди, ещё не утратившие остатков былого величия и имевшихся некогда связей, до кошмарных дыр, наполненных людьми, уже почти лишившимися человеческого обличия, среди которых поножовщина была повседневным делом. Одним из самых мрачных мест Хитрова рынка был трактир «Каторга», где собирались все воры и беглые. Шумел этот притон и в эту ночь.

— Айда, — сказал Илья Никитич Федьке и первым переступил порог злачного заведения.

Обитатели «Каторги» тотчас оставили свои места, прячась по углам, а некоторые поспешили ретироваться в окна.

— Федька, наверх! — скомандовал Овчаров.

На лестнице Илья Никитич прихватил за шиворот какого-то оборванца:

— Познакомьтесь, доктор вор-«поездошник» по кличке... Впрочем, такую кличку не пристало называть в благородном обществе. Специализируется на воровстве чемоданов и саквояжей.

— Господин Овчаров, я уже месяц как в завязке! — закричал вор.

— Так я тебе и поверил! А кто пять дней тому назад чемодан на Никитской прямо с крыши кареты сволок?

— Да вы что, Илья Никитич?! Какая карета?! Какой сундук?!

— В общем, так! Или ты мне сейчас тихонько шепнёшь на ухо, где мне искать портфель уважаемого доктора, или я тебя сейчас в участок потащу, а там оформлю путёвку в далёкие края!

— Не видел я никакого портфеля!

— А кто видел?

— Эх, господин Овчаров, на что нас Василь Васильич прижимал, а и то не такой волк, как вы!

— Волки здесь — вы, убийцы, воры, обратники. А я — волкодав. А волкодава лучше не злить. Так кто нам может поспособствовать портфельчик-то сыскать?

— На второй этаж идите. Там Злыдарь живёт. Последняя комната... Он всё краденое, что по мелочи, скупает, а потом возит в тележке — продаёт. Старьёвщик...

— Старьёвщик? А что ж вы его Злыдарем-то величаете?

— Даёт мало, гадюка. Ростовщичья душа — со своих же последние портки сымет. Заарестуйте его, падлюку. Он мне давеча на водку не дал.

— Да ты что?! Вот, злыдарь, а! Ну, за это непременно арестуем! Федька, обожди тут. Доктор, идёмте!

Овчаров легко взметнулся по лестнице, мгновенно нашёл нужную комнату и ударил в неё кулаком:

— Злыдарь, открывай!

— Пошли... — старьёвщик длинно выругался.

— Куда-куда? За оскорбление полиции я тебя на месяц в холодную упрячу, морда! Открывай, пока я дверь не высадил!

Злыдарь ничего не ответил. Илья Никитич задумчиво посмотрел на дверь, соизмеряясь с силами.

— Нет, мелковат я, чтобы двери высаживать. Федька, иди сюда!

Из темноты вынырнула богатырская фигура Федьки:

— Слушаю!

— Открой-ка нам эту дверку.

— Это мы мигом!

Кажется, совсем слегка налёг Федька на дверь, а она уже сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол.

— Да, силён ты! — почти с завистью покачал головой Овчаров. — Обождите здесь. — Вынув, на всякий случай, револьвер, Илья Никитич вошёл в комнату: — Вот же, Злыдарь, а! В окошко утёк! Ну, ничего, попадётся он мне ещё! Полицию по матушке посылать! А вещичек-то немало...

Через некоторое время он вышел из комнаты, неся портфель:

— Вот, доктор, ваше будет?

— Он! — обрадовался Жигамонт.

— Проверьте, всё ли цело.

Пока Георгий Павлович проверял содержимое своего портфеля, Илья Никитич пристально рассматривал лежавшую у него на ладони запонку. Это была запонка точь-в-точь в пару к той, которую Василь Васильич нашёл в углу пульмановского вагона. Как она оказалась у старьёвщика Злыдаря? Кто принёс её ему и откуда взял? На этот вопрос вряд ли суждено было найти ответ, да и не нужен он был.

— Вот, Федька, — сказал Овчаров, — я комнату господина Глухова-Гершензона на карачках излазил, разыскивая эту запонку, как доказательство его причастности, а она — вот, где... Обнесли, видать, наши хитрованцы террориста. Добро ещё, что бомбу у него не свистнули, а то бы пропили, а она бы грохотнула где-нибудь... Ну, что, доктор, всё ли цело?

— Документы на месте, слава Богу, — кивнул Жигамонт.

— А деньги?

— Денег нет. Но это уже мелочи.

— Пропили, стало быть, уже мерзавцы. Федька, ты, вот что, покличь городского, и изымите с ним весь этот складिशко: глядишь, обнаружатся здесь вещички, принадлежавшие тем или иным гражданам — возвернём их им. Начальство будет довольно.

— Слушаюсь.

Илья Никитич сладко зевнул, потянулся, хрустнув костями:

— Устал я сегодня, аки пёс. А заметьте, как здесь все притихли с нашим приходом. Бояться, сукины дети... Пойдёмте, доктор, я вас провожу, а то, чего доброго, опять на неприятности нарвётесь.

— Премного вам благодарен.

— Да было бы за что!

Они отошли уже на порядочное расстояние от «Каторги», когда их нагнал запыхавшийся мальчонка лет десяти, чумазый и быстроглазый.

— Вы доктор Жигамонт? — спросил он Георгия Павловича.

— Да, я... — удивлённо ответил доктор.

— Я вас узнал. Вы мамку мою лечили и в больницу определили. Её никто лечить не хотел, кроме вас. Мне тогда четыре года было. Вы меня супом кормили, я запомнил.

— Постой, постой... Тебя, кажется, Митей зовут? — напрягая память, спросил Жигамонт.

— Митей, Митей его зовут. А промышляет он тем, что торговок и иных граждан с другими огольцами обносит, — сказал Овчаренко.

— Погодите, Илья Никитич. Ты что-то хотел сказать? — спросил доктор мальчика.



— Не сказать, а отдать. Вот, ваш бумажник, — Митя протянул Жигамонту бумажник. — Это наши вас обчистили сегодня. А я убегалой был... Я, как узнал вас, так решил, что деньги спрячу, а потом вам отдам, а уж с портфелем пусть они разбираются. Они очень злились, узнав, что там денег нет, снесли его Злыдарю...

Георгий Павлович и Овчаров изумлённо переглянулись.

— Зачем же ты сделал это? — спросил доктор. — Ведь они узнать могли.

— А нешто я вас грабить могу, когда вы мамку мою лечили и меня, четырёхлетнего, супом кормили? Не побрезговали? Мамка померла потом, так я сначала подаяния просил, а потом, известное дело, воровать стал... А у вас не могу. Я вам на всю жизнь благодарен. Прощайте, — мальчик быстро пошёл прочь.

— Пстой! — крикнул ему Жигамонт. — Илья Никитич, остановите его...

— Эй, парень, погоди!

Но Митя только прибавил шагу, а затем припустился бегом.

— Эх, ехала купчиха на базар... Погоди ты лататы задавать! Стой! — Овчаров пригнулся и прыгающими шагами погнался за мальчишкой. Бегал Илья Никитич быстро и сумел догнать его.

— Ты чего ж, брат, бегаешь? — спросил он, схватив беглеца за плечо.

— А как же от вас не бегать? — насупился мальчишка.

— Что ж, такой страшный?

— Вы на пса легавого похожи. Так же зубами щёлкаете.

— Ну, вот, то волк, то пёс легавый, — Овчаров усмехнулся. — Не бойся, тебя не укушу. Да и доктор не позволит, — кивнул он на приближающегося

Жигамонта. — Вот, Георгий Павлович, беседуйте, а я покурю. Устал я сегодня...

Илья Никитич отошёл в сторону, закурил папироску, посмотрел в ночное небо и подумал, что в такую ночь самое дело было бы караулить сома у тихой заводи, а не дышать смрадом Хитровского рынка.

— Померла, говоришь, мать? — спросил Жигамонт у Мити.

— Три года как.

— Ты один, стало быть?

— Стало быть, так. У вас папироски нет?

— Курить в твои годы вредно. Пить, кстати, тоже.

— А жить — так — не вредно? Вы не бойтесь, доктор, такие, как я, долго не живут. Или на каторге загибаемся, или с болезни, а то и порешит кто.

— А ты и дальше собираешься так жить? Хорониться по ночлежкам, грабить прохожих?

— А меня кто спрашивает, что ли? — Митя сплюнул. — У вас бывало, доктор, чтобы не жрали по три дни? Чтобы дворники вас мётлами били? Чтобы гнали со двора, как шёлудивого пса?

— Стало быть, жить ты так не хочешь.

— А кто хочет-то?! Конечно, некоторые, привыкли. Им Хитровка — мать родная, да и каторга — не чужая тётка. А другим она, как мне, — мачеха. Я уехать думал куда-нибудь. Может, устроиться где... Да не решил пока, куда.

— А мечта есть у тебя, парень?

— Мечта... — Митя вздохнул. — Тут в ночлежке как-то морячок швартовался, рассказывал, как по морям-окиянам плавал. Не знаю, может, и пули отливал, а до того хорошо расписывал! Мне потом это море ночами снилось... Вот, если бы мне к морю податься, поступить на какой-нибудь корабль...

— Вот что, Митя, вижу, парень ты не без совести. Я помочь тебе хочу.

— Это как же? Денег дадите?

— Денег не дам. Здесь они всё одно во зло пойдут. Пойдём ко мне. Поживёшь у меня, я тебя грамоте и азам разных наук обучу, а там, глядишь, сумеешь устроиться куда-нибудь. Ни жены, ни детей у меня нет. Сам я уж стар. Но, может, тебя в люди вывести времени ещё хватит. Согласен?

Митя помолчал недолго, потом поднял голову и, посмотрев на Жигамонта прямо, ответил:

— Спасибо вам, доктор.

— За что?

— За то, что поверили.

— А как мне тебе не верить, если ты полный кошелёк денег мне вернул? Ты хоть знаешь, сколько там было?

— Знаю... Я сосчитал...

— Идём, — Георгий Павлович сделал мальчику знак идти за собой. — Холодно нынче...

Подошедший Овчаров, слышавший краем уха весь разговор, шепнул Жигамонту:

— Не бойтесь вы, доктор, этого огольца в дом тащить? Наведёт он на вас своих приятелей, обчистят, как липку! Помяните моё слово!

— Что это вы, Илья Никитич, так скверно о людях думаете?

— Работа у меня такая! И публику эту я хорошо знаю!

— Так ведь и я с нею знаком. А людям хотя бы иногда верить нужно. В этом кошельке большие деньги были, а этот мальчуган мне их вернул, рискуя быть битым своими, потому что я его мать некогда лечил. Неужели этого мало, чтобы поверить ему?

— Не знаю, Георгий Палыч. Лично я никому не верю. Но, может, вы и правы... Добрый вы человек! Ладно, коли будет какая нужда, так обращайтесь — вам я всегда рад пособить.

— Спасибо вам, Илья Никитич.

Овчаров с любопытством посмотрел на доктора. В общем-то, уже старик... Под семьдесят ему, хоть и бодр ещё, сухопар, ни единого волоса седого в тёмно-русой шевелюре. Только видит плохо. А всё вертится, точно белка в колесе — каждому помочь стремится. Вот, теперь огольца этого тянет к себе в дом. Надеется за отпущенный Богом срок успеть сделать из него человека? Чудак-человек! И ведь не блаженный какой. Умный человек, и деньгам счёт знает. Чудак... А, с другой стороны, будь таких чудаков больше, так в мире бы чище и светлей было, и у таких огольцов могло бы быть иное будущее, а не то, страшное, которое готовит им Хитровка...

Целый день Пётр Андреевич Вигель был сам не свой. Письмо жены, которое принесла ему насмерть перепуганная Соня, он выучил уже наизусть: «Милый, любимый, бесконечно родной, единственный мой Петя! Я знаю, что причину тебе боль этим письмом и корю себя за это, но ты, может быть, поймёшь, что поступить иначе я не могла. Я давно хотела уехать куда-нибудь, чтобы остаться в твоей и всех близких памяти живой и радующейся жизни: мне слишком тяжело видеть жалость и боль в ваших глазах... Ты знаешь, звери, когда им приходит время умирать, прячутся куда-нибудь от всех взоров, в самый затаённый угол. Вероятно, этот инстинкт не чужд и мне. Мне бы было нестерпимо видеть твои, ваши слёзы... Может быть, я поступаю эгоистично... Меня утешает лишь то, что ты не останешься один. Я слышала твой разговор с дядей Николая. Случайно. Ты любишь эту женщину, а она, уверена, любит тебя. И со своим старшим сыном ты наверняка найдёшь общий язык. Я прошу об одном, хотя, зная тебя, могла бы и не просить и быть уверенной, что так оно и будет: позаботься о нашем

Николеньке. Моё сердце обливается кровью при мысли о нём. Как бы я хотела обнять его в последний раз... Я бесконечно благодарна тебе за все годы счастья, которые ты мне подарил. Ни разу не было у меня повода упрекнуть тебя, огорчиться... Редкой женщине так везёт, как повезло мне. Надеюсь, и ты не можешь упрекнуть меня в чём-либо. А если можешь, то прости. Я всегда старалась быть тебе хорошей женой. Я всегда любила тебя и люблю теперь. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Пожалуйста, будь счастлив ради меня, в память обо мне! Мысленно целую твоё дорогое лицо и прощаюсь с тобой. Не ищи меня, не плачь обо мне. Со мной всё будет хорошо.

Передай от меня поклон Николаю Степановичу и Анне Степановне. После родителей они были для меня самыми родными людьми. Передай, что им я также благодарна за всё, что люблю их и... Не знаю, что сказать ещё. Пусть простят меня за всё. Поцелуй за меня Анну Степановну, когда она приедет, и скажи ей... Нет, ничего не надо говорить. Она сама всё поймёт. Береги её. И Николая Степановича тоже. Он ведь стал мне даже ближе родного отца, которого я не успела хорошо узнать. Он всегда понимал меня. Мне следовало бы проститься с ним, но я не могу — ком в горле...

Всем друзьям и Соне передай моё прощание и самые тёплые пожелания, которые только есть в моём сердце.

Для Николеньки я написала отдельное письмо. Оно лежит в шкатулке подле моей постели. Передай ему, когда он приедет, вместе с моей иконкой, которой меня перед смертью благословила мать. Передай, обними крепко-крепко, поцелуй — за меня.

Прощай, Петенька! У меня больше нет сил писать. И помни, где бы я ни была, я всё равно рядом с тобой. Моя любовь — рядом с тобой. Храни Бог всех вас!»

Когда Вигель прочёл это письмо в первый раз, у него потемнело в глазах. Вслух он перечёл его Николаю Степановичу. Тот слушал, сцепив пальцы, поникнув головой. Когда же речь дошла до него, то быстро поднялся и отошёл к окну. Впервые Пётр Андреевич увидел, как у его наставника задрожали губы, а в глазах блеснули слёзы. Дочитав письмо до конца, Вигель спросил:

— Что будем делать, Николай Степанович?

Немировский глубоко вздохнул и ответил глухо:

— Ничего, Пётр Андреевич. Ведь она же написала не искать её... Это её воля, и нарушать её мы не в праве, — он приложил руку к сердцу, поморщился. — Пойду... Выпью капель ландышевых... — и ушёл поспешно, словно желая скрыть своё горе от посторонних глаз.

Через некоторое время Вигелю доложили, что какая-то дама, не пожелавшая назваться, ожидает его на улице в собственном экипаже. Это была Ольга Романовна. Лицо её было взволнованно, и без того огромные глаза казались ещё больше.

— Простите меня, Пётр Андреевич, за этот визит, но дело очень срочное, — вымолвила она. — У меня только что была ваша жена.

— Ася?! Зачем?

— Хотела встретиться перед отъездом, чтобы увидеть... Я не могу передавать вам наш разговор. Я скажу только, что ваша жена святая, и я руки ей целовала...

— Вы знаете, куда она уехала?

— Она не сказала...

— Господи, да почему же вы не удержали её? — сокрушённо спросил Вигель. — Разве вы не видели, что она больна?

— Я не посмела, Пётр Андреевич. Я хотела, но не посмела... И она сказала: «Не удерживайте»...

— Не удерживайте... Не удерживай... Так Христос сказал своим ученикам... Но куда, куда она поедет?.. Нет, я должен её найти, непременно должен...

— Я не смею давать вам совета в таком деле. Я лишь сочла долгом приехать и рассказать вам то, что знаю. И ещё сказать... сказать, что если я чем-то могу быть вам полезна, то вы всегда можете на меня рассчитывать.

— Благодарю вас, Ольга Романовна.

— До свидания, Пётр Андреевич.

Простившись с Ольгой, Вигель поднялся в свой кабинет и какое-то время сидел неподвижно, не в силах взяться за что-либо, потрясённый, опустошённый. А вскоре прибежал какой-то мальчишка и передал записку. Коротенькая, она была написана карандашом явно наспех, и Пётр Андреевич тотчас узнал корявый почерк Романенко. «Я сейчас на вокзале с Асей. Встретил случайно. Она уезжает. Поклялся ей, что не выдам, куда. Не переживай. Я еду с ней провожатым. Едем в хорошее место. Устрою её там наилучшим образом — может, ей и на пользу пойдёт. Вернусь — всё объясню», — писал Василь Васильич. Получив эту записку, Вигель несколько успокоился. По крайней мере, жена в надёжных руках, уж на кого-кого, а на Романенко можно положиться — он не попустит случиться чему-либо дурному. Старый, добрый друг — как же вовремя он всегда приходит на выручку, словно угадывая безошибочно своим сыщицким чутьём, где в нём наибольшая нужда.

Пётр Андреевич немедленно отправился к Немировскому и показал ему записку. Глаза Николая Степановича потеплели:

— Ну, слава тебе Господи! Уж Вася о ней позаботится... Но всё же она... Нельзя же так, в самом деле! Сбежать, не сказав адреса... Неужели нельзя было сказать, куда едет, чтобы мы не волновались. Что

она, боялась, что мы бросимся преследовать её, когда она попросит нас того не делать? — нотки обиды слышались в голосе старого следователя. — Не ожидал я от неё такого... Ладно! Главное, что с ней всё в порядке и что она теперь не одна...

Только теперь Пётр Андреевич вспомнил, что ещё утром, как раз перед тем, как прибежала Соня, он получил, наконец, пакет из Н...ой области, но до сих пор не вскрыл его, не узнал, что в нём.

— Николай Степанович, утром доставили пакет из Н...ой области...

— Так неси его сюда незаконно! — сразу оживился Немировский.

Вигель тотчас принёс пакет. Николай Степанович надел очки, вскрыл его и принялся читать присланные бумаги.

— Вот, стало быть, какая музыка у нас выходит... — протянул он, положив их на стол.

— Что там, Николай Степанович?

— В Н...ой области несколько лет назад, в самом деле, имело место восстание крестьян нескольких селений. Установлено было, что их обманом подстрекли к тому некие «ходоки в народ». Усмирять бунт были посланы войска, а командовал ими полковник Дагомыжский.

— Не самое почтенное дело, — заметил Вигель.

— Впадаете в либерализм?

— Мне жаль людей.

— Что поделаешь. Обычно вожаки разожгут пламя, а страдают, в сущности, неповинные люди, за ними пошедшие. Но что прикажешь делать? У этих повстанцев оказалось оружие. Они убили нескольких человек.

— Восстание, конечно, было подавлено?

— Да. Быстро и жёстко. Об этом даже в газетах писали, припоминаю.



— Зачинщиков арестовали?

— Не всех. Главварь успел бежать. Арестовали нескольких мужиков, студента-недоучку, какого-то бывшего мастерового из города, а также учительницу местной земской школы, народницу, и её мужа, также учителя.

— Что с ними стало?

— Кому-то каторга, кому-то ссылка. Всё как положено. Учительницу звали Зинаида Прокофьевна Никитенко... Думается, это и есть сообщница Саула. Они с мужем отделались вечной ссылкой... Но муж вскоре умер, а Зинаида Прокофьевна из ссылки бежала.

— Пойдите, пойдите... — Вигель нахмурился, напрягая память. — Зинаида Прокофьевна? Никитенко? Ну, конечно же! Вот, откуда мне показалось знакомым её лицо!

— Нельзя ли поподробнее?

— У Калиновского я видел портрет женщины в образе библейской Юдифи. Мне лицо показалось очень знакомым. Настолько, что я вспомнил, что сам рисовал его когда-то. Я собирался поискать в своих рисунках, но руки не дошли, запамятовал. А теперь я вспомнил это лицо!

— И кто же эта женщина?

— Зинаида Прокофьевна Луцкая.

— Луцкая? Пойдите... Знакомая фамилия...

— Николай Степанович, это было наше первое совместное дело! Помните?

— Ах, да! — Немировский ударил себя по лбу. — Белый бурнус! Это та девочка, что была невестой того подлеца, которого мы изловили на Масленице?

— Она самая.

— Надо же... Вот, какие жизнь коленца-то выкидывает. Жаль, жаль...

— Выходит, она решила отомстить генералу за смерть мужа?

— Выходит, что так.

— Какое счастье, что мы успели найти бомбу.

— Не спеши говорить «гоп», — Немировский медленно поднялся из-за стола. — По-моему, мы сейчас можем совершить большую глупость, если ещё не совершили...

— О чём вы?

— Неужели ты думаешь, что у этой дамы, кроме бомбы, ничего нет? Неужели ты полагаешь, что у неё нет в запасе маленького браунинга вроде того, из которого стреляла в Трепова Засулич?

— Вы думаете?..

— Уверен. Она будет стрелять. И, если она не дура, а она не дура, то сделает она это как можно быстрее! Ты знаешь, где теперь генерал?

— Я полагаю, что в Академии. Скоро поедет домой или в полк...

— Нам надо спешить, — сказал Николай Степанович. — Беги вниз, прикажи подать пролётку, и едем. Все вопросы потом!

Она не стала брать извозчика. Идти было недалеко, и пешая ходьба успокаивала нервы. А нервы были вытянуты в струны, тронь — порвутся с раздирающим душу звоном. Она не боялась ни смерти, ни каторги, не верила никому и ничему, и теперь шла по оживлённым московским улицам, словно неживая, словно во сне, ничего не чувствуя и не замечая.

Когда-то она была счастлива. Это было так давно, что трудно было и вспомнить теперь — словно чью-то чужую жизнь или некогда прочитанный роман. Аристократка, дочь благородных, родовитых родителей, любимая и лелеемая ими, какой могла бы быть безоблачной её жизнь! Но отец разорился и умер, и обеспеченная жизнь сменилась благородной бедностью, унижительнее которой нет ничего.

Из бедности иногда бывает выход. Брак. Она была молода, умна, красива. Она и теперь ещё сохраняла отчасти прежнюю красоту — и безусловно прямую, от матери унаследованную осанку, и правильные черты лица. Только черты эти, некогда мягкие и нежные, погрубели, заострились, и пухленькие детские щёчки с ямочками — ввалились, но главное глаза, задорные и блестящие, потухли, и безысходная тоска струилась из них.

Она была доверчива и умела любить. Она любила и готова была всем пожертвовать для любимого человека. Но любимый предал её, оказался подлецом и вором, грабившим её же, пользуясь наивностью и непрактичностью матери. Этот обман сломал ей душу, разучил любить и верить. Она не верила с той поры больше никому, кроме матери, старухи-няни, и названного брата, чахоточного студента Серёжи, жившего с ними.

Она обладала сильной волей, характером и умом. Она решила изменить свою жизнь. Не удалось остаться знатными и богатыми, так будем бедными и гордыми. Её мужем стал нищий, безродный студент Серёжа. Теперь, много лет спустя, он оставался единственным, перед кем Зинаида Прокофьевна чувствовала себя виноватой. Она не любила его, но воспользовалась его любовью, она потянула его за собой в народничество, в революцию, в бунт. Из-за неё он погиб. Эта вина раскалённой смолой обжигала сердце.

— Зинаида Прокофьевна, я люблю вас. Я сказал вам когда-то, что умру за вас. Я держу своё слово... Но, верьте, когда я умру, то душа моя устремится к небу, и на нём вспыхнет ещё одна звезда. И вы увидите её, непременно...

— Серёжинька, говорят, что, когда человек уходит, звезда его падает с неба...

— Моя не упадёт, она должна светить для вас... Только для вас...

Так он говорил ей перед смертью, белый как мел, высохший так, что все кости можно было счесть, но при этом отчего-то ставший удивительно красивым, просветлённым. И в гробу он лежал именно таким — спокойным, красивым, радостным — словно, наконец, освободился из острога этого мира и обрёл свободу...

Он боготворил её всегда, обращался только на «вы», боялся дыхнуть на неё. Они вместе покинули родительский дом и уехали в глубинку — учительствовать. Там Зинаида Прокофьевна сошлась с народниками, бросилась, как в омут, в революцию, надеясь хоть чем-то важным и нужным заполнить свою пустую жизнь. Серёжа не разделял этих стремлений. Созерцатель, мечтатель, поэт, он не желал бунта, он учил сельских ребятишек, возился с ними, преодолевая недуг. Он, кажется, сам был немного ребёнком, поэтому и дети любили его, тянулись к нему, а Зинаиду Прокофьевну побаивались. Пытаться влиять на жену, останавливать её Серёжа не пробовал никогда. Он слишком понимал, что влияния на неё не имеет. Что он для неё добрый брат, скрашивающий её одиночество и поддерживающий огонь в их доме, до которого у неё никогда не доходили руки. Понимал, что попытка давления только отдалит её от него, и бережно оберегал их узы, оберегал саму Зинаиду Прокофьевну, забывая о себе и растворяясь в ней. Ни разу он ни в чём не упрекнул её, ничего не потребовал, и за это она была благодарна ему. Лишь после его смерти Зинаида Прокофьевна поняла, как была к нему привязана, как много он значил в её жизни. Признаться себе в том, что сама сократила его и без того сочтённые тяжёлой болезнью дни, было трудно и она искала виновных...

Тот бунт начался скоропостижно. И Зинаида Прокофьевна ввязалась в него. Смерти и острога она не

боялась. Хоть какое-то дело! Настоящее! Не боялась же Перовская, а ведь на верную смерть шла. Вот — пример! А Серёжа остался в стороне. У него тогда был очередной приступ, и он почти не вставал с постели. Но, вот, судьба: когда подавили восстание, то осудили его, невинного, наравне с ней. А что ж? Муж-жена — одна сатана. Да и учителя оба! А он ещё — студент бывший...

Напрасно ждала Зинаида Прокофьевна эшафота или острога. Её вместе с мужем отправили в ссылку. В глухой северный городок. Долгий путь подорвал слабые силы Серёжи, а холодный климат довершил дело. Через полгода его не стало... Похоронив мужа, Зинаида Прокофьевна бежала из ссылки. Через всю Россию добралась она до Польши, где и встретился на её пути Саул. В нём она безошибочно угадала характер лидера, вождя, организатора. Он уже имел известность: за покушение на одного из губернаторов был отправлен на каторгу, но бежал и теперь снова готовился к делу.

Ища на кого свалить вину за смерть мужа, Зинаида Прокофьевна остановилась на полковнике Дагомыжском. Вот он — виновник всех слёз! Кровопийца! Царский сатрап! Это его солдаты стреляли в крестьян! Конечно, и сами крестьяне в солдат не из рогаток палили, да всё ж разница: регулярная армия и горстка бунтовщиков... Полковника Зинаида Прокофьевна запомнила хорошо. Запомнила, как шваркнул он ногой по лицу одного из организаторов восстания — Бриннера-Чернова:

— Всех бы вас, мерзавцев, на одну перекладину!

Этот палач должен был понести наказание. За всех. За Бриннера-Чернова, за Севочку Грошева, за Макарова, за Серёжу, за неё саму, Зинаиду Прокофьевну, вернувшуюся из ссылки с больными лёгкими — настигла-таки и её болезнь, сведшая в могилу Серёжу, словно передалась напоследях...

С Саулом сговорились сразу. Нашлись и другие единомышленники. Но в Москву поехали всё же вдвоём и порознь, чтобы не привлекать внимания. Саул и документы подложные достал. В Москве Зинаида Прокофьевна нашла студента Стиву Калиновского, состоявшего в организации и вхожего в дом Дагомыжских. Он-то и помог ей устроиться в Семёновке и поступить на службу в театр.

Первый раз за долгие годы была Зинаида Прокофьевна в родном городе. Шла по знакомым с детства улицам и глотала слёзы. В последний раз приезжала она сюда, чтобы схоронить мать. А за прошедшие с той поры годы не стало и няни. Обе они покоились на старом кладбище, и Зинаида Прокофьевна с трудом нашла их заброшенные, никем не посещаемые могилки... Впервые так остро ощутила она тогда всю тяжесть своего сиротства в этом холодном мире, всю бесполезность своего мнимого дела, но дело это требовалось довести до конца. Своему слову Зинаида Прокофьевна не изменяла никогда.

Скоро объявился и Саул, играющий роль её мужа. И покатилось дело, натужно, тяжело, но пошло. Правда, всё в этот раз выходило как-то не так. То племянник генерала упёрся, то детали бомбы оказались утрачены, а, в довершении всего, арестовали Стивочку и Саула. И Зинаида Прокофьевна осталась одна. Так что ж из того? Такое дело и одной по плечу... Только б рука не дрогнула, да глаз не подвёл. Но это — вряд ли. Ещё живя в деревне, наострилась Зинаида Прокофьевна в стрельбе по галкам да воронам — неужто в человека, во врага своего кровного промах даст?..

Вот, уже и пришла почти. Миновала церковь, в которой когда-то крестили её, не осенив лба, перевела дух, прокашлялась, нащупала браунинг спрятанный в складках платья... Последний рывок — и дело будет сделано... А что потом — всё едино... Ничего в

последние месяцы не держало её в этой жизни, кроме желания отомстить. Правда, на днях, когда сидела у сына генеральского с цыганкой этой, мужа которой убил Саул, что-то дрогнуло в, казалось, навек окаменевшей душе. Господи, какая же счастливая эта девочка! Она любила, она была любима, у неё будет ребёнок, который назовёт её мамой... Зинаида Прокофьевна вдруг подумала, что это счастье могло бы быть и у неё, а она — упустила его. Ей вспомнилось, как Серёжа возился с сельской детворой, вспомнились эти притихшие ребятишки, собравшиеся в классе... Жизнь прошла мимо, дотла спалив душу — во имя чего? За что?..

Стекло треснуло, словно молнией рассекло фотографию Константина Алексеевича надвое. Лариса Дмитриевна в испуге отпрянула и перекрестилась. Не к добру! Каким-то тяжёлым предчувствием сдавило сердце. Ох, быть беде! А сам он — точно ищет теперь беды этой, смерть ему краше жизни кажется... Лариса Дмитриевна бессильно опустилась на краешек стула. С раннего детства пристало к ней прозвище невезучей: то с лошади упадёт и расшибётся, то в прорубь провалится — насилу вытянут, то захворает ни с того, ни с сего вдруг... Росла Лариса потому тихой, боязливой, избегая всяческих игрищ и предпочитая тому тишину церкви, душеполезные книги, вышивание бисером... Полной противоположностью ей была старшая сестра Ириша. Вот уж не девица была, а сорвиголова! С сельской ребятнёй в горелки играла и за клюквой ходила, в седле держалась, как заправский кавалерист, и всё-то горело в её руках, и сама она горела, словно пламень — войдёт в комнату, и точно сгусток солнечной энергии с нею ворвётся. Ни секунды не могла Ириша усидеть на месте. Зато ни одним делом не могла заниматься долго и кропотливо — надоедало, и тянулись руки к чему-

нибудь новому. А Лариса перемен не любила, предпочитая привычное и понятное. «Моя старушка» — дразнила Ириша младшую сестру. И всё же сёстры очень любили друг друга, и Лариса всегда была первой подругой и поверенной в делах Ириши, советчицей и помощницей. Сестрой она восхищалась и готова была помогать ей во всём, считая себя серой мышкой и определяя свою роль, как «наперсница королевы». Ириша, в самом деле, была королевой. На балах у неё не бывало ни одного свободного танца, отбоя от ухажёров она не знала, но ни одного из них не приближала. Ириша ждала своего короля. И он появился. Появился, когда кавалерийский полк остановился в городе, неподалёку от имения родителей сестёр. Бравый поручик, истинный гусар — это ли не мечта любой девушки? Случилось так, что, увидев его, растаяло не только ветренное сердце Ириши, но и строгое — Ларисы. Прежде о любви она читала лишь в романах. Вниманием кавалеров, в отличие от сестры, она всегда оставалась обделена, разве что крохи от Иришиного пира перепали — да на что они? Ларису это, как ни странно, не задевало, хотя она была недурна собой и могла бы ждать лучшей доли. Но сестра ей была всегда дороже любых кавалеров. И этим поручиком, единственной (это уж сразу поняла она) своей любовью Лариса, скрепя сердце, решила пожертвовать ради счастья Ириши. Правда, родители не желали этого брака, опасаясь что новоявленный жених по гусарской традиции спустит собственные деньги и приданное жены. Но что был родительский запрет для трёх любящих сердец? Лариса помогла сестре бежать, взяв с неё слово, что та, как только устроится, заберёт её к себе. Ириша слово сдержала, и Лариса стала жить вместе с её семьёй, став частью её и незаменимым человеком. Никто не умел лучше следить за хозяйством, спокойно и кропотливо делать скучную повседневную



работу, чем Лариса. Правда, сестра не раз пыталась найти ей мужа, но все эти попытки оканчивались неудачей. Лариса привыкла к своей роли экономки, радовалась возможности быть всегда рядом с любимым человеком и любимой сестрой, приносить им пользу, быть им нужной. В этом было её маленькое, никому неведомое счастье, и менять своей судьбы Лариса не хотела. От добра добра не ищут.

С годами удалой поручик изменился: посуровел, сделался горд и подчас заносчив. Но не изменилось чувство Ларисы, постоянное, как и всё в ней. После смерти сестры и всех несчастий, обрушившихся на дом Дагомыжских, она только сильнее привязалась к генералу, чувствуя, что именно теперь нужна ему более, чем когда-либо. Только одно безмерно пугало её: несчастье, угрожающее Константину Алексеевичу. Лариса Дмитриевна была уверена, что записки с предупреждениями — это не чья-то шутка, но убедить в том генерала не могла. Если бы в её силах было защитить его, закрыть собой, уберечь — она не пожалела бы своей жизни. Но как?..

Теперь ещё эта фотография... Не в силах справиться с охватившей её тревогой, Лариса Дмитриевна взяла извозчика и велела везти себя к Академии, сама не зная точно, зачем...

Драма, разыгравшаяся тем сентябрьским днём, произошла в считанные мгновения, так быстро, что очевидцы и участники её лишь позже смогли кое-как восстановить хронологию событий.

Генерал Дагомыжский вышел из здания Академии в сопровождении нескольких офицеров, немного замешкался на ступенях, отдавая какие-то указания и натягивая перчатки. В этот момент к нему стала приближаться одетая в тёмный костюм женщина средних лет с каменным бледным лицом. Генерал

заметил её и твёрдым шагом двинулся ей навстречу. Он оставался верен себе — чувствуя опасность, не бежал от неё, а шёл прямо навстречу, словно испытывая её на прочность.

В тот же миг из-за угла вылетела полицейская пролётка, и кто-то крикнул:

— Осторожно, генерал!

В руке женщины блеснул маленький чёрный браунинг. Дагомыжский не шёлохнулся, ни единый мускул не дрогнул в его гордом лице, словно хотел он сказать:

— Ну, стреляйте же!

Из пролётки прямо на ходу выпрыгнул человек и бросился к женщине. Он успел толкнуть её, но выстрел грянул, и выпущенная пуля застряла в правом предплечье генерала. Дагомыжский не издал ни звука, а лишь закрыл левой ладонью рану, прошептав:

— Жаль, что не в грудь...

— Константин Алексеевич! — раздался вскрик. Это бежала к нему откуда-то появившаяся Лариса Дмитриевна.

— Слава тебе, Царица Небесная! Живой! — сквозь слёзы говорила она.

— Откуда ты здесь, Лара? — спросил генерал.

— Там дома... Фотография... — сбивчиво отвечала Лариса Дмитриевна, глядя его по руке. — Стекло расколосось, и я подумала... Господи, как я перепугалась... Сердце до сих пор замирает... А где же врач? Врач нужен...

— Ничего, это царапина, — отозвался Константин Алексеевич. — Успокойся, Лара. Видишь, ничего страшного.

Впервые он говорил с ней таким ласковым голосом. Лариса Дмитриевна заметила, что что-то неуловимо изменилось в генерале: помягчело суровое лицо, потеплел взгляд — словно броня спала...

Дагомыжский приблизился к стоявшей, скрестив руки на груди, террористке, столь вовремя обезвреженной Петром Андреевичем Вигелем. Та посмотрела на него исподлобья тяжёлым взглядом.

— За что вы хотели убить меня?

— Спросите об этом вашу совесть.

— Моя совесть говорит мне о многих моих грехах, но что именно я сделал вам?

— А разве недостаточно того, что вы сделали другим?

— Может быть, и достаточно. Что ж, прошу простить меня... Вы ещё довольно молоды, вы могли бы жить...

— Не могла бы. И не хочу.

— Так или иначе, я буду просить Государя о снисхождении к вам.

— Откуда такое милосердие? Вы ведь нас на одной перекладине хотели!

— На одной перекладине я хотел бы вздёрнуть мерзавцев, которые обратили вас и таких, как вы, в своё орудие. А вас мне искренне жаль, сударыня, и никакого иного чувства я к вам, поверьте, не испытываю.

Женщина закусила губу:

— Какие же вы все негодяи... — и резко обернувшись к Вигелю, бросила: — И вы тоже! Ненавижу вас всех! Ненавижу!

— Мне очень жаль, Зинаида Прокофьевна, что мы с вами встречаемся в таких обстоятельствах, — отозвался Пётр Андреевич. — Я помню вас прежнюю, и мне горько видеть вас теперешнюю.

— Я тоже вас помню, господин Вигель, — Зинаида Прокофьевна усмехнулась. — Видите, как жизнь складывается... — она закашлялась, сгорбилась, выдохнула тяжело: — Укатали сивку крутые горки... Но да подождите, и вас всех ещё эти горки укатают...

— Идёмте, Зинаида Прокофьевна, — сказал Пётр Андреевич и увёл её к ожидавшей пролётке.

— Мне всегда внушают страх такие люди, как эта женщина, — вымолвила Лариса Дмитриевна.

— Да, они опасны, — согласился генерал. — Скольких уж настигли пули и бомбы таких фанатиков...

— Я о другом. Я пытаюсь представить, какой ад должен царить в их душах. Хотя бы в душе этой женщины. Такая великая ненависть — невиданное насилие над душой, душеубийство... Каким должен быть мир в глазах таких людей? Как же они могут жить, дышать?..

— Они и не могут, Лариса Дмитриевна, — ответил Николай Степанович, подходя. — Они ищут смерти. Эта женщина, в частности.

— Главари, которые их направляют, смерти не ищут, — возразил Дагомыжский. — Видел я их... Трусы!

— Главари — умелые дельцы, вы правы. Но бомбы, чаще всего, метают не они, а их несчастные последователи, не нашедшие себе иного пути в этой жизни и желающие обвинить и отомстить хоть кому-нибудь за это. Мы, кажется, вовремя успели. Вы несильно пострадали?

— Рана пустяковая. Но это самая тяжёлая рана из всех, что мне довелось получать. Прежние раны я получал на войне от неприятеля, а эту... Вы знаете, кто это женщина, господин Немировский?

— Да. Она из старинного дворянского рода.

— Вот как?

— Семья разорилась. Любимый человек оказался подлецом... И, вот, видимо, отчаяние толкнуло эту несчастную в революцию. Она и её муж оказались в ссылке после подавления восстания в Н...ой губернии. Муж умер там, а она бежала...

— Вот, значит, какие счёты у неё ко мне... — генерал вздохнул. — Не могу сказать, чтобы подавление того проклятого восстания было такой страницей в моей биографии, которой я мог бы гордиться, но я

солдат и выполнял приказ. Это был мой долг. Если уж на то пошло, то эти бунтовщики чуть не подстрелили меня самого тогда... А кое-кому повезло меньше. Но воевать с собственным народом — это, скажу вам, истинное несчастье.

— Вы, действительно, намерены просить снисхождения к этой женщине?

— Да, непременно... Кстати, Николай Степанович, позвольте поблагодарить вас. Вы и ваш коллега спасли мне жизнь.

— Это наш долг.

— Примите ещё раз мои глубочайшие извинения за те неприятности, коим я послужил причиной, и заверения в моём искреннем к вам уважении.

— Принимаю и то, и другое, генерал, — Немировский слегка наклонил голову. — Примите ответные заверения. А теперь должен откланяться. Честь имею!

В тюрьме новости узнают первыми. Как это выходит — загадка. Но ещё лишь строчили бойкие журналистские перья, ещё только набирались тексты в типографиях, ещё дворники на Бассейне не успели обтолковать последние события, ещё не пронёсся слух среди базарных торговков, а в тюрьме уже знали: террористка стреляла в генерала Дагомыжского, но только ранила его и была арестована на месте преступления...

Саул лежал на нарах, закинув ногу на ногу, дымил в потолок. Стало быть, провалилась столь долго подготавливаемая операция. А ведь сколько сил ушло на неё! Чего стоило отыскать старого приятеля Глухова, оказавшегося без работы, и уговорить его поехать в столицу, дабы забрать у тамошних «братьев по оружию» опасный груз. Ох, и артачился Яков Маркович! Законопослушный гражданин, честный инженер-

путеец... Трус! Всегда был трусом! Да ещё и жадным! И с должности его попросили за то, что банально проворовался. И тут заломил цену, не считаясь с прежней дружбой. Свинья, истинная свинья. Делать нечего, пообещал. Не мог Саул сам забрать такой груз — знал, что ищут его. А Глухов — чьё внимание привлечёт? Типичный обыватель. Но для контроля поехал-таки и Саул в Петербург. На день раньше прибыл туда и затаился. А, поди ж ты, донесла какая-то сволочь. Почуял Саул, как опытный лис, что на хвосте его уже охотники до его шкуры — скрылся, добрался окольными путями до той самой станции, на которой условились о встрече, и стал ждать поезда. Лишь бы не обманул Глухов. Лишь бы не передумал в последнюю минуту, желая выслужиться перед начальством. Но нет, деньги оказались слишком большим соблазном для вечно бедствующего Якова Марковича. Поезд прибыл на станцию в назначенный срок. Было темно, моросил дождь. Саул, как тень, прокрался вдоль поезда и проник в пульмановский вагон, где назначена была встреча...

Яков Маркович тотчас потребовал расчёта. Куда там! У Саула такой суммы и в помине не было. Пустив в ход всё своё обаяние, он выгрузил на стол копчёного цыплёнка, две бутылки дорогого вина, яйца, сыр, хлеб — предложил вспомнить молодые годы, выпить за успешное предприятие. Глухов долго ломался, но, в конце концов, сдался. Когда Яков Маркович захмелел, Саул уговорил его поменяться одеждой, чтобы ещё больше сбить со следа «полицейских ищеек», а после того, как несчастный задремал, пустил в ход своё излюбленное оружие: в трости, которую он всегда носил с собой, было спрятано длинное острое лезвие, которым одинаково хорошо можно было и колоть, и рубить. Хладнокровия Саулу было не занимать. Отец его был резником, и сын частенько помогал ему в

кровавой работе, а за годы террористической деятельности этот опыт уже не раз был применён им в отношении людей...

Убрав все улики и, обрядившись инженером-путейцем, Саул доехал до Москвы и, как только поезд остановился, с паучьей ловкостью выскользнул в окно...

Зиза ожидала его у вокзала. Об участии Якова Марковича он ничего не сказал ей. Чистоплюйка, барышня! Боится невинной кровью ручки свои замарать! А не бывает революции без невинной крови! И много этой крови быть должно, чтобы никто не мог считать себя невиновным, чтобы каждый понимал, что завтра и его очередь настать может... Да и не стал бы он убивать этого дурака Глухова, если бы тот умерил аппетиты, а не затребовал за пустяковое дело целого состояния. Скромнее надо быть.

Следующую жертву скрывать было не надо. Приговор изменнику вынесли сообща. Михаил Дагомыжский был организации полезен до определённого момента: он посещал конспиративные квартиры, передавал записки, прятал различную литературу, иногда сообщал полезные сведения. В частности, много полезного сообщил он о привычках и жизни своего дядюшки генерала. Делал всё это подпоручик не только из сочувствия к революции, но и потому, что Саул узнал его тайну... Кстати, именно благодаря этому, он узнал и другое: а именно то, каким образом цыганки проникали по ночам в офицерскую столовую. О, Саул был прирождённым сыщиком. Пронюхав об этой лазейке, он тотчас смекнул, что однажды она может пригодиться. И пригодилась же!

Подпоручик оказался чистоплюем. Не захотел, видите ли, стать соучастником в убийстве дядюшки! Лёничка, дружок Калиновского, бездарно позволивший найти у себя данные ему на сохранение вещи,

рассказал, что кто-то пишет его отцу предупреждения о готовящемся покушении. Кто бы это мог быть?

Собирались для обсуждения всех важнейших дел всегда на сеансах мужа сестры Саула, мнившей себя медиумом и настаивающей на том, что регулярно общается с духами. Муж давно уже помешался, но об этом знали лишь близкие, а бредил он так вдохновенно, что любопытные от скуки обыватели стекались слушать этого «пророка», а сестра не сидела сложа руки: подмечала среди собравшихся состоятельных дам и господ и давала наводку кому надо. Но прежде разыгрывался ритуал с «картой смерти». Эту карту она подсовывала избранной жертве, и несчастный ожидал смерти со дня на день, но обычно оставался жить, отделавшись лёгким членовредительством и потерей изрядной части имущества. Такое облегчение участи так радовала наивного потерпевшего, что жаловаться он просто не мог. А вещички перекочёвывали к Циле в потайную комнату. Как она любила эти милые безделушки: серьги, колъе, кольца... По-сорочьи собирала их, любовалась ими. Бедняжка, ей всегда не хватало этих милых цацек и денег, она так мечтала о богатой жизни. И эта жизнь вполне могла бы начаться, если бы полицейские ищейки не сорвали всё. Да, погорячился Саул, укрывшись у сестры. Испортил ей весь гешефт...

Дверь камеры со скрипом приоткрылась, и на пороге возник старик-надзиратель, любивший за здорово живёшь побалакать со своими подопечными.

— Что, субчик, облажались нынче ваши-то?

— В любом деле промахи бывают. Ничто! Исправим.

— Исправишь! — старик ухмыльнулся. — На каторге-то тебе будет, чем заняться.

— Я на каторге не засижусь, дед. Да и другие найдутся. Вот, посмотришь, пройдёт совсем немного времени, и мы станем всем диктовать свою волю. Мы



построим новое общество. А не желающих жить в нём попросим возвратить билет и отправим в старое... На тот свет, потому что только там и сохранится это старое, изжившее себя общество. Мы истребим всех, кто не захочет жить по-новому, но зато те, кто останутся, станут гражданами нового мира, равными во всём, мыслящими согласно. Это будут новые люди, новая жизнь...

— Слава тебе Господи, что я уже старый и ентой твоей новой жизни не узрю! — ответил старик и закрыл дверь.

— Ты не узришь, а дети твои узрят, — сказал Саул. — И либо умрут, либо переродятся для нужд нового общества, которое устроим мы...

\* \* \*

Утро на селе — раннее. Пропоёт петух — и изволь подыматься. Хозяйство ждать не будет. Лежал Василь Васильич в горенке, где постлала ему старуха-тётка, вдыхая давно забытый запах сельской избы, вслушиваясь в каждый звук, и вживе воскресали перед ним отроческие годы. Как и тётка Фетинья, мать поднималась ещё до зари, ходила за скотиной, собирала на стол мужу и детям, ещё сопящим по лавкам, а после забивалась под одну из этих лавок, ища прохлады, укрывалась платком и лежала с час, переводя дух, а затем вновь бралась за работу. Руки у неё были крупные, красные, шершавые, лицо усталое — да и поди-ка потяни этакую кладь! Но хоть жили бедно, и в желудке почти всегда сосало от голода, а всё ж весело было. И на всю жизнь полюбил Василь Васильич деревенский уклад, землю, запах хлеба, только что вынутого из печи, хрустящего, горячего... Ничего

вкуснее нет этого хлеба! Никакое яство не сравнится с ним!

Тётка Фетинья, бодрая старушка, недавно овдовевшая, проворно накрывала на стол. Была она очень похожа на мать Василь Васильича, которой давно уже не было в живых. Муж её, Авдей, был мужик крепкий, настоящий хозяин, но душила его община, не давала развернуться предприимчивому уму. Но извернулся Авдей, наладил на окраине села чайную. Выгодное оказалось дело. Мимо села лежала дорога в Оптину пустынь, а туда завсегда шли паломники, и многие сворачивали перевести дух да попить чайку. В Оптину ходила и сама Фетинья, ходила, как и многие окрестные бабы к старцу Амвросию, терпеливо и участливо выслушивавшему все их жалобы и умевшему найти слово утешения каждой. С чем только не шли к доброму батюшке: у кого гуси помёрли, у той корова чахнет, у другой муж запойный... Все свои огорчения несли старцу, ждали его, как единственную надежду и опору. И светлее становилось на сердце после встречи с ним, легче.

Из шестерых детей Фетиньи до взрослых лет дожили лишь трое: две дочери и старший сын. Дочерей, с Божией помощью, выдали замуж за хороших людей, и жили они теперь в соседних сёлах, а сын унаследовал отцовскую чайную и большую часть времени проводил в ней вместе с женой, хитрой и оборотистой бабёнкой. Жили они в ладу, но детей до сей поры Бог не давал. Старуха Фетинья скучала, часто навещала дочерей, а свалившемуся, как снег на голову, племяннику, только возрадовалась, полночи выпрашивала его про московское житьё-бытьё, а Василь Васильич хулил себя последними словами, что не привёз тётке гостинца. Хотя когда было гостинца того искать? Сам-то приехал без вещей каких-либо, даже смены белья не захватил — стихийно в путь тронулся. А всё-таки нехорошо.

На стол Фетинья подала пышный каравай хлеба, от аромата которого так и защекотало внутри у Василь Васильича. Вот он, тот самый каравай, с детства любимый, с корочкой хрустящей... А к нему — молока кувшин. Что ещё нужно для счастья?

У тётки решил прогостить Василь Васильич дня два-три: сходить в лес по грибы да на реку порыбачить, непременно отдохнуть душой и телом в настоящей деревенской бане, проведать напоследях Асю, которую лично в нанятой коляске довёз вечер до Шамордина, и с тем отбыть в Москву.

Тётка радовалась. Обещалась к обеду сготовить ушицы, если рыба будет. Ушица, а к ней хлеб ржаной с чесночком да стопочку — чудо, как хорошо! А лес! Лес осенний — сколько в нём красоты! Листва уже золотцем да багрянцем подбита, а местами и редееет. Журавли пролетят в выси, прокурлыкают, и на душе такая тишь да покой воцарится! А запах этот — смолисто-грибной? А свет березняка? А простор большака за ним? Всё знакомое, всё родное! Луга уж скошены теперь, а так бы пройти — трава выше головы, шелковистая... А в полдень малиновый звон — церковей окрестных. Козельск, древний город, отразивший татар, совсем рядом — это его церкви переговариваются... Благодать! А баня деревенская? Что там Ламакинские! Далеко им до неё! Тут баня настоящая, сухая, с веничком берёзовым! Братец двоюродный, хоть и хмурый он, а обещался истопить. А дров Василь Васильич сам наколет. Сил-то ещё — о-го-го! А здесь словно удвоились они! Дышится-то как здесь! Легко дышится! Полной грудью! И в Москву златоглавую возвращаться совсем охоты нет. Так бы и остаться здесь. Вернуться к истокам... А что? Взять Глафиру да и поселиться в деревне. Чем плохо? И пригрелась Романенко избёнка крепкая, печь натопленная, свой двор — жизнь безмятежная под старость лет. Мечта да и только! Или

не заслужил он столькими годами службы этакого маленького земного рая? Не зря говорят, видать, что человек завсегда к истокам своим возвращается. Тянут они душу, эти истоки. Не оторваться от них. И здесь, в небольшом селе под Козельском Василь Васильич явственно ощутил эту тягу. Тягу земли...

Шамординская обитель была основана совсем недавно Оптинским старцем Амвросием, хотевшим, чтобы она сделалась кровом для всех желающих, прибежищем всем, кому более некуда идти. Он принимал сюда нищих и убогих, но и представительницы знатных фамилий становились насельницами Шамордина, находя здесь искомый покой и смысл жизни. Среди них была и сестра Льва Николаевича Толстого, к которой приезжал и сам порвавший с Церковью писатель. Старец Амвросий до последних дней заботился об обители, и большинство насельниц ещё вживе помнили его. Велика была слава старца. При жизни приезжали к нему Достоевский, Владимир Соловьёв, Толстой, встреча с которым произвела грустное впечатление на батюшку, а философ Константин Леонтьев вовсе принял здесь постриг. Ярчайшим светочем сияла Оптина для всего православного мира наряду с Троице-Сергиевой Лаврой, Кронштадтом, ставшим место паломничества, благодаря всероссийскому батюшке отцу Иоанну... По всей русской земле, между шумными городами, все более отдаляющимися от Бога, впадающими в мистицизм, язычество, атеизм, разбросаны были эти благодатные жемчужины, святые источники, маяки для жаждущих обрести Истину. Ищите и обрящете, — так было сказано Спасителем, и многие ищущие обретали искомое в Оптиной пустыни и здесь, в нескольких десятках вёрст от неё — в Шамордино.

Маша Каринская, а ныне смиренная инокиня Татиана, поселилась здесь несколько лет назад, ещё при жизни старца, от которого получила она благословение на принятие пострига. К ней-то и приехала Ася. Обнялись после долгой разлуки, расцеловались, долго смотрели друг на друга, ища перемен. Да в Асе и искать не нужно было — исхудала да побледнела... А Маша изменилась мало. Она и живя у деда была похожа на монашку: скромная, тихая, боязливая. Правда, здесь этой боязливости меньше стало, словно обрела Маша, наконец, твёрдую почву под ногами. Её движения стали более плавными, покойными, ровными, а лицо было ясным и радостным. Так выглядят люди, живущие в гармонии с собой, с окружающим миром и с Богом.

Маша провела подругу в дом для гостей, вскоре на столе появился чай, фрукты, выпечка, мёд... Есть Асе после долгого пути поездом, а затем по ухабистым дорогам в коляске, не хотелось, но всё же она попробовала по чуть-чуть всего, чтобы не обижать заботливой хозяйки. Оставшись наедине, Ася рассказала подруге причину своего столь внезапного приезда. Маша выслушала, не перебивая, потом сказала негромко:

— Я не могу давать тебе советов. Здесь ты можешь оставаться столько, сколько сочтёшь нужным. Исповедуешься, причастишься... Может, решение и само собой явится. Но одно скажу: нехорошо это — родных своих людей держать в неведении и заставлять волноваться. Напиши им, что отправилась навестить меня, что поживёшь здесь некоторое время, что хочешь привести мысли и душу в порядок и просишь до времени не тревожить тебя. Разве ж они не поймут и станут мешать тебе? Право, милая Ася, это ребячество. Это роман...

Ася, сидевшая на кровати, откинулась на высоко поднятые подушки и задумалась.

— Должно быть, ты права, — согласилась она, наконец. — Я погорячилась и вела себя глупо. Но уехать открыто я не смогла бы, понимаешь? Я бы не смогла сказать ему всего вслух, уйти так, чтобы он смотрел мне вслед, да и не устояла бы против отговоров... А мне нужно было уехать, Маша. Именно теперь и именно сюда. Знаешь, я сомневалась, что у меня хватит сил на это путешествие. Там, в Москве, бывали дни, когда мне тяжело было даже подняться, сделать несколько шагов. И всё же я решилась на такую безумную затею, полагаясь всецело только на Бога... Если Ему будет угодно, так доберусь. И добралась! На поезде, в коляске по нашим ужасным дорогам, пешком... Я и думать не могла, что такое мне ещё под силу. Доктор Жигамонт крайне удивился бы! Но, вот, я здесь. И, хотя я очень устала, но мне не стало хуже, а, значит, Богу было угодно такое моё сумасбродство. И, если я оказалась на него способна, значит, я ещё жива... Но теперь ты права. Они не поедут за мной против моей воли... Я напишу им, успокою. Придёт Василь Васильич — я с ним письмо и передам...

— Вот, это правильно, — кивнула Маша. — А помирать ты, сестричка, не спеши. У нас здесь воздух целебный. Глядишь, и тебя он на ноги поставит. Кстати, ты вспомнила доктора... Как он?

— Всё так же. Этаким Дон Кихот... Пытается помочь всем, но на всех не хватает его одного, и это его огорчает. В прошлый год я тоже помогала ему, чем могла. У нас был комитет помощи детям трущоб. Правда, толку от него вышло мало, как от большинства комитетов, но кому-то мы всё-таки помогли... И, мне кажется, Маша, что если хоть одну жизнь, одну душу мы спасли, то все наши труды были не напрасны.

Маша сидела за столом, помешивая ложечкой в чае. Чёрное монашеское облачение, кажется, добавляло ей несколько лет, делало старше. А, может быть, просто вечерний, неяркий свет от чадающий в углу лампы и свечей ложился так.

— А сродники мои как живут? — спросила она.

— Так ведь я писала тебе. Недавно у Володи была новая премьера... А от Роды мы известий не имели давно. Он даже Володе и матери пишет крайне редко.

— Никак не найдёт он места себе, — покачала головой Маша. — Несколько монастырей сменил, теперь, вот, взял благословение идти по России и собирать деньги на храм... Где-то он ходит теперь... — лёгкая тень скользнула по её лицу. — Однако, сестричка, час уже поздний. Тебе выспаться надо, да и мне ещё до свету к заутрене подниматься.

— Я тоже к заутрене встану.

— Только не нынче. Нынче тебе отдохнуть следует. К обеду разбужу тебя. А после познакомлю с сёстрами, с матушкой-настоятельницей. К исповеди пригодишься, причастию... Завтра, всё завтра. А теперь отдыхать. Тебе помочь раздеться?

— Нет, спасибо. Я справлюсь сама. Спокойной ночи, сестрица!

— Храни тебя Господь, — отозвалась Маша, перекрестив подругу.

Раздеваться не было сил. Ася лежала на кровати, неотрывно глядя на большой образ Спасителя, стоявший в углу. Угол тот был весьма искусно украшен резьбой, словно кружевом. Зеленоватая лампадка светло горела перед ликом, как-то утешно смотрящим на Асю. Тяжело подняв руку, она перекрестилась, прошептала, как ещё в детстве учила мать:

— Милосердия двери отверзи мне, благословенная Богородица!

На душе стало легче, словно дальняя дорога помогла растрясти этот тяжкий ком, собравшийся в ней. Да и места, чудные места окрестные, в самом деле, целебными были. Эта тишь и светлая, неяркая, подлинно русская, чуждая броскости, красота калужских лесов, эти святые обитатели и особый дух этого края, наполненный славной историей прошлых веков — всё бальзамом ложилось на душу, всё воскрешало её и звало к неземным высотам. И даже тяжёлая дорога показалась не столь многотрудной. А ведь посредине пути колесо нанятой коляски увязло в колее, и Асе едва не пришлось идти пешком. И пришлось бы, если б Василь Васильич вместе с мужичком-возницей не сумели вытянуть «экипаж». Срубили в лесу хороший сук, сунули под колесо, налегли на него и — приподняли, вытянули... Мужичок попался разговорчивый. Всю дорогу сказывал легенды о Козельске, о святой княгиньке его, о старцах Оптинских, о чудесах разных...

— Ты, барынька, вижу я, хвораю. А ты не кручинься! Бог не без милости, а у нас тут и расслабленные ходить начинали, и слепые прозревали.

Хорошо говорил мужичок, словно сказку сказывал, напевно... Даже задремала Ася ненадолго под его говор. Да и теперь, вспоминая события уходящего дня, не заметила, как уснула, так и не сняв с себя дорожное платье.

— Вот тебе, брат, депеша от твоей супруги. Из рук в руки, лучше всякой почты! — Василь Васильич Романенко протянул Вигелю конверт и по-барски развалился в кресле.

— Не знаю, Вася, как и благодарить тебя, — ответил Пётр Андреич, торопливо вскрывая конверт.

— Не оскорбляй меня благодарностью, — насупился Романенко. — За такое не благодарят. Неужели же я



мог допустить, чтобы она одна ехала? Разве она мне чужая? Ты не переживай. Я, прежде чем уехать, был у неё. Устроилась слава Богу. Маша Каринская приглядывает за ней. Бодра, весела. Даже как будто поздоровела. Да это и неудивительно! Благодатное место, друг ты мой! Три дня там прожил — как заново родился. Знаешь, ностальгия нашла. По быту сельскому, по земле... Ты знаешь, как это чудно ходить по земле, а не по мостовым? Ведь от земли, брат, сила идёт. Не зря в наших былинах богатыри, чтобы сил набраться, грудью к ней приникали. А я давеча тоже приник. Распластался, знаешь... И всем существом ощутил, как питает меня земля. Словно мать молоком... Забываем мы об этом. Земля существо живое... Земля — мать, Бог — отец... А у нас родителей сплошь помнить не хотят. Болтаются, как дети блудные...

— Ты прав, наше общество сегодня охватывает какое-то всемирное сиротство, — отозвался Вигель, складывая письмо. — Николай Степанович будет очень рад вестям от неё. Камень с души, честное слово...

— А я, знаешь ли, решил: выйду в отставку и уеду в деревню. Решительно решил. Бесповоротно. Тянет меня туда... Как в дом родной. Тебе того не понять...

— Отчего же?

— Ты на земле не жил. Ты, брат, человек городской до мозга костей. Интеллигент. А я мужик, поповский сын. У меня нутро — мужичье. А мужика, сколько б ни прожил он в городе, чем бы ни занимался, завсегда к земле тянет. Связан он с нею невидимой нитью, — Романенко поднялся. — Ну, бывай теперь! Я уж и без того отпуск сам себе продлил внаглую, пора и послужить, пока ещё за абшид не вывели.

У дверей Василь Васильич остановился:

— Чуть не забыл! Ты читал сегодня газеты?

— Нет, не успел ещё. А что там?

— Помер журналист Замоскворецкий.

— Как помер?

— Крепко помер. Нашли в собственной квартире уже холодного.

— То-то он за комментарием не пожаловал...

— Да... А казалось, что этот, прости Господи, клоп вечен. Земля ему пухом...

— Вечного нет ничего.

— Иногда меня это не огорчает.

Даже не камень, а поистине гора свалилась с плеч Петра Андреевича, когда прочитал он письмо Аси. Великим облегчением было знать, что она в безопасности, благополучна и покойна, окружена заботой. И, конечно, он не станет нарушать её воли и пытаться вернуть её, пока сама она не пожелает вернуться. Вместе с Асиным письмом в конверте была и короткая записка от Маши, заверявшей Вигеля, что с его женой всё хорошо, и что она, Маша, и другие сёстры позаботятся о ней.

Вечером, сидя в кабинете Николая Степановича, Пётр Андреевич заметил:

— Как пусто стало в нашем доме. Словно он осиротел...

— Ничего, — отозвался Немировский, разливая по рюмкам Дюппель-Куммель. — Скоро Анна Степановна с Николашей вернутся, и будет веселее...

За окном шумел ветер, взметая опавшую листву. Николай Степанович задёрнул шторы и сказал внезапно:

— Я сегодня подал прошение об отставке.

Вигель закашлялся и изумлённо воззрился на своего наставника:

— Зачем, Николай Степанович?

— Потому что всему своё время. И всем своё время. Моё время прошло, и мне всё чаще кажется, что я занимаю чужое место. Я стар, Пётр Андреич. Я ещё в своём уме, в ясной памяти. И уйти я хочу именно в

своём уме, а не дожидаться, пока немощь вынудит сделать это меня самого или вышестоящее начальство.

— Но ведь вы только что раскрыли сложное дело и...

— Раскрыл. Но я не ощутил от этого прежнего удовлетворения, — Немировский щёлкнул пальцами по тавлинке. — Я раскрыл нечто большее, чем дело. Мне кажется, я, наконец, понял корень этой духовной оспы, которая так распространилась теперь. Бороться с ним я не могу. Да и все мы не можем. Мы боремся со следствием — с преступлением. Но их становится всё больше. Почему? Как упредить это явление? Об этом я хочу поразмышлять на досуге. Может быть, я даже напишу какую-нибудь статью об этом предмете, если смогу порядочно вникнуть в него. Мне предлагали недавно читать лекции по Праву... Может быть, я приму это предложение.

— Стало быть, вы нас покидаете... — вздохнул Вигель.

— Откуда такое уныние? — улыбнулся Николай Степанович. — Если тебе вдруг понадобится мой совет, то я всегда к твоим услугам.

— Вы сказали, что поняли корень? В чём же он?

— Я, Пётр Андреич, всё пытался постигнуть, отчего сегодня столько людей срываются во всевозможные пропасти? Откуда это повальное увлечение шарлатанами, эпидемия самоубийств, террор, разложение нравов, возрастающая изощрённость преступлений? Среда заела? Но огромный процент наиболее изощрённых преступлений совершается выходцами из вполне благополучной среды. Сводят счёты с жизнью дети богатых и знатных родителей. Террор поддерживают как будто бы респектабельные и состоятельные граждане. За новыми истинами гоняются интеллигенты и представители знати... Про распущенность я уж вовсе молчу. Какая уж тут среда? Что ж тогда? Пустота жизни! Потеря почвы под ногами

и Бога в душе. Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие толкают людей разрывать все нити, связывающие их с Богом, но, порвав эти нити, они не знают куда идти. Становятся слепы. Они мечутся в темноте, боясь её, ища какой-то свет и принимая за него всё, что попадётся. Но это поправшееся не служит наполнению души, а ещё больше опустошает. Помнишь евангельское изгнание беса? Найдя свой дом пустым, он возвращается туда и приводит с собой ещё сорок демонов, страшнее себя. Такова участь пустых душ... Сумасшедший Ницше призывает к полному раскрепощению. Новомодные лжепророки вопят: «Наслаждайтесь!» А ведь ещё Вольтер предупреждал, что тот, кто наслаждается постоянно, на самом деле, не наслаждался ни единого мгновения. И, вот, уже жизнь кажется им отвратительной во всех своих проявлениях, а все люди ненавистны им. Ты читал письмо Лёнички Дагомыжского? Прекрасный пример! И когда все способы чем-то заполнить жизнь (пусть даже ценой отнятия оной жизни у ближнего) исчерпаны, остаётся одно — вернуть дар Творцу. Кстати, заметь все эти кликуши, либеральные господа и экзальтированные дамы кричат на всех перекрёстках о любви к человечеству. Но эта псевдолюбовь вырождается у них в ненависть к отдельному человеку. И, если и любят они кого, то не ближнего, а отщепенца и преступника, чувствуя в нём родню себе, одержимого теми же демонами. Теперь многие бредят революцией. Даже вполне лояльные граждане, боящиеся, в общем-то, перемен. Почему? От пустоты жизни. Им кажется, что жизнь, которую они ведут, пуста и отвратительна. Но порвать с ней самостоятельно, в гордом одиночестве они не желают. На это им не хватает воли. Поэтому они ждут, когда кто-то другой сделает это за них. Прервёт это ненавистное течение жизни, перевернёт всё с ног на голову. Они ждут очистительного урагана на свою

голову, надеясь, что спровоцированная ими стихия, которая всё разрушит, даст вместе с тем начало новой жизни для них, жизни, в которой они, наконец, найдут себе место. Не умея изменить своей жизни, они навлекают гибель на всех, алчут разрушения того, что не они создавали, но что, как им представляется, мешает им жить иначе. Они ищут бича себе, но вместе и всем другим. Их тяга к суициду вырождается в желание гибели всему обществу. Уйти из жизни самим обидно. Но быть смытыми с лица земли новым потопом вкупе со всем живым — куда лучше! И они призывают этот потоп. Инстинктивно чувствуя, что таким потопом может стать революция, они призывают её. И выходит из этого, что жаждая гибели себе, они обрекают ей всю Россию...

— Нечто похожее говорил мне покойный Любовицкий. Так в чём же корень? — спросил Вигель.

— А это я тебе сейчас прочту, — ответил Немировский, снимая с полки какую-то книгу и надевая очки. — «Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка.

Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божие Помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! (...) И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!» Николай Васильевич Гоголь. Вот он — корень! Скука! Со скуки убивают себя и других, пускаются в разврат и спиритизм, в революцию... И никакие богатства не могут истребить её. Потому что скука рождается тогда, когда уходит Бог. Место, откуда Бог изгнан, занимает дьявол... У кого и Бог в душе, и царь в голове, и дело в руках — тот не соскучится.

— Всё, что вы сказали, так правильно, так точно, что, мне кажется, лучше и не сформулировать. Но каков же выход? Что делать?

— Для начала держаться того, что имеем, — ответил Николай Степанович. — И сопротивляться этому грядущему валу каждому, в ком есть понимание наших

бед, на своём месте. Здравомыслящих людей, Пётр Андреич, гораздо больше, нежели больных. Беда в том, что как сказал Ларошфуко, здравомыслящему человеку всегда легче подчиниться безумцу, чем управлять им. Так, вот, давай выпьем за то, чтобы в нашем обществе, в нашей России правили не больные и сумасшедшие, а здоровые и здравомыслящие люди! — Немировский приподнял рюмку и тепло посмотрел на Петра Андреевича своими солнечными глазами.

— Ваше здоровье, Николай Степанович!

## Эпилог

Большая игра началась, как водится, ровно в двенадцать, когда неприметный трактир на Цветном бульваре обратился в настоящий притон для залётных фартовых и обратников, шулеров и просто захожих людей. Захожие становились лёгкой добычей шулеров, но некоторые из них ещё надеялись отыгратъся, становились завсегдатаями игры и нередко кончали участью бывших людей... Отставной поручик Разгромов, зашедший сюда однажды, вмиг оценил всю честную компанию и, покрутив ус, расположился у одного из столов.

— Во что желаете? Покер? Преферанс? Очко? — из полумрака блеснула золотая коронка.

Разгромов закурил. Он понял, что дружное сообщество жуликов уже приготовилось обчистить его, принимая за очередную захожую жертву. Как бы не так, господа хорошие! Разгромов не только любому торговцу на рубль пятаков даст, но опытного шулера обдерет, как липку. Погодите же!

У стола собрались ещё несколько человек: двое явных уголовников, по которым горячими слезами обливалась Владимирка, один захмелевший «бывший человек» с кроличьими глазами, уже не игравший, а лишь наблюдающий за игрой, пожилой господин, довольно благородной наружности, и юноша с лихорадочным блеском в глазах. «Этих они догола разденут», — подумал Разгромов о двух последних игроках даже с некой жалостью.

— Мечите!

Из тёмного угла полетели карты.

— Милостивый государь, не ссудите ли вы меня некоторой суммой? — осведомился пожилой господин у



Разгромова. — Я намедни проигрался в пух и прах. Но сегодня, я чувствую, фортуна будет на моей стороне. Я всё вам отдам, клянусь честью имени моего!

— Вот, извольте, — Разгромов протянул деньги и добавил тихо. — Но мой вам совет — не играйте больше. Здесь не та публика.

— Зачем же вы играете?

— Затем, что я не проигрываю.

— Счастливец!

Пожилый господин вскоре проигрался и нервно отошёл от стола, попросив налить себе вина.

— Я всё равно отыграюсь... — бормотал он. — Как же это они мой марьяж разгадали...

— Карту! Чинкель-минкель...

— Ваша не пляшет!

— Бедолага, — покачал головой «бывший человек», наклонившись к Разгромову и кивнув на пожилого господина. — Скоро он проиграет всё до нитки и поселится в какой-нибудь ночлежке, где станет кормить блох и постепенно сходить с ума... Он кончит так же, как и я, одним словом. Я ведь тоже не таким сюда пришёл. Я, между прочим, образованный человек, чтобы вы знали! Я Университет оканчивал... Вы зря за этот стол сели, сударь. Они вас разделают, помяните моё слово. Это они пока ещё разогреться всем дают, чтобы поглубже крючок заглотили... А графа песенка спета...

— Он граф?

— По крайней мере, так представляется. Жаль его... Сударь, вы не ссудили бы меня некоторой суммой? В горле пересохло...

И этому просителю Разгромов не отказал. Участников игры становилось всё меньше. Молодой человек то краснел, то бледнел, руки его начинали дрожать — он проигрывал раз за разом и, наконец, в отчаянии отошёл от стола, шепнув:

— Это конец, я застрелюсь!

Разгромов удержал его за руку:

— Пойдите, юноша, не уходите теперь.

— У меня больше нет ни гроша. Я нищий!

— Какого же чёрта вы играли?

— Я надеялся выиграть... У меня больна сестра. Нам нечем платить за квартиру. Я думал...

— Простите меня, юноша, но вы просто болван.

— Не смейте меня оскорблять! Я не позволю!

— Не кричите, а то сорвёте представление.

Посидите в уголке с теми господами и подождите окончания игры, если хотите вернуть то, что потеряли...

Молодой человек отошёл. Теперь за столом остались два отпетых шулера, их подручный, державший банк, и Разгромов.

— Мечите! Теперь можно и поиграть, — улыбнулся он, убирая трубку в карман.

Не прошло и полчаса, как на столе перед ним лежала целая гора банкнот. Вышедшие из игры смотрели на это действие, как замороженные. Происходило нечто небывалое — Разгромов выигрывал раз за разом, сохраняя небрежный и как будто удивлённый вид:

— Ну, надо же, господа, опять банк мой! Простите, но я думал, вы лучше играете.

Подошедший «бывший человек» испуганно шепнул ему:

— Уходите отсюда скорее. Они вам не простят выигрыша! Вас убьют!

— Пусть попробуют!

Шулера явно начинали нервничать. Они перешёптывались и враждебно поглядывали на насмешливо смотрящего отставного поручика. Наконец, Разгромов поднялся, сгрёб все деньги в захваченный с собой портфель, надел шляпу:

— Прошу меня великодушно извинить, господа. Я рад был провести вечер в вашем приятном обществе, но час поздний, и я вынужден откланяться.

— Ты отсюда не уйдёшь! — прошипел банкомёт, вылезая из своего тёмного угла. — Вяжите его, ребята! Чинкель-минкель...

Два мазурика тотчас бросились на Разгромова, но в ту же секунду отлетели в сторону, получив по мощному удару поручикова кулака.

— Господа, где же ваше гостеприимство!

— Шухер! Бей его!

— Счас мы тебе амбу сделаем!

Банкомёт выхватил нож и ринулся вперёд, но Разгромов ловко вывернул ему руку и, как котёнка, отбросил в сторону. Нож упал на пол. Раздалась длинная, заковыристая брань.

— Господа, может, всё-таки вы позволите мне покинуть сию гостеприимную обитель? Мне бы не хотелось вас калечить!

Откуда-то вынырнули ещё трое мазуриков, и вся банда с угрожающим видом двинулась к Разгромову.

— Ах, так? — приподнял бровь отставной поручик и вдруг выхватил револьвер и разом посуровевшим голосом отчеканил. — Кто сделает ещё хоть шаг, получит пулю в череп. Это ясно?

Мазурики замерли, переглядываясь и не решаясь подставлять свои лбы под пули.

— Юноша! — окликнул Разгромов молодого человека. — Откройте портфель, возьмите ту сумму, которую у вас здесь украли, и будьте впредь умнее, не посещайте подобных заведений. Поверьте, есть места и получше!

— Вы... Я отныне ваш должник! Моя фамилия Томилин. Андрей Томилин. Я студент, и... Я благодарен вам по гроб жизни! А как ваше имя?

— Виктор Разгромов.

— Спасибо вам, господин Разгромов! Вы благородный человек!

— Поспешите, юноша. Уходите отсюда быстрее. Граф!

Пожилой господин удивлённо поднял голову.

— Возьмите и вы вашу долю.

— Благодарю вас, милостивый государь, но я не возьму.

— Почему?

— Вы, я вижу, благородный человек, но и я ещё не совсем забыл понятий чести и достоинства... Я проиграл свои деньги... Я низко пал, я позволил этому пороку завладеть мной всецело... Это мой грех, и мне одному надлежит платить за него по векселям, которые представит жизнь... Каждый должен платить по своим векселям сам.

— Что ж, понимаю. В таком случае, прощайте, господа! — Разгромов уже отступил к дверям, когда на лестнице, ведущей наверх показалась женская фигура, и женский голос властно спросил:

— Что здесь происходит?

— Эва! Сама генеральша! — ахнул «бывший человек».

— Полюбуйся сама, — прохрипел банкомёт, всё ещё лежавший в углу. — Эта гнида сломала мне ключицу...

— Разойтись всем!

Мазурики расступились, и генеральша вышла на середину комнаты. Взглянув на неё, Разгромов опустил револьвер:

— Здравствуй... Аня... А я-то думал, что «генеральша» — это просто кличка хозяйки этого милого логова. А, оказывается, настоящая...

— Виктор? — генеральша казалась взволнованной. — Вот, как встретиться привелось... — метнув злой взгляд на мазуриков, она повысила голос: — Сколько раз говорить, чтобы мокроты в моём

доме не разводили?! Я вас, чертей, в полицию сдам! Пошли прочь отсюда!

— Так он ведь все деньги наши заграбастал! Весь банк!

— А вы играйте лучше! Я что сказала?! Вон все!

— Он мне ключицу сломал! — крикнул банкомёт.

— И поделом тебе! Кто мне давеча рожу грозился порезать?!

— Теперь точно порежу!

— Заклёпни, а то лягашам вмиг сдам! По тебе острог уж соскучиться успел!

— Ух ты, язва моровая...

— Поговори мне! Вон все пошли!

Через пять минут комната опустела. Последним, допив вино и поклонившись Разгромову, её покинул граф. Генеральша прервала молчание первой:

— А ты и ухарь! Трёх шулеров за пояс заткнул! И как это тебе удалось?

— Тренировался долго. Стало быть, ты теперь «мельницу» держишь, моя богиня?

— Держу, Витя, держу. А что прикажешь делать? Муж меня выгнал, а ты забыл. А кому я нужна? Разве что в содержанки... Пожила и в содержанках у купца одного. Гнусно! Думала однажды утопиться, да струсила. Купец, правда, щедрый был. Уж я с него всё взяла... Денег скопила! А потом он помер. А ко мне один фартовый наведываться стал... Его потом арестовали. С него всё и началось. Прежде у меня салон для полусвета был, а теперь, вот, «мельница» для всякого сброда... Зато уж тут я генеральша, хозяйка. Хоть они меня зарезать и грозятся, а не смеют, — Дагомыжская грустно усмехнулась. — Видишь, Витя, как меня жизнь обманула. А я-то уверена была, что перехитрила её, вырвалась из этой проклятой мне уготованной судьбы, а, оказалось, что нельзя, невозможно вырваться... Судьба не прощает обмана, разворачивается и бьёт

наотмашь... И вместо честной бедности воровские «малины», вместо бедного мужа с детьми — «коты»... Весело живу! Так весело, что уже точно знаю, какой конец этой развесёлой жизни будет: или зарежет меня этот рябой чёрт, или в богадельне от дурной хворобы окочурюсь... А ты что же? Всё такой же прожигатель жизни?

— Пожалуй, что так, — Разгромов закурил трубку.

— Трубка та же... И ты всё такой же — воду с лица пить и только... А я?

— Что?

— Постарела? Подурнела?

— Ты изменилась, — честно ответил Разгромов. — Хотя всё ещё красива.

— Красива, говоришь? Так, может, и не побрезгуешь вспомнить наши с тобой дни счастливые?

— А «коты» твои меня не порвут? — усмехнулся Виктор.

— Я сама их за тебя порву, — ответила генеральша, прижимаясь к нему, и вдруг заплакала. — Единственный ты мой... Я по тебе стосковалась... Видишь, какая я стала... Последнюю гордость забыла, сама тебе на шею вешаюсь, боюсь, что прогонишь...

— Не прогоню, Аня, — ответил Разгромов, обнимая её и целуя в голову. — Ты ведь моя богиня...

Наутро, уходя от неё, он пообещал:

— Я скоплю денег, найму квартиру и заберу тебя из этого притона. Даю тебе слово!

— Не обещаю ничего. Ты меня и без того счастливой сделал... Большого и не прошу. Ты — ветер в поле. Оседлая жизнь не для тебя.

— Нет, Аня, — Разгромов мотнул головой. — Хватит, нагулялся. Пора и жить... Мы ещё поживём с тобой. Будешь моей Евой. Подожди только.

— Я тебя всегда жду, Витя, — прозвучало в ответ.

Разгромов улыбнулся и, поцеловав её на прощание, продекламировал недавно прочитанные стихи Бальмонта:

...Приди, о, любовь золотая,  
Простимся с добром и со злом,  
Все Море от края до края  
Измерим быстрым веслом.

Умчимся с тобой в бесконечность,  
К дворцу сверхземной Красоты,  
Где миг превращается в вечность,  
Где «я» превращается в «ты».

Хочу несказанных мгновений,  
Восторгов безумно святых,  
Признаний, любви, песнопений  
Нетронутых струн золотых.

Тебе я отдам безвозвратно  
Весь пыл вдохновенной души,  
Чем жизнь как цветок ароматна,  
Что дышит грядущим в тиши.

С тобою хочу я молиться  
Светилам нездешней страны,  
Обняться, смешаться, и слиться  
С тобой, как с дыханьем Весны.

С тобою как призрак я буду,  
Как тень за тобою пойду,  
Всегда, неизменно, повсюду...  
Я жду!

Виктор Разгромов не сможет сдержать данного слова. Через неделю после этой встречи японцы нападут на Порт-Артур, и отставной поручик отправится на войну, поступив вольноопределяющимся в Нерчинский казачий полк. В ходе боевых действий Разгромов проявит себя не только блестящим воином, но и искусным разведчиком, совершая рискованные вылазки на позиции противника, захватывая пленных и добывая важнейшие сведения о положении неприятеля. О его подвигах и отчаянной храбрости будут ходить легенды. Даже китайские разбойники, хунхузы, запомнят этого русского воина и назовут его дьяволом. В самых опасных и безнадёжных ситуациях судьба будет хранить Разгрома, так что казаки станут шептаться, будто он заговорённый, если не вовсе бессмертный. За свою доблесть Виктор Разгромов получит Георгиевский крест. А судьба всё же изменит ему. Отставной поручик Разгромов погибнет в бою в самом конце Русско-Японской войны, отчаянно сражаясь до последнего вздоха... Казаки вынесут его с поля боя и похоронят с надлежащими воинскими почестями.

Русско-Японская война станет последней кампанией в послужном списке генерала Дагомыжского. Он проявит себя на ней одним из немногих дальновидных и талантливых командующих и по окончании её получит чин генерала от Инфантерии, после чего уйдёт в отставку и скончается три года спустя после недолгой болезни, простившись со немногочисленными родными, включая жену покойного племянника и его сына, который поступит к тому времени по протекции генерала в кадетский корпус, выразив желание посвятить жизнь военной службе, чем приведёт в умиление Константина Алексеевича.



Анна Платоновна Дагомыжская переживёт своего возлюбленного на четыре года, а мужа — на год. Умирая от тяжёлой болезни в нищете, она вспомнит о Ларисе Дмитриевне, обещавшей ей некогда помощь, и сырой осенней ночью постучит в дом Дагомыжских. Лариса Дмитриевна примет несчастную и три месяца будет выхаживать её, но тщетно...

Сама Лариса Дмитриевна, тяжело переживая смерть генерала, продаст имение, оставшееся ей с сестрой от родителей, и на вырученные деньги построит церковь в честь иконы «Всех скорбящих радость», где и будет отпета спустя несколько лет.

Полковник Дукатов, выйдя в генералы и заняв место Константина Алексеевича, успеет покрыть себя славой в первые месяцы войны. К сожалению, продолжить этот почин ему будет не суждено. Генерал Дукатов погибнет, сражённый вражеской пулей, когда будет под обстрелом обходить ряды своих бойцов, ободряя, по заведённому порядку, их перед наступлением...

Доктор Жигамонт до последних дней будет посещать бедняцкие кварталы, оказывая помощь всем нуждающимся. После одного такого обхода он внезапно заболеет, сам поставит себе смертельный диагноз и прекратит приём посетителей, понимая, что недуг заразен. За день до кончины он завершит свои научные записки, которые бережно сохранит его воспитанник, продолживший дело Георгия Павловича на медицинском поприще.

Василь Васильич Романенко сдержит своё слово и, по выходе в отставку после событий 1905-го года, купит дом в калужской деревне, где поселится вдвоём с Глафирой, и проживёт счастливые десять лет жизни, время от времени наведываясь в Москву, заглядывая в места «боевой славы», где даже годы спустя знаменитого сыщика будут узнавали в лицо и вытягиваться перед ним по струнке.

Николай Степанович Немировский многие годы будет читать лекции по Праву, напишет ряд статей об истоках преступности и методах профилактики оной. Ещё не раз придётся ему распутывать сложные дела. Одно из них вызовет большую шумиху, и имя Немировского ещё мелькнёт в газетах в связи с ним. Николай Степанович скончается в 1913-м году, самом благословенном в истории России, последнем из мирных её лет, и будет похоронен на Даниловом кладбище рядом с могилами сестры, Анны Степановны Кумариной, и крестницы, Анастасии Вигель...

Ася проживёт в Шамордино целых полгода. Накануне кончины она исповедуется и причастится и тихо уйдёт во сне в самом начале весны в ночь на Прощёное Воскресение.

Лишь спустя три года после её смерти Петр Андреевич Вигель, наконец, соединит свою судьбу с Ольгой Романовной Тягаевой. Им и всем прочим героям этого повествования выпадет увидеть самые страшные годы России, пережить крушение своего мира, встретить тот сметающий всё на своём пути смерч, который столь долго призывали люди, жаждавшие вырваться из рамок своей судьбы и сыграть чужие роли, но это уже другая история...